Генерального штаба генерал-маиор
БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ ГЕРУА

ВОСПОМИНАНИЯ О МОЕЙ ЖИЗНИ

ТОМ I

Иллюстрации автора

« Военно-Историческое Издательство « Танаис »
Париж 1969 год



Генерального штаба генерал-маиор
БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ ГЕРУА

ВОСПОМИНАНИЯ О МОЕЙ ЖИЗНИ

ТОМ I

Иллюстрации автора



« Военно-Историческое Издательство « Танаис »

Париж 1969 год

Генерального штаба генерал-майор
Борис Владимирович Геруа

« ВОСПОМИНАНИЯ »

(том I)

Военно-историческое издательство
« ТАНАИС »
Париж, 1969 год.

Редактор А. А. Геринг

Корректор К. М. Перепеловский

Тираж — 1000 экз.

Первая Украинская Типография во Франции
3, rue du Sabot, Paris 6



Борис Владимирович Геруа

ВСТУПЛЕНИЕ

Когда мой прадед Клавдий Героа (по транскрипции Истории Академии Художеств), архитектор, профессор и академик, переехал из Парижа на службу Екатерины II, обстановка в России была такова:

1774 г. — Кучук-Кайнарджийский мир, заключивший блистательную первую турецкую войну.

Гремели имена Потемкина, Румянцева, Суворова.

За год до того было усмирение Пугачевского бунта.

В начале 1774 года был гостем Императрицы (хотя и не жил во дворце, на что рассчитывал) маститый Дидеро. В Санкт-Петербурге он, конечно, виделся с другим знаменитым французом, Фальконетом, занятым тогда отливкой статуи памятника Петру Великому.

Столица лихорадочно обстраивалась. Третий француз строил Академию Художеств на набережной Невы. Это был Деламот. До этого Академия ютилась в домах недалеко от будущего здания на том же правом, Василеостровском берегу Невы. Еще раньше — до 1762 года — она числилась в Москве при университете. Как университет, так и вновь урожденная (с 1757 г.) Академия Художеств представляла зачатки этих учебных заведений, насчитывая в них едва ли сотню студентов.

В архитектурной горячке поднимаются сооружения, составившие каменную славу Петербурга: мостики Фельтена на Неве, Мраморный дворец Ринальди, Чернышев мостПеронэ — автора моста на площади Согласия в Париже. С 1779 года выступает гениальный Гваренги с вереницей зданий. После этих иностранцев блещут Кокоринов, Баженов, Старов. Два последние по времени могли быть учениками прадеда. Неизвестно —

строил ли что-либо он сам. Будучи профессором, он может быть не имел на это возможности.

Живописцы того времени : Левицкий, Боровиковский, Шебанов — портретисты. Щедрин, Алексеев — первые пейзажисты.

В 1773 году скончался первый директор Академии — усердный Лосенко, учившийся в Париже.

Имя прадеда несколько раз упоминается в « Материалах по истории Академии Художеств » А. Петрова, изд. в 50-х гг. К сожалению, этой книги не оказалось в библиотеке Британского музея и не удалось ее найти в эмиграции. Имеющаяся в Британском музее чахлая компилятивная « История Академии Художеств » Генриха Реймерса, изд. 1807 г., не дает никаких существенных справок, кроме перевода на французский язык первых положений об Академии. В числе 43 иностранцев художников, бывших в России (собственно в Санкт-Петербурге) в 1807 году, согласно списку, приложенному к книжке Реймерса, Геруа нет. Следовательно, он умер к этому времени.

Сын Клавдия, Александр, родился в 1784 году. Он получил образование в Инженерном Шляхетном кадетском корпусе (который был также и артиллерийским) и в 1800 году выпущен 16 лет офицером в Пионерный полк. В следующем году Инженерно-Артиллерийский кадетский корпус был преобразован во 2-ой кадетский корпус и потерял свое специальное назначение, а в 1804 году была образована Школа для подготовки военных инженеров. Она послужила основанием будущих Инженерного училища и Академии (1819 г.), которые впоследствии находились под начальством деда по его должности начальника штаба Августейшего Генерал-инспектора инженерной части.

2-ой кадетский корпус считал деда своим питомцем и поместил его в числе своих выдающихся воспитанников.

А. К. Геруа участвовал в чине капитана в Отечественной войне 1812 года и в сражениях при Якубове, Клястицах и Головчицах. В 1813 году — под Люценом, Бауценом и Лейпцигом, также, по-видимому, под Кульмом (будучи командиром саперной роты своего имени, прикомандированной к Гвардейскому корпусу). В 1814 году — под Парижем.

В 1816 году Александр Клавдиевич был назначен командиром 6-го Пионерного батальона, а в 1818 году, с производством в полковники, переведен за выдающуюся службу в лейб-гвардейский Саперный батальон. Одновременно назначен адъютантом в Великому Князю Николаю Павловичу. Отсюда шло знакомство Великого Князя — в будущем главы всего военно-инженерного ведомства — с моим дедом. Он оставался ближайшим сотрудником как Великого Князя Николая, так потом и его брата Михаила, вплоть до 1849 года, то есть в течение примерно 30 лет.

В 1820 году Александр Клавдиевич получил в командование лейб-гвардии Саперный батальон, а 30 августа 1825 г., в день именин Государя Александра I, был пожалован во флигель-адъютанты Его Величества. Это было последним свитским пожалованием Александра I.

В 1826 г. Александр Клавдиевич произведен в генерал-маиоры и в связи с коронацией нового Государя, во время которой дед исполнял обязанности начальника штаба участвовавших в коронации войск, назначен генерал-адъютантом(тогда еще не существовало генералов Свиты Его Величества, — звания, присвоенного впоследствии генерал-маиорам).

Закончил он свою службу членом Военного Совета и скончался 12 февраля 1852 года. Имел все ордена, до Св. Александра Невского алмазами украшенного и Св. Георгия Победоносца 4-й ст. за 25 лет службы.

Во время декабрьского бунта в 1825 году флигель-адъютант полковник Геруа ввел свой лейб-гвардии Саперный батальон во двор Зимнего Дворца и занял его как раз в минуту, когда бунтовщики готовы были туда ворваться. Батальон не пришел, а прибежал с Кирочной, где были его казармы. Император Николай I вынес к саперам маленького Наследника — будущего Царя-Освободителя — и передал его на руки старым ветеранам солдатам, спасшим Царскую семью. Момент этот был запечатлен в картине, помещенной в собрании батальона, и на одном из барельефов памятника Императору Николаю I. Дед изображен стоящим в мундире, с обнаженной шпагою у ноги.

Император Николай I уважал и любил деда. Когда он умер и тело его несли из католической церкви св.

Екатерины на Невском мимо Аничковского Дворца, Государь вышел из Дворца и прошел за гробом некоторое расстояние.

Мой отец, как единственный оставшийся в живых мужской представитель потомства А. К. Геруа, получил по Высочайшему повелению пожизненную пенсию в память государственной службы деда.

Великий Князь Михаил Павлович, скончавшийся в 1849 г., за три года до смерти деда, передал, по завещанию, свои серебряные саперные генерал-адъютантские аксельбанты в семью своего старого служебного сотрудника. Отец передал их брату, и тот надел их однажды при форме Генерального штаба на торжественном приеме в собрании лейб-гвардии Саперного батальона в 1912 году, по случаю столетнего его юбилея. Мы были приглашены на это празднество в память деда — второго командира батальона, сохранившего до смерти мундир его.

Александр Клавдиевич был женат на Анастасье Александровне КОБОЗЕВОЙ. Можно думать, что брак состоялся в 1832 году, судя по дате рождения старшего сына, Николая (1833 г.). В том году деду было уже 48 лет. Поздний брак был несомненен, даже если предположенная дата и неточна. Вследствие этого, все дети были очень молоды, когда потеряли своего отца : старшему было 19 лет, младшему — моему отцу — всего 12. Это не могло не отразиться на воспитании и руководстве детьми после смерти деда. Мы ничего не знаем о бабушке, кроме того, что она ударилась в религиозное уединение, окружила себя приживалками и богомолками. Во всем этом чувствуется нечто московское. Может быть бабушка была оттуда родом. На портрете она выглядит довольно красивой женщиной, еще не старой, с русскими чертами лица. Сидит в голубом бархатном кресле у открытого окна с видом на какую-то воду с кораблями. Платье тоже тяжелое бархатное, темно-лилового цвета, с широко открытыми плечами и руками. Волосы темные, причесанные гладко, с пробором посередине.

С некоторым приближением можно думать, что бабушка Анастасия Александровна умерла около 1860 года. К этому времени вышел в офицеры мой отец (1858 г.)

и, насколько помню, он вскоре должен был начать вполне самостоятельную жизнь.

В Пажеском корпусе он только держал экзамены, а проходил курс на дому. Он помнил, как его привозили на экзамен в корпус в карете. В 1857 году, до полного окончания корпуса, при переходе в старший специальный класс, он был прикомандирован к Образцовому пехотному полку «для прохождения службы», а в следующем 1858 г., 18 марта, произведен в прапорщики Кексгольмского гренадерского полка. Отцу было 18 лет. Но в строю он пробыл только год с небольшим и 6 июня 1859 года уволен в отставку с чином коллежского регистратора. В 1867 году мы видим его вновь определившимся на военную службу. Он был назначен адъютантом к командующему войсками Западной Сибири генерал-адъютанту Хрулеву (герою Крымской войны) и зачислен по Сибирскому казачьему войску с чином сотника. Отцу было уже 28 лет и чин этот вследствие долгого пребывания отца вне службы был отсталым.

В Тобольске отец женился на дочери Тобольского губернатора Марии Юрьевне Пелино и там же родился у него старший сын Александр. Моя сестра Ольга родилась уже в Омске в 1872 году. В 1876 году мои родители были в Аулие-Ата, где отец занимал должность уездного начальника по военно-народному управлению. Тут появился на свет автор этих записок — 9 марта 1876 года. За время своей 15-летней службы в Сибири и Туркестане отец «продвинулся в чинах» и выехал в Россию уже в чине полковника. Скончался отец в Минске 21 декабря 1904 года, в чине генерал-маиора и должности командира Минской местной бригады.

ПЕРВЫЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС

Летом 1886 года меня повезли в Санкт-Петербург сдавать экзамены в 1-ый класс Первого кадетского корпуса.

Приемные экзамены происходили в старом здании корпуса на Санкт-Петербургской Стороне и все в один день, В большом зале, ярко залитом солнцем, стояли на некотором расстоянии друг от друга столы, отведенные под тот или другой предмет и соответствующего учителя. Мальчиков громко вызывали по списку и требовали, по очереди, к этим « страшным » столам. Меньшие, в своих курточках и матросках, отрывались от своих матерей, теток, родственников, их сопровождавших, и шли экзаменоваться. Помню, что у меня не было ни малейшего чувства страха или застенчивости. Легче других предметов прошел у меня русский язык, по которому спрашивал мой будущий воспитатель, Василий Григорьевич Новоселов. Слабее — вечная моя препона — арифметика, и — неожиданно и глупо — чистописание. Неожиданно, ибо мой почерк не был плох, а глупо, ибо я вместо того, чтобы стараться при диктовке о красоте букв, думал о правописании, которым имел основание гордиться. В результате, рукопись моя была написана, вероятно, грамотно, но небрежно. И я заработал жалкие 7 баллов, по 12-балльной системе!

Это не помешало мне, как я уже упоминал выше, поступить в корпус в первом из шести или семи десятков принятых и попасть — что было самым важным — на казенный счет.

В одно из ближайших воскресений вечером — меня отвезли с Лиговки на далекую Петербургскую Сторону и сдали в корпус. Начиналась моя военная жизнь.

Мне было 10 лет, я был привязан к домашней обстановке, которая способствовала моей независимости, и не знал настоящей дисциплины. Не было у меня и тех ранних военных наклонностей, которые обнаруживал мой старший брат. Инстинкты мои были мирные, драчливость некоторых товарищей — не из лучших — была мне противна, и отсутствовало желание играть командную роль в классе. Поэтому понадобилось некоторое время на обжитие. Даже выходной мундир с красными погонами, с галунным воротником и суконным черным галстуком, сжимавшим шею, не скрашивал первоначальной тоски по дому. Приходя по субботам в отпуск, я еще на лестничной площадке, в ожидании пока откроют дверь на мой звонок, снимал с себя шинель и расстегивал мундир, держа в руках части своего обмундирования. Я был в нетерпении через минуту или две сменить его на удобную русскую рубашку, ожидавшую меня дома!...

Назначили меня во 2-е отделение, к тому штатскому, Новоселову, который одновременно был воспитателем и преподавателем русского языка и который меня экзаменовал по этому предмету. Штатские воспитатели оставались к кадетских корпусах того времени в виде единичных исключений. Милютинская система военных гимназий, самым своим названием показывавших свою полуштатскость, была брошена в 1882 году. Гимназии были снова переименованы в корпуса и их ставили на военную ногу. В мое время в Первом кадетском корпусе оставалось только три штатских воспитателя. Все остальные были офицеры. Деление на « возрасты » было заменено « ротной » организацией. 1-я рота, состоявшая из старших двух классов — 6-го и 7-го — получила легкие ружья драгунского образца и название « строевой роты ». В ней 12 лучших кадет назначались на командные должности « вице-унтер-офицеров », которые были апостолами порядка, а между ротой и офицерами стоял « вице-фельдфебель », выбиравшийся и по баллам и по своим внешним и волевым качествам. Погоны вице-унтер-офицеров были обшиты вокруг галуном, а у вице-фельдфебеля посредине была еще третья нашивка.

Директором Первого кадетского корпуса в 1886 г. был Генерального штаба генерал-маиор Павел Ивано-

вич Носович. Просвещенный, умный и отличный педагог, Павел Иванович оставался милютинским « штатским » генералом и после реформы. Старенький сюртук с потемневшими аксельбантами висел на его худощавой фигуре, как на вешалке; на лоб спадала непослушная вечная чёлка — прядь седых волос; на носу криво сидело пенсне и через него пытливо и добродушно смотрели близорукие мягкие глаза. Небольшая и всклокоченная бородка чеховского типа дополняла этот откровенно гражданский облик.

Носович умер в течение моего первого года в корпусе и с ним у меня не связано особых воспоминаний.

Василий Григорьевич Новоселов довел свое отделение до 4-го класса включительно — предел, поставленный тогда для штатских воспитателей. В 5-м классе нас принял капитан Карлштадт.

Разница между ними была огромная. Даже строгость, которою отличались оба, выражалась совершенно различно. Новоселов был молчалив и давил на нас спокойно, ровно и беспристрастно. Его побаивались, но уважали. Он не принадлежал к числу тех воспитателей и учителей, которым кадеты время от времени устраивали так называемые бенефисы (по пажеской терминологии — балаганы). Скандалы эти — дневные или ночные — с инсценировкой заранее подготовленного, шумного и глупого беспорядка, — кончались неизбежно победой власти и наказанием всего класса, а то и всей роты; тем не менее революционный « институт » этот не выводился.

Почин неизменно принадлежал « подонкам » кадетского общества, державшим — в младших классах — в страхе остальную массу, которая вовлекалась в эти вспышки, как стадо, По мере того как это последнее отсеивалось, заправилы исключались за громкое поведение и тихое учение или сходили на нет, а влияние переходило к лучшим элементам, начиная примерно с 5-го класса (юноши 15-летнего возраста) и возможность « бенефисов » если не исчезала, то становилась меньше.

Новоселов руководил своими воспитанниками невидимо, достигая результатов разными педагогическими приемами, которые не бросались в глаза. Он изучал своих кадет и направлял их соответственно. Требовав-

шиеся от него письменные аттестации на каждого отдельного мальчика носили отпечаток продуманности. С листов этих нужно было снимать копии; пишущих машинок тогда не было еще и в зародыше, приходилось делать это от руки. Новоселов воспользовался случаем убить двух зайцев : сберечь свой труд и, вместе с тем, дать возможность некоторым кадетам познакомиться с « направляющим » содержанием аттестаций, официально считавшихся секретными. Он приглашал к себе на квартиру в вечерние свободные часы двух кадет, по очереди, и засаживал их за переписку. Так провел и я раз или два несколько часов в его холостой квартире, где на обеденном столе списывал аттестацию — и в том числе свою собственную. Дело было, когда я достиг 3-го класса и 13 лет.

Вот что я прочел себе в назидание в заключительной фразе отзыва, в общем очень хорошего : « ...Замечаются зачатки эгоизма, которые могут развиться или в себялюбие, или в чрезвычайную требовательность к самому себе ».

Что оправдалось из этого предсказания — судить не мне, но несомненны острота наблюдения воспитателя и глубина его замечания.

Новоселов был курнос, имел рыжие усы, — отчасти от куренья, — делал на голове волосяной « заем » через всю лысину от виска, прихрамывал и ходил с палкой.

Прозвали его « Суффикс » потому, вероятно, что он донимал им своих учеников по русскому языку.

Николай (?) Фердинандович Карлштадт, недавно перед тем переведенный офицером-воспитателем в корпус и имевший до того корни в Финляндии, был задорно энергичен, подвижен, много и громко кричал, точно командуя, и раскатисто хохотал зычным басом. Перед назначением к нам Карлштадт управлял выпускным классом в строевой роте, где снискал себе известность своими популярными беседами и вульгарными анекдотами, а также заработал прозвище « каша ». Кадеты показали в этом прозвище присутствие лучшего вкуса, чем тот, на который рассчитывал их воспитатель; это не мешало им, однако, гурьбой сопровождать на ходу рассказчика, от одного конца огромного сборного зала

до другого, и взрывами смеха поощрять к дальнейшим выступлениям в области отборных историй и словечек.

За то короткое время, которое я был под начальством Карлштадта, всего месяца 2-3 до моего перевода в первой половине учебного года в Пажеский корпус, я не имел случая испытать воспитательные приемы этого рода. Я вынес скорее впечатление, что Карлштадт был очень внимателен к своим питомцам и, вероятно, к ним искренно привязывался. Когда мне объявили о переводе и стали снаряжать к отходу, Карлштадт был расстроен и сказал : « Ну, вот так всегда : отнимают лучших! »

Следующая моя встреча с Николаем Фердинандовичем произошла больше чем через четверть столетия, летом 1917 г., на чужой земле, в Тарнополе. Я был начальником штаба XI армии, а генерал-лейтенант Карлштадт — комендантом города, и превосходным. Он подошел ко мне с рапортом по старшинству моей должности. Я не дал ему окончить — мы крепко обнялись и поцеловались...

В день расставания с Первым кадетским корпусом было солнечное и холодное ноябрьское утро. Шли мы на другой берег Невы пешком и втроем : кроме меня — мой одноклассник Владимир Бурман, переведенный одновременно со мной, и « Арбуз ». Это было прозвище подполковника Флорова, действительно круглого и румяного. Это был мягкий и любимый кадетами воспитатель. Он немного рисовал акварелью и приносил мне на показ или даже в подарок — как коллеге по искусству — любительские головки в духе знаменитой тогда Елизаветы Бем.

Мы пересекли по мосткам блиставшую на солнце Неву в ее ледяном уборе между Николаевским и Дворцовым мостами. Дул зимний сквозняк и прохватывал нас в наших шинелях, тоже « подбитых ветром ». Наушники защищали уши. Башлыки оставались поддетыми под погоны — последний раз красные погоны с литерами « I. К. ». Впоследствии корпусу дали шифр основательницы корпуса Императрицы Анны Иоанновны.



Пажеский Его Императорского Величества корпус
Отпускной день

ПАЖЕСКИЙ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА КОРПУС

Пришли. Сданы новому начальству. « Арбуз » жмет нам на прощанье руки и желает всякого благополучия. Для нас открывается новая глава. И я начинаю ее — через день-другой после обмундирования и представления новым товарищам — с лазарета. Невский сквозняк успел меня прохватить, и я слег с обычным для меня периодическим нарывом в горле.

В пажеском лазарете « общих классов » (отвечавших курсу кадетских корпусов) первыми заметными фигурами представились мне смотритель лазарета Кирилл Иванович Вавенко и старший врач — в генеральском чине действительного статского советника — Юргенсон.

Кирилл Иванович, которого все знали по имени, но редко кто — по фамилии, был старожил в корпусе и помнил отцов и дядей пажей нашего времени. Прочтя мою фамилию над кроватью, он немедленно порылся в своей памяти и объявил, что был Геруа, который подавился резинкой! Если случай этот не был чистой фантазией старика, старавшегося держать на высоте свою репутацию историка лазарета, то он мог относиться только к моему дяде Николаю и к концу сороковых годов, когда он вышел из корпуса до его окончания. Таким образом, в конце 1890 г. Кириллу Ивановичу должно было быть не менее 45 лет службы в стенах корпуса. Это был маленький, суетливый сухой старичок с седой бородкой и красным морщинистым лицом.

Владимир Магнусович Юргенсон принадлежал к числу военных врачей старой школы, веривших в неподвижность той медицины, которая была ими усвоена

на школьной скамье и в первые годы службы. Впрочем, со мной он произвел, когда я уже был в младшем специальном классе, опыт, едва ли до того рекомендованный врачебными книгами. У меня был очередной нарыв в горле, и Юргенсон решил остановить процесс приемами внутрь чистого скипидара. Вероятно, он думал не о внутреннем его действии, а о прижигании горла при проглатывании. Давали мне скипидар только раз в день по чайной ложке. Вызывало это большие, острые боли, не говоря об отвращении, но толку от нового средства (старые я все знал наизусть) не получилось никакого. Юргенсону пришлось стать перед нарывом, позволить ему созреть и самому прорваться.

Старик был не прочь выпить, и часто, при вечерних посещениях лазарета, от него пахло вином, а иногда и походка выдавала недавнее возлияние.

В один из таких вечеров, когда я лежал в лазарете общих классов с междуреберной невралгией, Юргенсон приказал натереть мне спину... хинином. Итак, хинин снаружи, скипидар — внутрь!

Пажеский корпус последних годов 19-го века резко отличался от того, чем он был в его первых годах — после его основания в 1801 году. Тогда это была маленькая школа с маленьким схоластическим содержанием и с большим придворным уклоном. Мемуарист А. С. Гангеблов, декабрист, рассказывает о годах 1814-1820, что из камер-пажей, назначенных состоять при Императрице или Великих Княжнах, а их всего было 15, двое ежедневно отправлялись в соответствующие дворцы, где дежурили в течение целого утра в ожидании, что в них явится надобность. Так как она являлась очень редко, то эти камер-пажи слонялись без дела — хоть бы и чисто придворного, — а еще чаще их отпускали, властью Ее Величества или Императорского Высочества, домой. От « рабочего » дня, в течение которого в корпусе должно было идти образование этих юношей, оставалось не много или ничего. Пребывание в корпусе в таких условиях вело к тому, что Царская Семья знала в лицо многих пажей, общее число которых ограничивалось 150, а выпускное отделение составляло человек 30; Великие Князья влияли на выход пажей в тот или другой гвардейский полк; воспитание было скорее светским, чем военным. Очевидно, эта по-

верхностная шлифовка не мешала питомцам корпуса впоследствии оказываться в первых рядах правящего класса армии и просвещенных русских людей. Объяснить это одним деспотизмом нельзя. Дело заключалось в том, что была еще тогда жива традиция домашнего воспитания 18-го века, для которого дворяне-родители не жалели средств и при котором учебные заведения — как школа — для их сыновей являлись только подспорьем.

В мое время, то есть в конце царствования Александра III, штат корпуса был 330 воспитанников, из них 170, то есть примерно половина, интернов.

Штат кадетских корпусов был втрое больше, так как из счета пажей нужно исключить специальные классы, отвечавшие военным училищам. Приходящих в кадетских корпусах почти не было вовсе (кроме Александровского кадетского корпуса — почти целиком из экстернов — и Николаевского, где их допускался большой процент). Внутренний уклад всегда был одинаков. Придворность в Пажеском корпусе ограничивалась редкими вызовами камер-пажей во дворец на торжественные выходы и приемы. Год на год в этом отношении не походил: были, например, выпуски « коронационные », когда не только все камер-пажи, но и некоторые пажи отправлялись надолго в Москву и все они принимали почти ежедневное участие в различных придворных церемониях; по возвращении в Санкт-Петербург в такой год шли приемы, поздравления и т. п. и « счастливые » выпуски в них часто фигурировали.

Назвать мой выпуск 1894-95 гг. « счастливым » в этом смысле было бы бестактно, так как довольно большая придворная служба выпала на нас по печальному случаю неожиданной и ранней кончины Императора Александра III. Мы тоже ездили в Москву встречать тело покойного Государя и несли в течение месяца усиленную службу по возвращении с траурным поездом в Петербург и потом во время похорон.

14-го ноября в церкви Зимнего Дворца состоялось бракосочетание молодого Государя, при котором присутствовали все камер-пажи, и я лично впервые состоял — с А. Н. Шуберским в паре — при Императрице Александре Федоровне. В конце этого же 1894 г. и в начале 1895 г. состоялся ряд приемов разных депутаций и ино-

странных послов, на которые вызывали камер-пажей Государя, Государыни, а иногда и Великих Княгинь и Княжен.

Как учебное заведение корпус успел сильно подтянуться и сбросить с себя репутацию убежища светских бездельников и шаркунов. Репутация эта держалась еще в 70-х и даже 80-х годах. В истории постановки воспитательного и учебного дела в Пажеском корпусе отмечаются имена ротного командира К. К. Жерардта — французского выходца (1843-59), директоров генерала Павла Николаевича Игнатьева (1834-45) и Дитерихса (1878-1894). Последний был директором почти в течение всего времени моего пребывания в корпусе (четыре года из пяти) и сдал корпус графу Келлеру как раз в дни погребения Императора Александра III. Ф. К. Дитерихс служил по военно-учебному ведомству с 1868 г. и провел в милютинских военных гимназиях около 12 лет. Перед назначением в Пажеский корпус он 4 года был директором 3-й Санкт-Петербургской военной гимназии (впоследствии корпус) — на той-же Большой Садовой улице, но по другую сторону Невского. Долгая и немецки-добросовестная работа Ф. К. Дитерихса в военно-учебных заведениях — в общем в течение всей его жизни, сделала из него выдающегося педагога. Чтобы окончательно покончить с легендой о ничтожной сущности привилегированного корпуса, он твердо принялся за пажей и еще тверже за учительский и воспитательный персонал. Подобрав к рукам и тех, и других, и третьих, он выдвинул корпус на место, действительно отвечавшее его привилегиям и оправдывавшее их. Приглашались лучшие учителя, которым платили больше, чем в кадетских корпусах. В специальных классах читали лекции несколько профессоров военных академий. Инспектором классов был в мое время профессор военный инженер Кирпичев, один из известных тогда математиков.

Досадным исключением в хорошо подобранном педагогическом персонале были учителя-старожилы прежней школы, которых неловко было уволить. Там, где « старожилость » — в лазаретном случае знаменитого Кирилла Ивановича, — не принося пользы, была симпатичной, в области преподавания она приносила вред. Об этих исключениях скажу ниже, в своем месте.

Управлять пажами было не легко. За многими из них стояла влиятельная и сильная родня. При слабом и уступчивом директорстве это вело бы к потаканиям в отношении одних, а в других к сознанию неровностей в обращении начальства.

Ф. К. Дитерихс поставил всех на одну доску. Учебные отметки, поведение и характер служили единственным мерилом для выдвижения. Раз навсегда, например, было установлено, что в старшем специальном классе после назначения фельдфебеля, который выбирался не только за ученье, но и за волевые и внешние качества, два (или три) камер-пажа назначались к Императрице (или Императрицам) строго по старшинству баллов. Никакая маменька и никакой папаша из светского Петербурга не могли заставить Дитерихса сделать исключение для их сыновей из этого твердого правила.

Казалось, что директор, этот медленный и важный генерал, сухой и недоступный, стоял далеко от пажей. На самом же деле, как говорили об этом офицеры-воспитатели и свидетельствовали те или иные решения, старик знал о каждом паже все, что было нужно знать. На учебных комитетах он вникал детально в доклады и аттестации воспитателей и учителей. Вникал, проверял и помнил.

В общем, между пажами установился дух равенства, взаимного уважения и приличия. Дух этот они уносили с собой в жизнь и, прежде всего, в те полки, куда выходили. Некоторые полки гвардии — как стрелки Императорской Фамилии, Преображенцы, Кавалергарды — были почти сплошь « пажескими ». Там для них как бы продолжался родной корпус.

Б. А. Энгельгардт в своих записках (« Воспоминания камер-пажей » в журнале « Для вас », Рига, 1939 г.) о Дитерихсе упоминает лишь вскользь и отмечает расплывчато, что пажи его будто бы « не любили ». Не знаю, в какой мере нежные чувства к начальнику полезны для дела и, вообще, возможно ли ему быть « любимым » всеми. Достаточно, чтобы подчиненные своего начальника очень уважали и слегка побаивались. Именно так себя поставил Ф. К. Дитерихс. Внешняя недоступность его была тем барьером во взаимоотношениях, за которым начинается опасность фамильярности и рас-

пущенности. Преемник Дитерихся, граф Келлер *), снял этот спасительный барьер, но едва ли воспитание его питомцев от этого выиграло.

В числе « либеральных » и « товарищеских » мер нового директора — старого пажа — было немедленное учреждение во всех ротах отделений умывалок, где за занавесками были устроены комфортабельные « биде » с проточной водой. По утрам граф Келлер нарочно пробегал своей обычной суетливой походкой спальни рот, чтобы убедиться, что пажи пользуются этим новым усовершенствованием их быта. Торопливая походка графа Келлера была прямой противоположностью Дитерихсу, который не шел, а « плыл » по залам корпуса. Встретив пажа с полотенцем через плечо, идущим в умывалку, Келлер спрашивал на ходу : « Куда вы идете? » — « Делать биде, Ваше Сиятельство! » отвечал паж, если он был находчивым и бойким. Удовлетворенный директор бежал дальше...

Другой мерой было дарование камер-пажам права самим заказывать меню завтраков и обедов. Эконом обязан был приносить накануне вечером проэкт возможных блюд на рассмотрение и выбор старшего класса. Одновременно было введено дежурство камер-пажа по кухне, — кстати соседней с помещением специальных классов. Дежурство могло быть полезным, но я думаю, что на деле оно сводилось к отбытию номера (сам не дежурил, так как был одним из старших, то есть взводных камер-пажей, которые не несли никаких дежурств). Что касается до выбора и изобретения блюд, то это несомненно — по крайней мере в начале, пока не выродилось, — улучшило наш стол. Однако это было ненужным баловством и барством, ибо и до того стол был более чем удовлетворительным; он был вкусен, здоров и заметно превосходил скромную массовую стряпню кадетских корпусов, судя по примеру знакомого мне Первого кадетского корпуса. Между прочим, у нас к чаю, который подавался в больших чайниках,

---

*) Генерального штаба, командовал стрелками Императорской Фамилии и имел их мундир. Георгиевский кавалер за войну 1877 г. Впоследствии — Екатеринославский губернатор. Командир 10-го корпуса в японскую войну. Убит под Хайчаном в 1904 г.

прибавлялся на каждого пажа стакан горячего молока, чего не было, как правило, в других корпусах. Во внешности чаепития имело домашний характер то, что чай разливался не по кружкам, а по граненым стаканам, имевшим блюдечки.

Как новая кухонная мера отразилась на расходах и бюджете корпуса мне, конечно, не известно, но по растерянному виду нашего буфетчика Теребилова — архипатриархальной фигуры с седой окладистой бородкой московского купца — можно было угадывать, что равновесие в этой области было нарушено.

Третьей мерой графа Келлера было приглашение в некоторые будние дни к себе на обед камер-пажей по очереди. Это давало ему случай познакомиться с их светскими манерами, знанием языков — особенно французского, и, отчасти, характером. За обедом, на который являлось человек 6-8 пажей, председательствовала графиня Мария Александровна, еще молодая, видная и красивая брюнетка. Заводился общий разговор, и приглашенным оставалось следить за собой, чтобы не совершить какой-нибудь « гафы ».

Не провинился ли в этом отношении в моем выпуске барон Арпсгофен, мой сосед в старших классах по парте и по баллам и тоже старший камер-паж? Он в начале учебного года был в списке выше меня на одного, но при назначении камер-пажей к молодой Императрице его обошли и назначили меня.

Подобный обход тоже явился нововведением и отказом от строгой системы Дитерихса. Лично я, конечно, выиграл, но это не мешает мне усомниться в моральной пользе такого отказа. В следующем за нами выпуске — « коронационном » — снова повторился обход вполне достойного юноши, прошедшего корпус с первого класса, в пользу поступившего год тому назад, стоявшего по баллам заметно ниже, но зато титулованного, с исторической русской фамилией.

Начались светские переоценки!

Вспоминаю свой первый обед у графа Келлера. Он нарочно перешел со мной на французский язык и спрашивал, между прочим, про моего отца. Отвечал я храбро, хотя тогда мой разговорный французский язык не отличался свободой. Но директор вел себя поощрительно, мягко поправил ошибку и подсказал слово, которо-

го я сразу не мог найти. Что я все же выдержал экзамен, было доказано моим назначением к Императрице — в пару с А. Н. Шуберским.

Возвращаясь к Ф. К. Дитерихсу, вспоминаю, как он в редких, но нужных случаях, спускался со своего Олимпа, чтобы учинить разнос. У него был острый, вздернутый нос, длинные седые усы, обрамлявшие бритый подбородок, и совершенно голый череп, на котором нельзя даже было вообразить трех знаменитых бисмарковских волосков, выдуманных карикатуристами. В случаях важных, а такими всегда были его обращения к пажеской массе, он закладывал большой палец правой руки за вторую сверху пуговицу своего двубортного сюртука, а остальными пальцами похлопывал себя по груди, точно аккомпанируя своим медленно и размеренно выпускаемым словам. Говорил он с немецким акцентом и коротко. Однако выразительность от этого не страдала.

Особенно остались в памяти два обращения к моему классу.

В 5-м классе случилось, что не пришел учитель, и мы на радостях затеяли шумную возню. Как раз в это время в соседний зал 3-ей роты вошел Дитерихс. Не ускорив своего шага, он вошел в класс. Мы успели уже замолчать и занять свои места. Старший скомандовал : « Встать смирно! »

Директор остановился в дверях в своей обыкновенной позе. « Что это за шум и безобразие? Вы ведете себя не как пажи, а как пажеские мальчишки! »

Хотел он, очевидно, сказать « уличные мальчишки ».

Другой разнос был в младшем специальном классе — и гораздо серьезнее. По глупости и ради захватывающего чувства авантюры наше отделение решило произвести общий подмен подаваемых французских сочинений другими, заранее, вне класса, написанными. Для этого надо было подделать заглавия тем, которые обычно писал учитель своей рукой на каждом листе. Все это мы проделали, казалось, технически успешно, но француз Пелисье (не потомок ли главнокомандующего в Крымскую войну?) заметил разницу в оттенке красных чернил. Мы попались!

Разразилась страшная гроза. Нас заставили писать

сочинение еще раз, многие, не подготовившись, получили по единице; класс был оставлен без отпуска на целый месяц; но главное — нас постигла опала.

Дитерихс перестал с нами здороваться, подчеркивая свое благоволение к другим, и лишь однажды вошел в класс, чтобы произнести одну из своих речей.

— Не пажи Высочайшего Двора, — сказал он нам, аккомпанируя себе ладонью по борту сюртука, — а фальшивые монетчики!

И, обведя свою аудиторию, стоявшую в конфузном молчании, презрительным взглядом, повторил :

— Фальшивые монетчики!...

Это была вся речь. Директор повернулся и вышел из класса, чтобы долго-долго не возвращаться в него, тщательно обходя нас и не здороваясь с нами при своих обычных проходах через помещение роты.

Эпитет « фальшивых монетчиков » был много сильнее « уличных мальчишек », брошенного по нашему адресу три года перед тем. Было стыдно и неловко; и когда, наконец, опала была снята и директор снова обратился к нам с привычным : « Здравствуйте, господа! », приуроченным к дням говения и всепрощения, мы вздохнули свободно. Свалилась гора с плеч.

Дитерихс мог твердо вести свою политику в корпусе, чувствуя за собой поддержку Шефа — Императора Александра III, который его лично знал и уважал. Но стоило Государю сойти в могилу, как подняла голову петербургская интрига. Сыновья военного министра генерал-адъютанта Ванновского получили воспитание в Пажеском корпусе при Дитерихсе и затаили против него зуб за бесстрастное к ним отношение и за уроки их самонадеянности. С их слов и также, вероятно, по другим наветам у министра составилось мнение о необходимости « освежить » управление корпусом и сменить « засидевшегося » старика — директора, воспользовавшись сменой царствования. Но надо было найти предлог, а его не было. И вот, Ванновский сам приезжает невзначай в корпус и сумрачно его обходит. Легко можно себе представить, что он выражает при этом недовольство теми или другими порядками и что маститый Дитерихс считает ниже своего достоинства оправдываться.

О результате этого посещения мы узнали чрезвы-

чайно скоро. Через несколько дней генерал Дитерихс был отчислен на бесцветную должность « для поручений » — и притом сверх штата — при Главном начальнике военно-учебных заведений. Небрежнее и обиднее этого увольнения, как бы официально отвергавшего многолетние заслуги почтенного педагога, трудно было выдумать. Если нельзя было повысить его по родному ведомству, он мог бы получить почетное звание, например, почетного опекуна или даже сенатора. В аналогичных случаях так и поступали.

Нечего и говорить, что самолюбие честного служаки было уязвлено до крайности и что причиненная ему боль отравила остаток его дней.

На прощанье Ф. К. Дитерихс дал каждому из пажей свой фотографический портрет с собственноручною надписью, составленною в задушевных тонах (помню даже фразу : « духовная моя связь с пажами не порвется никогда »).

Все это произошло немедленно после кончины Александра III, в те дни, когда не закрылась еще над его прахом могила. Молодому Государю было не до того, чтобы вникать в обстоятельства увольнения одного из престарелых генералов, к которому так хорошо относился отец. Этим и воспользовались из-за угла его недруги, торопливо сводя какие-то личные счеты.

В чем выразилась новая метла, мы видели выше.

В Пажеском корпусе была одна черта, которую редко можно встретить в казенном учреждении — это известный уют. Этому способствовал и Воронцовский дворец с планом барского особняка, который чувствовался, несмотря на перестройки, и малый относительно штат. После уроков, кончавшихся к 3-4 часам дня, экстерны уходили домой и в стенах всего корпуса до следующего утра оставалось, как упоминалось выше, всего 170 человек. Курс начинался в мое время прямо с 3-го класса (1-й и 2-й были упразднены в первые два года после моего поступления в 1890 г.), и в семи классах корпуса, разделенных на три роты, считая и специальные классы, было в эти часы, в среднем, человек 55 на роту. В кадетских корпусах, в каждой из четырех рот всегда было громоздкое число около 170 воспитанников — столько, сколько заключалось во всем интернате Пажеского корпуса.

Эта разница в размерах здания и в числе его обитателей была заметна всем, переведенным из других корпусов. Нам с Бурманом, после необъятных пустынных коридоров и зал огромного Меньшиковского дома-квартала, где квартировал Первый кадетский корпус, особенно бросилась в глаза сжатость и сравнительно нарядная обставленность Пажеского корпуса. Они умеряли и смягчали казенный характер помещения и быта.

Снаружи, на Садовую улицу, глядел стильный фасад « барокко » — творение Растрелли-отца, — а по обратную сторону асфальтовый дворик отделял здание корпуса от католической церкви Мальтийских рыцарей времен Павла I. Присутствие этой церкви повело к тому, что пажи присвоили себе девизы этих рыцарей, их красивый белый крест как эмблему корпуса и стальное кольцо, подбитое золотом. Эмблема кольца была: « Тверд как сталь, чист как золото ». Оно надевалось при выпуске, причем снаружи гравировали « один из стольких-то », а внутри, по золоту, — год выпуска и фамилию.

За Мальтийской церковью был сад с кегельбаном, а сбоку — другой внутренний двор, или « плац ». Тут и в саду пажи гуляли и возились в назначенные часы. На дворе был манеж для верховой езды. Игры в те времена были примитивные, вроде городков и лапты (« крикет » в зачаточном состоянии). Начальство в организации игр не принимало никакого участия. В общем, спорт и обучение ему, как это переняли с англичан во всех странах, тогда отсутствовали.

Специальные классы помещались в особом, позднее пристроенном (в конце 80-х годов) крыле, которое соединяло основной корпус здания с квартирой директора, непосредственно выходившей на Садовую улицу. Если между кадетскими корпусами и классами Пажеского корпуса было некоторое различие, то про военные училища и специальные классы можно решительно сказать, что между ними не было ничего общего. В пехотных училищах был четырехротный батальон военного состава. У нас — по числу рядов — скорее полурота, чем рота. Там была точная воинская организация, как в полках. У нас цифровое отношение унтер-офицеров (камер-пажей) к рядовым (пажам) было половина на половину. То что камер-пажей ставили в строй за рядовых,

если строй выходил с ружьями, с точки зрения строевика было ненормально. Муштра, которой щеголяли училища и которая принимала вычурные формы, была в наших условиях неприменима и отсутствовала. Ее место заняла — со второй половины 19-го века — так называемая « подтяжка » младшего класса старшим.

Юноши соседних классов, бывшие товарищами и на « ты », при переходе в 1-ую роту превращались в ней — одни в начальников, другие — в подчиненных, опять-таки половина на половину. Старший класс переходил на « вы » с младшим и мало-помалу присвоил себе право « тянуть молодежь » или « зверей », как их называли в Николаевском кавалерийском училище. Нужно думать, что весь этот необыкновенный институт « подтяжки » был заимствован из этого училища.

Дурно или хорошо, но эти отношения прочно установились; офицеры их приняли в качестве удачного дополнения к своей власти, и посторонние зрители могли наблюдать, как, идя к обеду или к чаю в строю без ружей, одна половина — старший класс, — построенная отдельной колонкой, шла вразвалку, как попало и почти не в ногу, а другая отбивала с уродливой свирепостью шаг, задирала головы и налезала, по какой-то необъяснимой традиции, друг на друга вплотную — в нарушение устава. Старшие камер-пажи и фельдфебель шли свободно вне строя, сопровождая колонку младшего класса и покрикивая на нее :

— Не отставать!... Голову выше!... и т. д.

В часы, когда все роты собирались в столовый зал, появление специальных классов обозначалось задолго этими окриками и топотом нескольких десятков ног младшего специального класса, напоминавшим приближение табуна жеребцов. Шага вразброд старшего класса, лениво следовавшего за младшим, не могло быть слышно за этим грохотом.

Налагать взыскания в мое время имели право только фельдфебель и старшие камер-пажи. Но еще при моем брате, то есть за четыре года перед тем, это право имели все камер-пажи. Дитерихс, неслышно, но систематично боровшийся с естественными злоупотреблениями « подтяжки », лишил их этой власти, оставив ее только за пятью фактически начальствовавшими камер-пажами.

Всевозможные официальные рапорты пажей младшего класса этим начальникам или дежурному камер-пажу, а также регулярные явки по случаю ухода в отпуск или возвращения из него, были предлогом для внушения « молодежи » начал одиночной выправки. Малейшая неисправность в одежде, недостаточная отчетливость поворота, вялость шага, неуменье рассчитать расстояние так, чтобы принимающий рапорт пажа мог подать ему руку — что было традицией, — вело к короткому окрику: « Явитесь еще раз! » с указанием ошибки.

По субботам и по средам, когда уходили в отпуск не одни экстерны, но и все интерны, у так называемого « фельдфебельского » стола вытягивался длинный хвост являвшихся, который уменьшался медленно из-за этих повторных явок. Иной « крендель » прогонялся взад и вперед десяток раз, а то и больше, прежде чем удовлетворить требовательность принимающего и быть, наконец, отпущенным. Хорошо еще, если этот неудачник не уносил с собой « лишнее дневальство »!

Однако в этом ритуале не допускалось ни насмешек, ни тем паче издевательств. Поэтому подчиняться заведенному порядку было нетрудно; к тому же каждый паж знал, что через несколько месяцев настанет и его черед стать начальником и почти на офицерском положении.

Явки, внимание на улицах, чтобы не пропустить отдания чести, требование быть одетым по форме и т. п. имели несомненно свою хорошую сторону: внедрялась привычка к самооглядке и к военной отчетливости. Перед явкой « молодые » репетили перед зеркалом или друг перед другом. Глаз привыкал замечать недостатки. Он не пропустил бы потом, на военной службе, дурно пригнанного ремня или незастегнутой пуговицы.

Помимо этих приемов воспитания, применявшихся более или менее на законном основании, были установлены традиции, которые проводили в стенах корпуса черту между старшим и младшим классами. Так, младший класс не имел права проходить мимо фельдфебельской кровати, стоявшей отдельно и представлявшей, таким образом, для подчиненной половины роты своего рода алтарь. В курилке и в читальной комнате каждый

класс имел свое место, что давало возможность «начальству» держаться отдельно.

При встречах где-нибудь в обществе, в домашней обстановке, все эти искусственные грани стирались и восстанавливалось дружеское «ты». Служба была службой — дружба дружбой. Правило, знание которого оказывалось потом полезным при первых же шагах молодого офицера.

Дальнейшее и существенное отличие специальных классов Пажеского корпуса от военных училищ состояло в универсальности даваемой подготовки. Она должна была быть одновременно и пехотной, и кавалерийской, и артиллерийской, тогда как училища делились по специальностям. Пажи имели право свободно выбирать себе род оружия и самую воинскую часть. Никакой разборки вакансий по старшинству баллов, как это производилось в военных училищах, не было. Для выхода в гвардию требовался только средний гвардейский балл — а именно 9 по 12-балльной системе. Не менее трех четвертей выпускного класса обыкновенно и имели не менее этого балла. Остальные, если хотели выйти в гвардию, выбирали армейскую часть временно, с тем чтобы сейчас же быть прикомандированными к «своему» гвардейскому полку для перевода через год. Такому прикомандированию подвергались, без исключений, независимо от баллов, все те, кто хотел выйти в гвардейскую артиллерию или лейб-гвардии Саперный батальон, как в совершенно исключительном случае нашего фельдфебеля Бобровского.

Справиться в корпусе с задачей универсальности было мудрено. Весь строй и порядок, в основе, оставался пехотным. Будущие артиллеристы и кавалеристы составляли особые отделения, отличавшиеся от пехотного тем, что они чаще ездили верхом в манеже, а артиллеристы, кроме того, упражнялись в действиях при орудии. Внизу, в фехтовальном зале, стояла одна трехдюймовая поршневая пушка — предмет этих упражнений, не слишком частых, под руководством приглашавшегося со стороны артиллерийского офицера.

Когда наступала весна и стаивал снег — это совпадало с периодом Великого поста — на Марсово поле, отстоявшее от корпуса в 20 минутах ходьбы, приводили раза два или три «настоящий» эскадрон или «настоя-

щую» батарею. Кавалеристам давали возможность на этом плацу испытать на деле строевой устав, эволюции которого они изучали зимой лишь по чертежикам и воспроизводя их мелом на классной доске. Артиллеристам показывали на пятачке Марсова поля «подъезды» и «отъезды».

Поверхностность такой подготовки была очевидна. Поэтому, с началом летних лагерей все специалисты отчислялись от корпуса и прикомандировывались к строевым частям — в большинстве к тем самым, куда собирались выйти. В пехотном отделении обычно оставалась горсточка, так как больше половины пажей неизменно выходило в конные и артиллерийские части. Зимняя «пехотная» подготовка специальных классов была явной аномалией! Пехотинцы вместе с младшим классом составляли свой собственный миниатюрный квартиро-бивак на левом фланге Главного Красносельского лагеря, близ Дудергофской горы. Эти пажи состояли, для маневров и некоторых строевых занятий, в прикомандировании к Офицерской стрелковой школе. При совместных занятиях приходилось становиться в общий расчет и строй этой школы, вперемешку со стрелками. Нельзя сказать, чтобы это было всегда приятно, особенно в жару; но зато происходило такое тесное сближение полупридворных воинов с солдатом, которого не испытывали юнкера пехотных училищ, упражнявшиеся всегда в составе своих училищных батальонов.

Перед так называемыми «корпусными маневрами», незадолго до производства в офицеры, пригонявшегося в мое время к первой половине августа, прикомандировывались к полкам и пехотинцы старшего класса.

Было принято, чтобы выпускные пажи в течение лета представились офицерскому обществу своих будущих гвардейских полков. Представление это происходило за ранним лагерным обедом и сопровождалось ритуалом неумеренных винных возлияний. В предвидении этого, таким пажам разрешалось вернуться обратно на другое утро, — проспавшись.

Обычай этот был жестоким и являлся пережитком давних времен, когда винный разгул входил обязательным слагаемым в область военного молодечества и кре-

ность офицера к спиртным напиткам составляла одну из статей суждения о нем.

Лично я, до представления в полк, в свои тогдашние 19 лет не пил водки, с которой начиналась эта церемония. Но отказываться было нельзя. Первые рюмки глотались не без усилия, как лекарство. Однако привычка появлялась скоро!

Наш выпуск 1895 года был первым производства молодым Государем Николаем Александровичем. От корпуса, его традиций и быта осталось приятное впечатление. Связь со школой сохранялась искренняя и душевная и достигалось это без особого нажима, благодаря, отчасти, ровности состава. Сами пажи являлись судьями в том, что допустимо и что нет, и в их взаимных отношениях самым крупным преступлением считалась вульгарность, или « хамство ». Провинившегося в этом преследовали и кое-кого подвергали товарищескому остракизму. С такими говорили на холодном « вы » и старались не иметь с ними дела. Замечательно, что юношеский суд этот оправдывался в дальнейшей жизни: отмеченные им люди продолжали и по выходе из стен школы проявлять свои отталкивающие черты. В моем выпуске некий Д., поступивший только в специальные классы и которого иронически называли « господин », кем он не был, немедленно по производстве в офицеры сделался дезертиром. Он нарочно выбрал дальний Приморский драгунский полк, стоявший во Владивостоке, куда полагался очень длинный срок для явки, и во время этого поверстного срока исчез. Впоследствии он был судим не раз и исключен из военной службы.

Из Пажеского корпуса, кроме теплых воспоминаний, я вынес еще и нечто материальное, а именно: присужденную мне денежную премию имени генерала П. Н. Игнатьева, выдававшуюся воспитаннику « отличному », но без средств, и подарок из Кабинета Его Величества — золотые часы с государственным гербом — по случаю бракосочетания Их Величеств 14 ноября 1894 г. Часы эти верно прослужили мне 45 лет, уцелели при революции и находятся при мне и сейчас, когда я пишу эти строки.

Получили мы с Шуберским на память о нашем камер-пажестве у Императрицы, кроме часов, еще два

иностранных знака « для ношения на груди » : серебряную Гессен-Дармштадтскую медаль, от брата молодой Государыни, и персидский орден Льва и Солнца младшей, 5-й степени, в память Высочайшего приема персидского посла в Аничковском Дворце, где он торжественно приносил поздравление Их Величествам по случаю восшествия на престол.

Медаль была очень похожа на героическую русскую « за спасение погибающих », так как цвета ленты были тоже Владимирские — красный и черный, только в обратном порядке.

К вещественным воспоминаниям нужно прибавить еще один отклик моего камер-пажества при Императрице — денежное пособие, пожалованное мне на время моего пребывания в Академии. Такие пособия, под названием « премии », жаловались иногда малоимущим камер-пажам Государя и Государынь из их личных сумм, в виде помощи для службы в гвардии, требовавшей дополнительных к жалованию средств. Хоть я и нуждался в них, но при выходе в офицеры мне не приходило в голову просить об этом Императрицу. Лишь спустя пять с лишним лет меня надоумил и побудил сделать это товарищ по полку граф М. Ростовцев, брат которого состоял секретарем при молодой Государыне. Поступление в Академию было удачным предлогом, хотя на самом деле там материальное положение офицера становилось сразу лучше. Жалованье было повышенное и прекращались тяжелые вычеты в полковое офицерское собрание. Пособие было мне назначено в размере 500 рублей в год без малейшего труда; сложенное с академическим улучшением, оно позволило мне почти вовсе не беспокоить моего отца по части денег. Надо сказать, что как раз к этому времени — 1902 г. — и отец существенно оправился материально, получив и столь долгожданное генеральство и большую должность (с правами начальника дивизии) в Минске.

Из придворных впечатлений камер-пажества самым ярким было участие в свадьбе Государя 14 ноября 1894 г.

В дни нарядов во дворец камер-пажи прежде все-

го должны были переодеться в придворную форму. Она была большая и малая. Последняя состояла из обыкновенного выходного мундира, но в шишак каски вставлялся белый волосяной султан. Форма эта применялась в случаях второстепенных церемоний и сравнительно редко. Чаще нас требовали в случаях полной торжественности, и тогда надевался придворный мундир, весь покрытый галунами спереди и по сторонам карманов сзади; на ноги — белые лосины, однако фальшивые, ибо шились не из кожи, а из особой « трикотажной » материи; чтобы они гладко обтягивали ноги, снимались кальсоны и псевдо-лосины натягивались на голое тело. Затем шли лакированные ботфорты кирасирского типа со шпорами. Каска с султаном. Шпага с офицерским темляком на поясе из золотого галуна, с золотой пряжкой.

Фельдфебелю и камер-пажам Императриц эти дорогие мундиры шились каждый раз новые — по мерке. Остальным камер-пажам « пригонялись » из запаса цейхгауза или, как он назывался в Пажеском корпусе, — « резерва ».

Когда камер-пажи были готовы, их бегло осматривал адъютант, который традиционно нес обязанности придворного патрона. В мое время адъютантом был штабс-капитан Дегай. Офицер этот чувствовал себя хорошо на дворцовом паркете и гораздо хуже в тех редких случаях, когда ему приходилось выезжать верхом в строй. Выбранную ему из нашего конского состава лошадь, — видную, но смирную, задолго натаскивали на всевозможные шумы, подобно тому как это делали наездники придворного конюшенного ведомства в отношении лошадей, предназначенных под высоких особ на какой-нибудь предстоящий парад. Затем Дегай сам практиковался в езде и приучал себя к данному коню. Когда наступал день выезда, Дегай, одетый в строевую форму с непривычными при пажеской форме высокими сапогами, в каске, с застегнутой под подбородком чешуей, представлял на лошади зрелище, которое, по его мнению, должно было бы удовлетворить самого требовательного кавалериста. Вдохновляемый отжившей манежной посадкой, с кончиком носка на стремени и с оттяжкой ступни вниз, Дегай достигал этого посредством чрезвычайно коротких стремян. В результате по-

лучалось невероятное соединение жокейской посадки, как бы на корточках, с положением ступни, увековеченным бароном Клодтом на конной статуе Императора Николая I и считавшимся в его время классическим.

Было совершенно очевидно, что полупридворная роль адъютанта была по душе Дегаю. Всегда одетый почти с иголочки и по последней военной моде, с ватною грудью навыкат, с аксельбантом, с таким же тщанием разложенным на этой груди, как редеющие волосы на его ранней лысине, с мягким звоном своих Савельевских шпор, он проходил по залам корпуса шагом, каким « следуют » особы разных классов в дворцовых процессиях, — решительным, веским, но не торопливым. Во время придворной нашей службы Дегай вполголоса наставлял камер-пажей и следил за гладким течением службы. В случае каких-нибудь торжественных приемов или выходов камер-пажи выстраивались заблаговременно на том пути, по которому вереницей собирались приглашенные и участники церемоний. Пробегали дежурные церемониймейстеры со своими палочками, повязанными под рукояткой андреевскими ленточками. Шагал величественный, огромного роста скороход со своей шапкой в страусовых перьях, галунном кафтане 18-го века, чулках и башмаках. Приходили к своим постам « арапы Петра Великого » в живописных балетных куртках, турецких шароварах и чалмах. Чем ближе к назначенному часу, тем крупнее шли гости, постепенно превращавшие поток обыкновенных людей, хоть и наряженных в золото, серебро, ленты и звезды, в « особ ».

Здесь Дегай, стоя на нашем фланге, негромко предупреждал нас о приближении лица, которому камер-пажи должны были отвесить поклон как своему временному придворному начальнику.

— Обер-церемониймейстер князь Долгоруков!

И мы дружно кланялись, щелкая шпорами, крупному барину в бакенбардах и с жезлом.

— Обер-гофмаршал граф Бенкендорф!

Поклон свитскому генералу с подстриженными усами, бачками, идущими к ним узкой дорожкой, по-николаевски, и с вечным высокомерным моноклем в глазу.

— Министр Двора граф Воронцов-Дашков!

Красивый, породистый старик в Андреевской ленте,

с портретом покойного Государя-друга на груди. От Воронцова-Дашкова веет целой эпохой... Он ласково обводит нас глазами и, отвечая на наше приветствие, как бы ищет среди нас, — нет ли знакомого лица.

— Гофмейстрина светлейшая княгиня Голицына!

Почтенная, важная дама с брильянтовым шифром и в розовой с серебром ленте св. Екатерины. Кланяемся ниже и почтительнее...

К концу камер-пажеского года мы, конечно, знали хорошо и Высочайших Особ и просто высоких. Те знали — хотя бы по виду — нашего гувернера Дегая. Камер-пажи каждый год менялись. Дегай оставался.

Вернемся к 14 ноября 1894 г. После утверждения нашего внешнего вида Дегаем, мы спускаемся вниз, где у подъезда нас ждут придворные кареты. На козлах кучер в красной ливрее, обшитой галунами с гербами, и в треуголке. Усаживаемся, несмотря на ноябрь, без пальто. Вообще, пальто при полной придворной форме отрицалось. Помню, в Москве при переносах тела Императора Александра III нам приходилось стоять подолгу в ожидании на площадях Кремля и порядочно дрожать на утреннем октябрьском морозце.

Везут нас в Зимний Дворец, где одни кареты останавливаются у так называемого Великокняжеского подъезда (камер-пажи, состоящие при Великих Княгинях и Княжнах и иностранных дамах царствующих домов), другие — у Комендантского (так называемые запасные камер-пажи). Оба подъезда на площади, замыкаемой полукругом зданий Главного Штаба и министерства иностранных дел. Камер-пажей Государя и Императриц везут на Салтыковский подъезд, или Главный, смотрящий на чахлые деревья Адмиралтейского бульвара. Бобровский идет сразу наверх, в покои, а мы с Шуберским остаемся в швейцарской в ожидании приезда Великой Княжны Александры Федоровны, которая через несколько часов станет русской Императрицей.

Она, наконец, приезжает со своей сестрой, Великой Княгиней Елизаветой Федоровной, — совершенно исключительной красавицей. Красива и величественна была и Александра Федоровна и очень похожа на свою сестру, но все же ей уступала. Мы встречали их у дверцы кареты и помогали выйти. Великая Княжна — невеста дает нам руку для поцелуя — смущенно и нелов-

ко. Смущенность эта была первой отличительной чертой, которая бросалась в глаза в поведении молодой Императрицы с самого начала, от которой она не избавилась и в дальнейшем. Она явно « боялась » разговаривать, и в минуты, когда от нее требовались светская любезность и очарование улыбки, лицо ее покрывалось красными пятнами, и делалось напряженно серьезным. Прекрасные глаза ее обещали доброту, но и в них вместо живой искры светился лишь притушенный холодный огонек. В этом взгляде были чистота и возвышенность. Но возвышенность всегда опасна : она сродни гордости и ведет к отчуждению.

Я думаю, что эти черты характера Императрицы лежали в основе всей личной драмы ее жизни. Святая, но недоступная, она не знала людей, не умела их различать и ими пользоваться. Быть среди них, среди даже маленькой толпы, ей было тягостно. Она не сумела побороть первоначальной своей застенчивости и, по мере того как годы шли и царствование подвигалось вперед — к его трагическому концу — Царица все меньше и меньше показывалась на людях. Когда подросли дочери, они стали заменять мать на придворных церемониях.

Возвращаюсь к описанию камер-пажеских похождений в день бракосочетания Государя.

Высадив своих дам из кареты и проводив их к дверям подъемной машины, мы сами должны были совершить фокус, а именно — так быстро взбежать по лестнице, чтобы успеть оказаться в дверях подъемной машины в следующем этаже, где Великие Княжны выходили для следования во внутренние покои.

Проделываем это успешно. Провожаем дам вместе с двумя-тремя придворными чинами до определенных дверей, за которыми скрываются Их Императорские Высочества.

Августейшая невеста будет переодеваться в подвенечный наряд, а нас направляют в так называемую Арапскую комнату. Здесь находится дверь, охраняемая двумя придворными арапами. За эту дверь — во внутренние покои — не допускается никто, даже Великие Князья. Арапская комната сравнительно небольшая. Из нее другая дверь ведет в Малахитовую гостиную, щеголяющую своими ярко-зелеными малахитовыми ко-

лоннами и такой же отделкой стен. Дальше, кажется, шел Концертный зал, в котором обыкновенно давались так называемые малые дворцовые балы, которые вследствие маленького числа приглашенных ценились выше, чем большие, — в огромном Николаевском зале, вмещавшем тысячи гостей. Между прочим, бывшие камер-пажи Императриц, находившиеся в Петербурге, получали регулярно приглашения на один из малых балов.

Вход в Малахитовый зал из Концертного был, в свою очередь, загражден постом, выставляемым от Кавалергардского полка. Это был « вход за Кавалергардов », через который пропускались только Высочайшие Особы, первые чины Двора и еще, быть может, Андреевские кавалеры.

В Арапской комнате, в ожидании выхода Государя, собрались все Великие Князья — одни мужчины. Где-то в другом месте, очевидно, Великие Княгини ждали выхода невесты. Камер-пажи были выстроены у одного из углов Арапской комнаты. Отсюда их отправляли по надобности и по назначению.

Мелочи церемониала улетучились из памяти и я не претендую на точность камер-фурьерского журнала. Но запомнилось следующее, вне этого журнала. Несмотря на то, что в Арапской комнате Государя не было, а по стенам стояли стулья, все присутствующие стояли. Никто не курил. Ожидание было долгое и утомительное. Великие Князья разговаривали между собой негромко, чуть ли не вполголоса. Вообще атмосфера была натянутая, и было видно, что тем, кто постарше, не хватало храбрости присесть, а кто помоложе — мечтал о папироске. Наконец, старейший, но не слишком старый (62 года) Великий Князь Михаил Николаевич, дядя Государя, решил воспользоваться шеренгой камер-пажей как ширмой, для того чтобы сделать и то и другое : присесть и затянуться папироской.

— Ну-ка, молодежь, — сказал он, — сомкните ряды поплотнее и прикройте старика.

С этими словами он сел на стул и вынул папиросу.

— Совсем как в корпусе, в печную трубу, не правда-ли?

Покурив, Великий Князь тщательно придавил окурок.

— А вот этот след преступления девать некуда!

— В карман, Ваше Императорское Высочество, — подсказал один из бойких камер-пажей.

Великий Князь рассмеялся, вставая и развевая рукой дымок.

— Молодчина, опытный! Конечно, в карман, — и окурок отправился туда. Можно себе представить изумление камердинера Великого Князя, когда этот окурок был им впоследствии найден. Но, может быть, он остался навсегда в кармане, притаившись.

Наконец зашевелились церемониймейстеры, задвигались другие чины Двора, Воронцов-Дашков прошел за запретный вход, « за арапов ».

Вышел Государь в мундире своего лейб-гвардии Гусарского полка, в котором он, будучи наследником, командовал эскадроном. Бобровский отделился и пошел за Государем. Группа Великих Князей тоже последовала за ним. Все направились в большую церковь дворца.

В процессии этой бросался в глаза рост мужской части семьи Романовых. Большинство было высокого роста, а Великий Князь Николай Николаевич, будущий Главнокомандующий в 1914-15 годах, — ненормально высокого, легко превышая на голову любую толпу рослых людей. Молодой Государь был исключением и, будучи среднего роста, казался среди своих родственников маленьким.

Нас с Шуберским переправили к тем дверям, откуда в свое время должна была выйти Августейшая невеста.

Не помню, из кого составилась наша отдельная процессия. Но помню, что тяжелый, огромный, аршин в 6, шлейф серебряного подвенечного платья Императрицы несли и окружали человек 10 придворных, начиная с так называемых « первых чинов », с прибавкой « обер », и кончая нами — камер-пажами. Тут были и расшитые гофмейстеры в чулках и башмаках, и шталмейстеры в ботфортах со шпорами, как и камер-пажи, а самый кончик шлейфа должен был поддерживать древний обер-камергер (кажется, Нарышкин). Ему было трудно нагнуться, и нести шлейф на этом участке легло всецело на нас с Шуберским. Помню еще удивительные полированные паркеты, на которых легко было поскользнуться, и то, что каска с султаном, подвешенная

за чешую на рукоятку шпаги, не способствовала свободе передвижения согнутых пажеских фигур.

Когда процессия вошла в церковь, грянул с обоих клиросов хор Императорской Певческой Капеллы и восторженный гимн « Гряди, голубице » наполнил своды домашнего дворцового храма. Государь стоял посредине. Великие Князья — шафера группировались по сторонам. Бобровский держался позади Царя, держа в руках его гусарскую бобровую шапку с большим белым султаном. Парадно разодетые приглашенные, — немногие, так как церковь невелика, — образовали широкий коридор для прохода навесты. Шествие это, расчитанно медленное и торжественное при свадебных церемониях всех христианских религий, является едва ли не наиболее трогательной частью этих церемоний. В данном случае оно было театрально великолепно. Все блистало в ярком свете электричества, что еще больше сближало картину с театром.

Обрученная пара стала рядом и подошла ближе к аналою. Венчанье началось. За Государем и за будущей Государыней стали в ниточку и наготове их шафера. Во время пения « Исайя, ликуй! » и троекратного обхождения аналоя было очень трудно со шлейфом. Шаферу трудно было двигаться, держа венец над головой высокой Императрицы (ибо она ею становилась как раз в эти минуты), а камер-пажам — « заносить » вокруг аналоя бесконечный шлейф, лавируя между паникадилами с горящими свечами.

По окончании церемонии новобрачные, приняв в церкви поздравление Императрицы-Матери и ближайших родных, двинулись обратно, по направлению к Малахитовой гостиной. Мне помнится, что при этом не было того, что называлось « Высочайшим выходом », когда Государь и Государыня проходили между шпалерами различных чинов, дам и офицеров. Все вообще носило домашний характер. Это можно объяснить тем, что не прошло еще месяца со дня кончины Императора Александра III и при Дворе и в войсках был глубокий траур.

При обратном шествии мы постепенно оказались одни : Государь, Государыня, Великие Князья, кое-кто из ближайших придворных. Тех, кто несли шлейф при процессии в церковь — или делали вид, что несли —

уже не было. Обслуживали шлейф только мы с Шуберским.

В Концертном зале или Малахитовой гостиной мы нарвались на засаду : здесь Великие Князья, опередившие нас, собрались, чтобы еще раз принести свои поздравления и поднести молодой цветы. Роскошный их куст поднимался из спины серебряного лебедя, поставленного на стол.

После короткой остановки мы двинулись дальше. И тут, едва сделали два-три шага, как кто-то из Великих Князей заметил, что большой пальмовый лист из букета запутался в шлейфе. Достать его было приказано камер-пажам, для чего мы должны были нырнуть под длинный шлейф. Лист этот Шуберский и я разделили потом пополам и оба хранили в числе вещественных воспоминаний о нашем камер-пажестве у Императрицы и, в частности, о 14-ом ноября 1894 г.

После эпизода с пальмовым листом Государь и Государыня вскоре разделились, чтобы переодеться и затем ехать в Казанский собор, где должен был быть отслужен торжественный благодарственный молебен.

Мы проводили Императрицу во внутренние комнаты, неся ее шлейф; при этом уже не было никакой процессии; у входа в одну из « квартир », составляющих жилую часть дворца, с Государыней оставалось 2-3 лица, не считая камер-пажей. Наконец, нам было приказано идти дальше в самые покои. Ближе к стене и окнам стоял туалет с зеркалом. В глубине — большая кровать. Мы положили на ковер шлейф, бережно его разложив, поклонились и вышли.

Казалось, что Императрица осталась в этой полупустой и мрачной комнате совершенно одна!

Шуберский и я ждали затем ее обратного выхода в маленькой прихожей на границе лабиринта жилых помещений и анфилады приемных зал. Главные наши обязанности кончились. Через некоторое, более или менее продолжительное время Императрица вышла в обыкновенном туалете и шляпе и в сопровождении двух-трех придворных дам. Предводимые и окруженные немногими чинами гофмаршальской и церемониальной частей, мы двинулись к лифту. Тут опять камер-пажи должны были быстро сбежать с лестницы, чтобы встретить Государыню внизу, у выхода. Вероят-

но, Государь встретил Государыню еще наверху — где не помню — и спустились они в нижний этаж уже вместе.

Затем — подъезд, дверца кареты, кивок головы Императрицы и поданная ею рука, которую мы целуем.

Из других придворных служб представляли интерес в тот год приемы в Зимнем Дворце дам — придворных и так называемых « городских » — и разных иностранных послов в Аничковском Дворце.

Церемония массового приема дам в общежитии называлась « baisemain », ибо все дело в этом акте и заключалось. После утомительных часов ожидания и затем, под водительством юрких церемониймейстеров, черепашьего, в строю бесконечной цепи, приближения к Государыне, — поцелуй ее руки, редко — ее вопрос, и затем подача руки Государем. Государыня становилась левее, Государь — в некотором удалении и правее. Рядом и несколько позади Императрицы — товарищ Министра Двора с листом фамилий представляющихся дам. По мере их приближения, в момент знаменитого глубокого придворного реверанса — почти до паркета — называлась фамилия. Если бы при чтении случайно была бы пропущена одна фамилия, — все следующие дамы представились бы под чужими фамилиями! Пока не встретилось бы знакомое лицо и не обнаружило бы ошибки.

Камер-пажи стояли по обе стороны шлейфа, на этот раз не столь большого, могли наблюдать всю сцену и даже слышать редкие вопросы, которые Императрица задавала изредка особо почтенным дамам и — надо думать — отмеченным в листе крестиком.

Придворные дамы всех классов и всех дворов — большого и малых великокняжеских — бывали одеты в свои тяжелые мундирные платья русского покроя, с разрезными широкими рукавами и в кокошниках. Платья были из разноцветного — по рангу и дворам — бархата, расшитые золотом или серебром и очень широко открытые на плечах и груди. Шлейф, или, как его называли, « трэн », представлял собою огромный пристяжной плат, длиною аршина в 3-4. Он являлся аномали-

ей, так как русский сарафан, послуживший образцом для выработанной модели придворного костюма, не знает этого прибавления. Представьте себе деревенскую молодицу в сарафане, плывущую в грациозной русской пляске с традиционным платочком в руке и с веригами массивного шлейфа у ног! Положение кавалера, выделывающего рядом на лужайке лихие узоры трепака, было бы трудным.

Сарафанное парадное платье боярышни или боярыни 16-17 веков было длинным до земли, с длинной сзади фатой, но без шлейфа.

Техника подхода для целования руки требовала от дамы держания шлейфа впереди идущей. Таким образом эта женская вереница, извивающаяся змеей, которая казалась бесконечной, и хвост которой терялся в соседней зале, представляла собой зрелище, не лишенное комизма.

« Городскими » дамами назывались те, которые по своему рангу имели « приезд ко Двору ». В общей лестнице чинов честь эта начиналась с 4-го класса (то есть с генеральских чинов). Однако быть женой или дочерью генерала было недостаточно. Принималось во внимание происхождение и как « была рождена ». Поэтому, например, жена министра Витте, известная в Петербурге, да, пожалуй, и во всей чиновной России как « умная Матильда », не была допущена ко Двору, как и жена А. Н. Куропаткина, сменившего Ванновского на посту военного министра. Обе эти дамы соответственно не были принимаемы и в петербургском высшем обществе и переживали это болезненно.

Для представления ко Двору нужно было сначала пройти через чистилище и показаться гофмейстринам Императриц. В мое время это были княгиня Голицына и графиня Строганова. После смотрин решался окончательно вопрос — допустить или не допустить.

Городские дамы на « baisemain » были одеты в обыкновенные туалеты и, конечно, со шляпами. В этой толпе было меньше бархата и совсем не было золотого шитья, зато разнообразие туалетов, материй и пестрота красок делали ее более веселой.

Но сама церемония была скучна, монотонна и утомительна как для представлявшихся, так и для Импера-

трицы: дефилирование тянулось по меньшей мере два часа. Все это время Государыня должна была стоять навытяжку и механически проделывать один и тот же жест своей правой рукой, подавая ее для целования.

На приемах иностранных послов, на которые вызывались только камер-пажи Императрицы, мы могли стоять рядом с живописными арапами у дверей комнаты, где давалась аудиенция. Посольство прибывало во всем своем блеске и скрывалось за дверью. Спустя некоторое время дверь распахивалась арапами (интересно, что придворный чин подсматривал в щелку — пора ли) и Государь с Государыней выходили в сопровождении посла. Тут бывал приготовлен чай и разнообразные закуски. Камер-пажи держались позади Императрицы.

Аничковский Дворец носил характер частного дома и внутри не было той ледяной торжественности, которая господствовала в необъятных приемных залах Зимнего Дворца. Александр III, живший в Аничковском Дворце в бытность свою Наследником, продолжал жить в нем зимой и по своем восшествии на престол. Летом его любимой резиденцией оставалась Гатчина.

Царь этот вообще, будучи сам колоссом, явно предпочитал все скромное, маленькое, домашнее. Кроме того, как хороший хозяин, он стремился сократить неимоверные расходы Двора и понимал, что личный пример значил много. В течение своего 13-летнего царствования Александр III существенно сократил как бюджет Министерства Двора, так и его личный состав. Между прочим, в военной среде за его время постепенно вывелись многочисленные флигель-адъютанты и свитские генералы, на назначение которых был так щедр его отец. По мере их производства в следующие чины, ведшие к утрате вензелей, Государь не оставлял этих офицеров и генералов в своей Свите, не делая и новых назначений. В результате, к концу царствования Императора Александра III с его вензелями было всего несколько человек, главным образом пожалованных при восшествии на престол, вместо прежних многих десятков. Даже Великие Князья не избежали заведенного Государем правила, и в бытность мою в Пажеском корпусе Великие Князья, флигель-адъютанты Александра II, Павел Александрович, Дмитрий и Константин Константиновичи и Николай Николаевич, по их произ-

водстве в генерал-маиоры, не были зачислены в Свиту Его Величества.

Что касается сокращения расходов, то тут Царь сам лично вникал во все статьи ближнего и дальнего бюджета Двора при помощи преданного ему и честного Васильковского, старого Измайловца, своего бывшего адъютанта в войну 1877-78 гг., потом хозяйственного помощника обер-гофмаршала и заведующего дворцами. Ходил анекдот об обнаруженном неимоверном числе апельсинов, съедаемых при Дворе в течение года. Государь потребовал подробного отчета по этой статье, говорившей о чрезмерном пристрастии его приближенных к апельсинам, и она сжалась на следующий год до осмысленных размеров. Добивались экономии не в одних апельсинах и не в одном министерстве Двора. Строгим экономом военного ведомства был министр Ванновский. Введенная при нем новая форма так называемого « русского » покроя и мешочное снаряжение пехоты были одним из проявлений всеобщих урезок и борьбы с дорого стоящим щегольством.

Император Николай II в первый год своего царствования вернулся к весенним парадам, и это дало нам, камер-пажам Императрицы, случай еще одной придворной службы. Мы были назначены стоять у коляски Государыни в своих дворцовых мундирах и касках с султанами. День выдался чудесный, солнечный и безветренный. Вид проходивших церемониальным маршем войск и завершение его карьером всей конницы прямо на то место, где стояли Государь, верхом, и коляска Государыни, были эффектны. Какой-то художник увековечил этот первый парад молодого Государя в картине, выставленной потом на Академической выставке. На эту картину попали и два камер-пажа. Правда, мы с Шуберским не были приглашены позировать, но место наше и общий силуэт были показаны точно, что и требовалось с нашей точки зрения.

В числе придворных церемоний, в которых обычно принимали участие все камер-пажи, были торжественные обеды, дававшиеся в честь приезжего монарха. На них камер-пажи стояли за стульями Высочайших Особ и ставили перед ними очередные тарелки, получаемые из рук придворных лакеев, стоявших тут же. Та же процедура была на Георгиевских обедах 26-го ноября,

когда Государь угощал в Зимнем Дворце Георгиевских кавалеров. Моему выпуску не пришлось участвовать в таких обедах, так как Георгиевский не состоялся, а других случаев не было. В корпусе ходил рассказ, что один из камер-пажей Императрицы Марии Федоровны облил ее не то супом, не то соусом и что будто бы Александр III коротко сказал этому неловкому пажу: « Дурак! ». Сколько в этом устном предании правды и сколько легендарности — вопрос. Но « дурак » по адресу камер-пажа из уст Великого Князя я лично слышал.

Было это в притворе Петропавловского собора во время ежедневных панихид по Императоре Александре III, когда его тело стояло там до погребения. Камер-паж был А. А. Веселаго, впоследствии Семеновец и Генерального штаба. Великий Князь — Александр Михайлович. Проступок первого: наступил на порученный ему траурный шлейф Великой Княгини Ксении Александровны. Помню, что эту сцену я потом зарисовал в карикатуре и этот рисунок попал в Пажеский музей.

Облить соусом Императрицу или пытаться оторвать хвост платья Великой Княгини были события, достойные занесения в пажескую придворную хронику. А сколько было менее заметных и забытых! Повинен был и я, когда в том же соборе и той же Великой Княгине Ксении, при которой временно состоял, подал безрукавную меховую шубу (называвшуюся « ротондой »), вверх ногами. Но моя дама, добродушно смеясь, сама помогла мне разобраться, — где верх и где низ.

Хуже было происшествие — уже не придворное — летом 1895 г. в Красном Селе, незадолго до производства. Дело было вот в чем:

Так как наш фельдфебель Бобровский на время лагерного сбора был прикомандирован лейб-гвардии к Саперному батальону и находился поэтому в Усть-Ижоре, а все три остальные старшие камер-пажи (Щербатский, Шуберский и Арпсгофен) тоже состояли при кавалерии или артиллерии, то я исполнял в Пажеском пехотном лагере обязанности фельдфебеля.

В конце зори, после молитвы, Государь, следуя статьям устава, по которому начальник выслушивал вечерний рапорт о благополучии части, принимал адъютантов и фельдфебелей всех частей, в которых состоял шефом.

Рапортовавшие выстраивались в две линии на площадке перед шатром. Государь их обходил.

Предстояло рапортовать в тот вечер и мне, как фельдфебелю Шефской роты.

Для настоящего фельдфебеля дело было бы просто. Он был вооружен шашкой, которую полагалось держать во время рапорта обнаженной у плеча. Но у меня была винтовка, и надо было решить, что я должен был с ней делать.

Командовавший ротой капитан Потехин — « Жамаис » — придумал сложный и неуставной ружейный артикул, заключавшийся в том, что я сначала должен был от ноги взять « на караул », а затем, кончив рапорт, повернуть направо, чтобы уходить и одновременно с поворотом взять ружье на левое плечо.

Все это мы благополучно проделали на нескольких репетициях. Прием выходил франтоватым и, по сравнению с обратным взятием к ноге более эффектным.

Но на репетициях я имел через левое плечо свернутую в « скатку » старую шинель с промятым желобком от ношения винтовки поверх скатки. Поэтому капризный закон механики, предусмотреть который не смогли ни Потехии, ни я, и по которому выдуманное первым сложное движение давало винтовке центростремительный толчок, не обнаружил себя. Ружье попадало в свой привычный желобок скатки и там прочно оставалось.

На церемонию одели все новое, с иголочки, в том числе и скатку. На ней не было спасительной промятости. Наоборот, новая шинель, всегда лоснящаяся гладким, нетронутым ворсом сукна, была готова пойти навстречу шаловливой игре механических сил и помочь винтовке соскользнуть в сторону при моем повороте.

Так и случилось.

Правда, я успел поймать ружье своей правой рукой в тот момент, когда оно было повисло вне моего плеча и могло фактически упасть на Государя. Поймал, благополучно водворил на место и отошел строевым шагом. Но эта секунда не могла пройти незамеченной, когда все глаза были направлены на Государя и камер-пажа, стоявшего на правом фланге всей длинной шеренги фельдфебелей и рапортовавшего первым!

Государь не показал виду и, сделав свой обычный

жест рукой по усам, сделал шаг к следующему. Я же стал в стороне, выбитый из колеи, с тяжелым сердцем провалившегося на экзамене. Подвел не одного себя, думалось, но и корпус.

Что-то будет?

Ответ на этот вопрос я получил через самое короткое время. От свиты, державшейся между Государем и Царским шатром, отделился граф Менгден, полковой адъютант Кавалергардского полка (впоследствии его командир и генерал Свиты). Он медленными и спокойными шагами подошел ко мне.

— Не волнуйтесь, — сказал он, — все хорошо и ничего не будет.

Посылал ли этого вестника сам Государь или добрая Императрица, поспешившая успокоить своего камер-пажа, я так никогда и не узнал. И вот почему :

Вслед за графом Менгденом подошел ко мне капитан Потехин.

— Забудьте начисто о том, что случилось или могло случиться, Геруа, — наставлял он меня, как всегда слегка гнусавя и вполголоса, чтобы не слышали соседи.

— А будут спрашивать — молчите. Знать де не знаю и ничего подобного не было. Вот и весь сказ.

После этого мне, конечно, не приходилось наводить справки, от кого именно шли слова первого утешения.

Мудрость совета Потехина была изумительна. Я твердо следовал ему и симулировал немое удивление, когда мне потом говорили о том, как какой-то паж на зоре с церемонией уронил винтовку; что она едва не задела Государя; что ее поднял с земли Великий Князь Главнокомандующий; что несчастного пажа лишили нашивок и отставили от производства.

Но никто не знал — кроме названных единичных лиц — имени этого несчастного пажа, и весь случай канул в вечность и полное забвение.

Умница был Александр Филиппович Потехин! Знал жизнь и людей!

Строевые роты, то есть 6 и 7 классы всех пяти петербургских кадетских корпусов, выступали в мое время после экзаменов в лагери недель на 6. Этот кадетский лагерь состоял из длинных деревянных бараков на окраине Старого Петергофа и был расположен среди деревьев и вблизи перелесков. Дальше шло огромное

военное поле, на котором учились уланы и конногренадеры, стоявшие в Петергофе. Юноши занимались глазомерными съемками, строевыми ученьями, совершали прогулки в чудесный Петергофский дворцовый парк партиями или целой ротой, а также в живописные окрестности Петергофа. У себя в лагере были разные игры. Здесь я завоевал себе первенство в крокет. Кормили особенно хорошо. Вообще эти лагери были здоровые и приятные. Молодежь, похудевшая и побледневшая за время экзаменов, быстро набиралась сил и загорала.

Раз в лето во Дворце устраивался домашний детский бал, на который из лагеря приглашались кадеты, но, главным образом, пажи. Танцевали Великие Княжны и Великие Князья, бывшие тогда подростками. Другие дамы были воспитанницы институтов.

Огромный Государь Александр III и маленькая Императрица стояли тут же в зале и смотрели, как веселилась молодежь. Помню, я поскользнулся на паркете как раз у ног Государя и уронил свою даму. И помню, что это доставило удовольствие Царю. Он добродушно рассмеялся.

В одной из фигур кадрили, когда все пары теснятся колонной, впереди меня оказался молодой, безбородый Преображенский полковник — это оказался Наследник, которого я раньше не видал, — будущий Николай II.

После лагеря кадетам давался отпуск и они разъезжались по домам на остаток летних каникул.

Образование, дававшееся в гимназиях, реальных училищах и кадетских корпусах с военными училищами, носило официальное название « среднего ». Говорили : молодой человек со средним образованием. Не боясь плохого каламбура можно сказать, оглядываясь назад, что оно действительно отвечало этому казенному названию и было « средним ».

Когда я говорил выше о том, что учебное дело в Пажеском корпусе было поставлено хорошо, я имел в виду, что оно стояло не ниже, чем в других хороших русских учебных заведениях, а в некоторых отноше-

ниях было, пожалуй, лучше. Учебный персонал держался на высоте того метода, который им предписывался и был установлен в России в течение многих десятилетий. Достигались ожидавшиеся от этой системы результаты. Но сам метод этот заключал в себе коренные недостатки, отдать отчет в которых можно было только впоследствии. Прежде всего это открывалось тем питомцам « средних учебных заведений », кто побывал затем в « высших » и в военных академиях. Здесь от них требовалась самостоятельная работа и способность рассуждать. На прежней школьной скамье ученик двигался почти исключительно на помочах и на памяти. По урочной системе учитель 25 минут спрашивал заданный урок, 25 минут объяснял следующий. Отвечало прежний заданный урок из 30 человек класса не более 5, каждый по 5 минут. Остальные в этих ответах не принимали никакого участия и благодарили Бога, что вызвали не их. Для пятиминутного устного ответа легко было запомнить кое-что из нескольких страниц учебника даже малоспособному ученику. Он подавал это « коечто » и получал балл так называемого « душевного спокойствия ».

При этой системе устных уроков совершенный кретин вроде моего одноклассника Э., подгоняемого дома своей амбиционной теткой, мог в течение нескольких лет держаться в первом десятке классного списка. Он, как попугай, заучивал все решительно наизусть, ничего не понимал и отвечал, как заведенная грамофонная пластинка. Во время приготовления уроков Э. обыкновенно прятался за классные доски, за которыми раздавалось, к досаде всего класса, его жужжанье. Он вслух зазубривал многие страницы учебников по нескольким предметам. Апостолом и поощрителем зубрежа из учителей был священник Селенин, имевший митру и звание « маститого ». Он задавал « назубок » целые главы из Евангелия и тот, кто с этим успешно справлялся, получал высшую отметку. Конечно, Э. был в особой чести у этого педагога. Когда Селенин умер (мы переходили в 6-ой класс), новый законоучитель Лебедев, тонкий и образованный богослов, типа католического священника, был изумлен этим порядком тупого заучивания и тем, что наиболее рассудительные юноши имели наименьшие баллы! К тому же Селенин никому — даже лю-

бимчику Э., — не ставил выше 9 баллов по 12-балльной шкале.

Гораздо удивительнее было еще попустительство в области прямого заучивания со стороны преподавателя математики полковника Б. Этот конно-артиллерист, щеголявший своей фигурой и отлично сшитым сюртуком, автор ряда учебников, эффектно читал теорию, изумлял своими четкими чертежами на классной доске, но избегал задач. На уроках мы отвечали тоже одну теорию, которую можно было брать памятью. Даже редкие проверочные письменные работы, полагавшиеся по математике, Б. задавал на изложение тех или иных теорем или какого-нибудь бинома Ньютона. В тех случаях, когда Б., нужно было решить в классе показную задачу, он совершенно очевидно воспроизводил нечто, заранее им решенное, — как-бы с завязанными глазами, наизусть. При этом он часто запутывался, терял нить и делал ошибки в вычислениях. Тогда наш классный математик Окунев, поднимал руку, вставал и предупреждал преподавателя, что задача так не выйдет. Надо отдать должное Б-у : он принимал это мужественно, вызывая Окунева к доске и предлагая ему распутать формулу, которую он сам забыл.

В Пажеском корпусе Б. монополизировал все многочисленные математические предметы, кончавшиеся в специальных классах механикой и артиллерией, но, кроме того, он преподавал широко и в других военно-учебных заведениях. Кажется странным, что его репутация математика-педагога стояла так высоко и что никто никогда не обратил внимания на поверхностность такого теоретического преподавания точных и рассуждающих наук.

Но все его ученики, кому Бог не дал математической шишки, но снабдил хорошей памятью, были довольны : они могли набивать полные баллы, оставаясь невеждами в математике.

К числу этаких счастливцев принадлежал и я.

Однако, когда я поступал в Академию Генерального штаба и приступил к подготовке, мне пришлось нанять себе студента-математика, с которым я прошел весь курс с самых азов, положив в основу решение задач. Учитель попался превосходный (и всего рубль за час!). Начало было трудно, так как я почувствовал себя в

этой области невиннейшим из младенцев. Но конец был сладок : я убедился, что и мой несовершенный ум способен на математическую гимнастику, в которой прежде меня никто не пробовал упражнять. Мало того, я стал находить в этой гимнастике удовольствие. Еще немного, и я, чего доброго, привязался бы к ней навеки. Но, увы, по вполне благополучной сдаче вступительных экзаменов, на которые я шел с уверенностью и без малейшей боязни, разум мой снова впал в математическую апатию. С формулами и вычислениями было покончено навсегда.

С моим философским укладом я естественно должен был успевать в таких предметах как словесность, история, география. Но и тут метод преподавания стоял поперек усвоения в глубину. Наименьшее сопротивление испытывалось по русскому языку. Тут много писали, сочиняли, вообще упражнялись. К тому же все учителя мои по этому предмету, ставшему (не считая рисованья) с 1-го класса моим любимым, были хороши, каждый по своему.

С географией тоже было недурно, и мы вынесли довольно приличный запас знаний, достаточный чтобы не заблудиться на свете.

Но история! Напоминаю читателю, что я обещал остановиться на тех преподавателях, которые в Пажеском корпусе были исключением из общего высокого уровня учительского состава, но расстаться с которыми стеснялись.

Историком нашим был Рудольф Игнатьевич Менжинский. Не только нашим, но и предшествовавшего поколения. Это был старожил вроде лазаретного Кирилла Ивановича Вавенко. Менжинский был высокий, слегка сутулый старик с аккуратной бородкой и в пенснэ, с пробором посредине приглаженных редеющих волос; имел кошачьи манеры, и с лица его не сходило выражение презрительности. Пажей, которые ошибались в ответах, он насмешливо называл « сокровище » и был не прочь поиздеваться над ними; всем вообще ставил низкие баллы, считая, как и священник Селенин, что 9 являлось вершиной оценки, которую заслуживали их ученики. В этом они были правы, так как при их преподавании знать на большее было трудно. Учились мы по пресловутому учебнику Иловайского, принятому

для всех учебных заведений. Это было сухое собрание фактов и дат, не подправленное никакими попытками объяснить ход исторических событий, найти их причину и связать разные эпохи посредством сравнения. Опять таки здесь все дело заключалось в тупом заучивании и в запоминании.

Однако преподаватель мог и должен был подняться над казенными страницами навязанного учебника. От него зависело вдохнуть в него жизнь и привить ученикам вкус к научно-критическому методу изучения истории и сделать предмет интересным. О таких талантливых учителях приходилось слышать. В их руках и бесцветный Иловайский оказывался удачным материалом. На трафарет учебника преподаватель и толкователь накладывал краски. Путаный узор превращался в четкий силуэт. В головах молодежи оседали навсегда не мелочи, а крупные исторические этапы в их взаимной связи и причинности.

В течение двух долгих поколений пажи имели несчастье иметь бессменного и, казалось, бессмертного наставника, для которого история заключалась в хронике событий. Не помню случая, чтобы на уроке истории давались бы схемы и диаграммы, упрощающие усвоение темы или хотя бы была повешена нужная географическая карта.

Если Менжинский допускал оживление, то это были анекдоты, да и теми он баловал только, когда мы доходили до французской революции, его любимого периода. Преподавал он еще — и тоже двум поколениям — в великосветском женском пансионе M^me Труба. Там были изданы литографическим способом записки, прошедшие через редакцию Менжинского. Было важно заручиться этими записками, и, следовательно, иметь « руку » в пансионе Труба. Сестра или кузина пажа передавала ему эту, по-видимому, библиографическую редкость для временного пользования, а через этого пажа могли приобщиться к источнику и его товарищи. Выгоды отвечать по « Трубе », как у нас говорилось, сказывались неизменно : Менжинский узнавал себя, растаивал, и « Трубист » получал высшую отметку — 9.

К сожалению, доставать эти потрепанные тетрадки регулярно было трудно. И потому пажам было невоз-

можно держаться на высоте этой отметки. Пансионерки M^{me} Труба были счастливее.

Менжинский был поляк. В преподавании это сказывалось, когда доходили до царствования Екатерины II. Не прощая ей раздела Польши, он выходил из себя, если паж называл Императрицу Великой. Вспыхивал и язвительно шипел на виновного : « Вторая, сокровище, вторая! Сенат не подносил ей титула Великой! Садитесь ». И паж садился, зная, что заработал шестерку или семерку.

В конечном итоге мы уносили из корпуса туманные и более чем прерывистые понятия о прошлом как у себя дома, в России, так и во всем мире.

Но каждый твердо, на всю жизнь, помнил из учебника Иловайского, что « Алкивиад был богат и знатен; природа щедро наградила его способностями » и что « безумец Герострат сжег храм Дианы в Эфесе ».

Менжинский, внушив совместно с Иловайским отвращение к истории сотням своих учеников, удалился от дел своих на покой лишь за несколько недель до европейской войны. Корпус пережил его всего на два с половиною года!

Я преподавал в 1911-14 гг. в Пажеском корпусе военную историю и являлся, следовательно, в это время коллегой своего бывшего учителя. Ранним летом 1914 года учебный персонал давал ему в ресторане Пивато на Большой Морской прощальный обед и я на нем присутствовал. Но казалось, что, отвечая на тосты, он вот-вот склонит свою голову на бок, как он имел обыкновение делать, и, презрительно сощурив на нас свои близорукие глаза, обзовет всех нас « сокровищами ».

А сын Рудольфа Игнатьевича Менжинского примкнул к большевикам немедленно после октябрьского переворота 1917 г. и вошел в первый призыв ленинского кабинета народных комиссаров. В паре и в рифме с другим поляком — знаменитым палачом Дзержинским — он правил страшным застенком Чека.

В специальных классах, как и в военных училищах, урочная система сменялась лекционной. Проверка усвоения знаний производилась в особо назначенное время. Это носило название « репетиций ». Класс был разбит для них на группы из 5-6 человек, что давало возможность преподавателю спросить как следует за

час их всех, что являлось несомненным плюсом перед системой спрашивания в общих классах корпуса. В специальные классы введены были также практические занятия по тактике и военной администрации. Масштаб их был очень скромен, но все же это был шаг к самостоятельным упражнениям и к письменным ответам.

---

12 августа 1895 г. состоялось, как всегда после больших маневров, наше производство. Государь поздравил нас офицерами и камер-пажи — теперь бывшие — Императриц были вызваны на Царский валик, чтобы получить приказ из рук Их Величеств. и, так сказать, откланяться.

Впоследствии Государыня легко меня узнавала в массе офицеров. Так она подошла ко мне и поговорила со мной в 1896 г. в Зимнем Дворце на юбилее лейб-гвардии Егерского полка и значительно позже в 1901 г. на юбилее Пажеского корпуса тоже в Зимнем Дворце.

Помнил меня и Государь, как камер-пажа Императрицы, сказав об этом, когда я ему представлялся в 1912 году в Царском Селе по случаю назначения ординарным профессором.

Л. ГВ. ЕГЕРСКИЙ ПОЛК

В строю я прослужил в общей сложности — субалтерном, ротным, батальонным и полковым командиром — 9 лет. За вычетом трех лет ученического пребывания в Академии, на штабную мою службу приходится 6 лет, а на педагогическую в военном училище и Академии — около четырех. Таким образом, без малого половину времени из 19 лет активной службы я провел в строю.

К счастью, строевой опыт мой оказался довольно разнообразным : пробыв 6 лет на должности младшего офицера в петербургской гвардии (в лейб-гвардии Егерском полку), я затем командовал год ротой в армейском пехотном полку в провинции (в Киеве, в 168-м пехотном Миргородском) ; батальоном — летом 1913 г. снова в своем родном полку; полком во время войны — сначала армейским (123 пехотным Козловским), потом гвардейским (лейб-гвардии Измайловским).

Знакомство с провинциальной военной средой и с характером армейских частей принесло мне большую пользу, несмотря на относительную краткость этого знакомства.

В 1895 году, когда я был произведен в подпоручики лейб-гвардии Егерского полка, им командовал граф П. П. Шувалов. Генерал этот несомненно выдавался среди остальных начальников частей петербургского гарнизона. Начав службу в лейб-гусарах, он впоследствии перешел в пехоту, руководимый, вероятно, широким интересом к военному делу. Особенно увлекался граф Шувалов стрельбой и отлично поставил ее в частях, которыми командовал. Из шаблонного отбывания номера стрельба превращалась, под его деятельным руковод-

ством, в настоящее искусство. На стрельбищах появлялись разные точные приборы, стрелковые вопросы обсуждались с офицерами, составлялись наглядные графики, инструкции и руководства. Нельзя было не заражаться знаниями и энтузиазмом командира; офицеры и стрелковые таланты из солдат — все работали с искренним и свежим интересом. Результаты сказывались немедленно — стрельба полка заметно поднималась.

Нужно сказать, что в ту эпоху, до русско-японской войны, в пехоте практиковались разные уловки для так называемого « выбивания процентов », которыми расценивались результаты стрельбы. Так, например, сидевшие в укрытиях на линии мишеней стреляли в них в упор, увеличивая число пробоин; лучшие стрелки с линии огня выпускали лишние пули в мишени соседей — заведомо плохих стрелков; при отметках попадания на самих мишенях во время « счета пуль » не скупились, отмечая больше, чем было на самом деле, или даже продырявливая мишень чем-нибудь острым...

Начальство, в громадном большинстве, смотрело на все эти проделки сквозь пальцы. Репутация дивизии выигрывала, если полки выбивали « выше отличного », то есть больше процентов, чем требовалось высшей мерой оценок стрелкового устава.

В командование графа Шувалова эти шулерские приемы сами собой исчезли, и чины полка скоро убедились на практике, что при тщательной математической постановке дела и дружной работе пресловутые проценты лезут в гору сами собой, без понуканий.

Граф Павел Петрович Шувалов обладал большими личными средствами (известен его барский особняк на Фонтанке, у Аничковского моста) и немало тратил из своих собственных денег на благоустройство полка и различные улучшения.

К сожалению, командование им лейб-егерями оказалось черезчур коротким — ровно год. К этому еще далеко не старому человеку (ему еще не было и 50 лет) подкралась тяжкая грудная болезнь, которая заставила его оставить службу. Случилось это вскоре после моего выхода в полк, в конце ноября 1895 года. Офицеры жалели, что лишились командира, в котором удачно соединялись барство и незаурядные служебные качества, заметно поднявшие полк. О Шувалове сохрани-

лось самое лучшее воспоминание. Это был человек умный, просвещенный, в высшей степени серьезный и дельный, в отношениях с офицерами доступный и внимательный. Образец командира. Работать с ним было легко, и никто не жаловался на его несомненную требовательность.

Досадовали еще и потому, что приближался 100-летний юбилей полка — в ноябре 1896 г.; лучшего командира, чем Шувалов, для представления полка Государю и организации празднеств нельзя было желать.

Граф Шувалов недолго прожил после своего ухода.

Преемник графа — Андрей Иванович Чекмарев — был резким контрастом. Ярко помню первое появление Чекмарева перед обществом офицеров полка. Мы все, в парадной форме, построились в одну шеренгу вдоль стен зала офицерского собрания. Вошел генерал ростом ниже среднего, плотный, с наклонностью к полноте, с короткой шеей, на которой сидела кубическая голова с одутловатыми щеками и с седоватой бородкой, расчесанной по-кучерски, надвое. Вообще, его легко можно было вообразить в традиционном русском кучерском кафтане на вате и в большой меховой шапке с квадратным верхом из цветного бархата. День был декабрьский и сумрачный. Подходил к зимнему петербургскому утру и Чекмарев.

Первое впечатление при дальнейшем знакомстве не рассеялось. В медленности его движений, в поступи и в неповоротливости было что-то медвежье. Тяжелый на подъем, Чекмарев был тяжел и в мыслях.

В нестроевой фигуре и манерах его трудно было угадать коренного гвардейца (прослужил до чина полковника в лейб-гвардии Семеновском полку), флигель-адъютанта Императора Александра II, офицера конвоя Его Величества во время войны 1877-78 гг.

Службу Чекмарев, впрочем, знал, хотя нес ее формально и без блеска, с добросовестностью заведенного на долгий срок исправного автомата. Сердце у него больше лежало к хозяйству, к полковой швальне, к устранению тревог где-то там на Звенигородской улице, приютившей вместе с квартирой командира разные нестроевые учреждения и команды.

Когда Чекмарев с видимой неохотой садился на сво-

его такого же тяжелого, как он сам, верхового коня, он сливался с ним в силуэт, напоминавший известный памятник Александру III, работы князя Трубецкого.

Андрей Иванович боялся простуды и сквозняков, носил шарф на шее, не расставался с калошами и при малейшем дуновении ветра поднимал воротник пальто.

Постепенно, с его приходом, и полк точно надел калоши и поднял, нахохлившись, воротник, закрывающий лицо. Таково влияние командира! Привитая графом Шуваловым строевая бодрость сменилась ровным и бледным исполнением служебного долга и уставов. Пробужденный было интерес к стрельбе заглох. Творчество и инициатива в гомеопатических дозах смели прорываться только в хозяйственной области.

Вспоминали с грустью служебную независимость прежнего командира. Чекмарев, увы, боялся всякого начальства и терялся, если оно выказывало неудовольствие. Это свойство Чекмарева я испытал на своей собственной шкуре, отсидев трое суток на гауптвахте за чужую провинность только потому, что начальство разгневалось, а командир не пожелал разобраться в деле.

В общем, полк вступил в пятилетнее бесцветное существование, получившее потом кличку « чекмаревского времени ».

Даже пришедшиеся на это время коронация и полковой юбилей (1896 г.) показались бледными и вялыми в атмосфере этого командования в калошах, с поднятым воротником и с боязнью свежего воздуха — хоть бы сквозняков.

Почти вся моя служба в младших чинах, до поступления в Академию, прошла именно в эти годы.

Сближение с обществом офицеров облегчалось для меня тем, что в полку уже был мой брат, а также большим числом бывших пажей, которые всегда радушно встречали нового однокашника.

В мое время ровно половина офицеров была из пажей. Товарищество корпуса они переносили в полк, держались друг друга и имели влияние на остальную, не пажескую половину, хотя, разумеется, и в ней было много офицеров, подходивших к общему духу полка и не нуждавшихся в постороннем влиянии. В результате получалась сплоченная и дружная полковая семья с одинаковыми понятиями о службе, чести и взаимных

отношениях. Небольшие группы офицеров, отличавшихся по своему воспитанию, а иногда и происхождению, от большинства, не сливались с ним, держались немного особняком, но это не отражалось на общем единстве, и офицерский быт лейб-егерей не знал ни интриг, ни мелкой борьбы отдельных кружков.

Во всех вопросах, служебных и частных, достоинство полка стояло для каждого на первом месте. Сор из избы не выносился, командира — каков бы он ни был — поддерживали как представителя полка, свято блюли установившиеся полковые обычаи и « лезли из кожи вон », если требовалось показать, что лейб-егеря в той или иной области стоят на должной высоте.

Блеснули офицеры, между прочим, написав и отлично издав полковую историю в один год, к юбилею. Скажу об этом подробнее позже.

Радушие, гостеприимство и естественная простота егерей были широко известны.

Все это вместе получило название « егерства ». Когда что-нибудь выходило особенно хорошо, говорили : « Это по-егерски » или « вот это егерство ». Как кажется, немалую роль в сплочении офицеров в семью со всеми этими понятиями сыграл в 80-х годах командир полка Хазрев Мирзабекович Долуханов, — кавказец, хотя и проживший большую часть жизни в Петербурге. Знал он о знаменитом « куначестве ». « Кунак » на Кавказе значит « брат », и войсковые части ввели это слово и эту идею в свой обиход. Кавказские полки были друг другу кунаки; больше чем друзья и товарищи.

Долуханов полюбил слово « егерство », как отвечавшее кавказскому « куначеству », и щедро поощрял этим словом лейб-егерей. У него была привычка начинать фразу словами : « Ну вот это », и довольный чем-нибудь, Долуханов говорил : « Ну вот — это егерство! ».

Между командиром полка и офицерством стояли полковники. Являясь ближайшими помощниками командира, они были старшими товарищами и руководителями офицеров. От качества полковников, их личных свойств, ума и такта зависело многое. Как буфера, они должны были то сжиматься, то раздаваться, в зависимости от давлений, сверху — от командира и снизу — от офицеров.

В первые годы моей службы число полковников в

Егерском полку оказалось выше того, что было положено по штату. При четырех батальонах и одном заведующем полковым хозяйством должно было быть пять штаб-офицеров. Состояло же их десять, то есть вдвое больше, чем требовалось. Объяснялось это установившейся в гвардии традицией не переводить вообще офицеров из одного полка в другой. Одно время делалось исключение для полковников, которых переводили туда, где была полковничья вакансия. Но потом, начиная с 80-х годов, и эти переводы были прекращены. Таким образом случалось, что в некоторых полках (чаще в кавалерийских) число полковников доходило до 10 и даже больше.

. . . .

Типичными были общие трапезы в офицерском собрании.

Обед накрывался в длинной столовой с темными обоями и галереей командирских портретов. Из последних только два или три были хорошего письма, в особенности портрет Виллебранта работы Константина Маковского и портрет знаменитого командира времени Отечественной войны Карла Ивановича Бистрома (кажется, это была хорошая копия). Большинство же портретов «состряпали» наскоро и дешево к юбилею, вставили в однообразные овальные рамы и развесили вдоль стен.

У одной стены стоял большой шкаф, за стеклом которого блестело столовое серебро. В мое время его было еще немного, и больше всего бросалась в глаза масса чарок, заводившихся на каждого офицера. Чарки эти имели простую форму серебряных стаканов, на которых помещался кульмский крест — полковая эмблема — и имя офицера с датами его вступления в полк и выхода из него.

Впоследствии, когда этих чарок стало слишком много, от дальнейшего их изготовления отказались, и выходившие в полк офицеры обязывались завести в складчину какую-нибудь другую вещь на память о себе и для украшения стола — братину, канделябр, фруктовую вазу и т. п.

Столы, в случае общих обедов, ставились покоем,

то есть в форме буквы « П ». Скатерти, салфетки имели в своем узоре тоже кульмские кресты; поместили их и на стулья, строгие, с кожаной обивкой, которые заказали к юбилею; здесь эти кресты, выжженные по коже, были соединены с веткой полкового шитья. На всех этих кожаных стульев не хватало, и недостающее число дополнялось простыми стульями гнутого дерева, носившими в России название « венских ».

Самый обед или « еда », как упрощенно называлось это в записках офицеров, тайно голосовавших за или против чествования уходящего товарища обедом, был шаблонного содержания. Но центр кулинарного искусства во время егерских обедов лежал не в их меню и в исполнении, а в закусках перед обедом.

Закусочный стол накрывался посередине соседнего со столовой зала собрания. Под белой скатертью скрывалось не менее двух длинных, вместе составленных столов, и вся эта большая площадь была тесно заставлена самыми разнообразными закусками, бутылками и графинами с водкой, настойками, мадерой, белым портвейном. Закуски холодные и горячие — разных сортов сыры (с которых, в противоположность Европе, начинали обед), маринованные грибки и белые грибы в сметане, гречневая каша « по-драгомировски », ветчина обыкновенная и вестфальская, колбасы горячие, сосиски в соусе из помидоров, баклажаны с перцем, маленькие биточки в разных соусах...

« Выпить рюмку водки и закусить » обозначало повторить рюмку несколько раз и приложиться, по крайней мере, к полудюжине разных закусок, один вид которых возбуждал аппетит. В результате, все шли к обеду насытившись, и неудивительно, что отношение к нему было поверхностным.

Пока обедали в столовой, из зала убирали закусочные столы накрывали другие вдоль стен для послеобеденного кофе, а посредине зала устраивался полковой духовой оркестр.

После тостов, если это были проводы, а не рядовой ежемесячный « товарищеский » обед, играли колено полкового марша и офицеры кричали « ура ».

Потом толпой высыпали в зал, расходились по другим комнатам собрания, садились играть в карты, пить кофе и ликеры.

За обедом пили то вино, которое стояло на столе и — в случае проводов — то шампанское, которое подавали. Но после обеда можно уже было требовать напитки по своему выбору — и, конечно, сверх той платы, которая была разверстана на участников заранее. Тут случалось, что какая-нибудь группа офицеров подпивала, начинались частые тосты, появлялись все новые и новые бутылки шампанского, пели застольные песни и — в особенности известную « чарочку ». Подносился бокал тому, чье имя-отчество называлось в песне — « выпить чару Ивану Петровичу », « чару выпивать, другую наливать » и т. п. и « друг » должен был осушить бокал до дна...

Музыка продолжала играть, какой-нибудь любитель пускался плясать лезгинку, шел беспорядочный шум, раздавались веселые выклики, — как вдруг все мгновенно смолкало, отодвигались стулья, все вставали и становились навытяжку, как по сигналу. Это дежурный офицер подошел с вечерним рапортом к командиру полка, и тот встал, чтобы принять его.

Собранская жизнь отнимала много времени и денег, особенно у молодежи, и еще больше у тех офицеров, холостых и беззаботных, которые жили под боком у собрания, в казенных квартирах на Рузовской улице. На Звенигородской, отделенной от собрания огромным пустырем Семеновского плаца (где был знаменитый беговой круг), жили — по соседству с канцелярией полка, нестроевой ротой и командиром — полковники и солидные члены полкового управления и хозяйства.

Соблазн собрания заключался в том, что в нем в течение всего дня и даже ночью можно было поесть и выпить в кредит. Дешевое, однако, выходило на дорогое, ибо из копеек, тщательно заносившихся буфетчиком в личную графу офицера, быстро складывались рубли, а из рублей — десятки. Помню этот ужасный лист, по величине напоминавший скатерть, на котором в вертикальной графе стояли фамилии всех офицеров, а в длинных горизонтальных отмечались бесстрастно каждый съеденный кусочек селедки, пирожок, выпитая рюмка водки. График этот верно изображал степень преданности офицеров собранию. Раз в месяц он представлялся казначею, а тот « удерживал » долги за съеденное и выпитое из содержания офицеров.

Лейб-гвардии Егерский полк

Младший офицер в гвардии получал 70 рублей в месяц (в армии 60), ротный командир — около 100, батальонный — около 150.

Цифры эти сравнительно с тем, что получали офицеры в армиях других великих держав Европы, казались ничтожными, но, теоретически говоря, на это содержание жить было возможно. Жизнь в России, главным образом — еда, — стоила гораздо дешевле; для бессемейного офицера могло быть достаточным, при разумной осторожности, получать, скажем, на английские деньги — эти 7 фунтов в месяц.

Однако в Петербурге и в гвардии, помимо соблазна офицерского собрания, были налицо и другие соблазны, а также и разные обязательства, запускавшие руку в карман офицера. Если карман оказывался тощим, напора всех этих расходов он не выдерживал.

Даже в скромных гвардейских полках, к каковым принадлежал и лейб-гвардии Егерский, нельзя было служить, не имея никаких собственных средств или помощи из дому. В некоторых же полках, ведших важный и широкий образ жизни, необходимый добавок к жалованью должен был превышать последнее в 3-4 раза и больше. В лейб-гвардии Егерском можно было обойтись 50 рублями, и даже меньше.

По части получения жалованья или, вернее, неполучения его всего туже приходилось обыкновенно в месяцы, следовавшие за лагерным временем, то есть между августом и, примерно, концом декабря. Совместная барачная, собранская и маневренная жизнь офицеров в Красном Селе в течение трех с лишним летних месяцев вела к интенсивному заполнению графика буфетчика. Это неумолимо отражалось в неумолимых книгах казначея, и каждого 20-го числа (во всей России жалованье выдавалось 20-го) офицер получал конверт, в котором нельзя было прощупать никаких денег и который заключал в себе только аккуратно сложенный счет: причитается столько-то, вычтено за то, другое, третье столько-то, подлежит выдаче — 0.

И если, наконец, 20-го января, после осторожной жизни на зимних квартирах, в конверте вдруг оказывалась, кроме счета, кое-какая мелочь, — это был приятный сюрприз!

По мере того как офицер становился старше и сте-

пеннее, попутно повышаясь в чинах и окладах, он находил в заветном конверте 20-го числа более осязательную начинку.

Служба младшего офицера зимой состояла из строевых занятий в казармах, хождения в разные городские караулы и в дежурствах по полку и по военным госпиталям.

Занятия начинались в 8 ч. утра, прерывались на два часа в полдень для обеда нижним чинам и завтрака офицерам, с послеобеденным отдыхом (солдатам разрешалось полежать, сняв сапоги), и продолжались затем до 4 часов.

Любители показать себя и людей посмотреть на Большой Морской, набережной Невы и лучшей части Невского проспекта в обычные часы гулянья, между 4 1/2 и 5 1/2 часами, поспевали туда после занятий. Были офицеры петербургского гарнизона, которые появлялись на этой прогулке, медленной и праздной, каждый день, несмотря на погоду. Так трудно было отделить в мыслях Невский и Морскую от румяного, здорового лица преображенца Н. с его темной квадратной бородой и с башлыком, концы которого были закинуты за спину. Таким-же верным невским фланером был капитан Пажеского корпуса П. Здесь и на набережной Невы встречались знакомые обоего пола, офицеры козыряли друг другу, ходили парами и группами или стояли у гранитного парапета красивой набережной Невы, пропуская и оглядывая гуляющих. Тут узнавались городские новости, создавались и передавались сплетни.

Мимо, не торопясь, проезжали сани или экипажи, в седоках которых узнавали то лиц с крупными именами, то знатных дам, то известных кокоток вроде « Шурки Зверька » или « Маньки Бедовой ».

Вечер у субалтерна был свободен, если он не дежурил где-нибудь. Ротный командир мог быть занят какою-нибудь отчетностью, совещанием с фельдфебелем, решением хозяйственной задачи.

Первым моим ротным командиром был штабс-капитан В. З. Гудима. Он получил 5-ую роту незадолго до моего выхода в полк в 1895 году и наметил меня млад-

шим офицером в свою роту когда я еще находился в Пажеском лагере в Красном Селе, перед прикомандированием к Егерскому полку. Как бывший паж он мог, как свой, прийти в наш маленький лагерь (человек 50) и посмотреть на него во время занятий. Удовлетворившись смотринами, Гудима устроил так, что я был назначен к нему в роту.

Гудима считался строгим и точным командиром, и я радовался тому, что смогу пройти с самого начала хорошую строевую школу. Он действительно знал уставы назубок, был требователен и к себе и к подчиненным, очень заботился о солдатах и стоял за свою роту, что называется, « горой »; но он совершенно не интересовался тактическим обучением, не умел ничего преподать в этой области и во время полевых занятий в лагере производил тактические ученья лишь для отбытия номера требуемой программы. Глаз его оскорблялся, если люди в цепи разравнивались, и он, вероятно, с трудом удерживал себя, чтобы не подсчитать им « ногу ».

Между тем Владимиру Захарьевичу нельзя было отказать в уме. Но живая и нужная сторона военного дела его не занимала, Научиться у него, как это скоро стало мне ясно, можно было только искусству сомкнутого строя и автоматизму.

В роте Гудима, с одной стороны, держался старомодного для того времени взгляда, что солдат предпочитает « мордобитие » отдаче под суд; с другой — приходил по вечерам в роту или в солдатские палатки в лагере с подходящей книжкой — вроде украинских рассказов Гоголя — и читал им вслух (читал он хорошо), вызывая их на дружескую беседу.

Физически это был высокий и довольно красивый мужчина малороссийского типа. От его широких плеч, крепких рук и зычного голоса отдавало мужеством.

Осенью 1898 года я был переведен в шефскую роту и украсился царскими вензелями, незадолго перед тем введенными для чинов, несущих службу в строю рот, эскадронов и батарей Его Величества.

Моим новым начальником был Алексей Николаевич Бунин, тоже знавший уставы, строй и ротное хозяйство, но безучастный к тактике. Холостой, жизнерадостный, румяный, с русским наружно простоватым лицом хитрого мужика, с расчесанной на обе стороны бе-

локурой бородой, « Алексис », как его звали в полку, управлял ротой через традицию и через фельдфебеля *). Традиция первой роты, носившей имя державного шефа, заключалась в том, чтобы служить моделью во всех отношениях для других рот. Фельдфебеля Государевой роты, которые выбирались с особым разбором и которых Государь знал и в лицо и по именам, являлись ближайшими проводниками традиции. Ротные командиры могли меняться, младшие офицеры — тем более, а фельдфебель оставался на своем посту бессменно, до глубокой старости, пока позволяли здоровье и силы. Чем древнее и вместе с тем молодцеватее выглядел фельдфебель шефской роты, тем было лучше. Ему и разрешалось многое такое, что для другого фельдфебеля показалось бы вольностью. Непоколебимо показывая пример дисциплины, такой патриарх, не сходя со своего места старшего солдата, все же имел возможность и поворчать, проявить упрямство и превысить свою власть.

Офицеры обращались к этим подчас деспотам не иначе как по имени-отчеству. К субалтернам эти « Иван Павловичи » и « Павлы Ивановичи » относились со снисхождением взрослого к ребенку.

В год моего производства и выхода в полк умер или удалился за немощью на покой, доживать свои немногие дни, маститый фельдфебель роты Его Величества Шалберов. Он участвовал в турецкой войне 18 лет тому назад уже фельдфебелем, вернулся с тремя Георгиевскими крестами, постепенно покрылся рядом шевронов на левом рукаве, по которым можно было сосчитать число лет его сверхсрочной службы, медалями — шейными и нагрудными, бесконечной цепью знаков « за отличную стрельбу », иностранными орденами и, конечно, сединой. Он был типичнейшим представителем своей фельдфебельской расы и славился во всей гвардии тем, что говорил скороговоркой в бороду, как индюк, и что его понимали только привыкшие к нему.

Государь не забыл Шалберова с его индюшечьей речью еще в 1916 г., напомнив о нем в Ставке генералу Кондзеровскому — старому лейб-егерю.

---

*) А. Н. Бунин командовал во время маньчжурской кампании стрелковым полком, а в войну 1914-17 гг. дивизией, получив, кажется, Георгиевский крест.

Шалберова заменил молодой великан Государевой роты Тит Гостилов, только что кончивший срок своей действительной службы и начавший первый год сверхсрочной. Ему было еще далеко до шалберовского авторитета, но и теперь на него поглядывали не без почтения, прозревая будущий столп Государевой роты, 1-го батальона полка. Понятие « столп » к нему шло как нельзя лучше : взглянув на его гигантские размеры и страшные плечи, думалось : « Ну и силища! » *).

Когда в 1913 году я командовал в полку 1-м батальоном, я встретил Гостилова, за широкими плечами которого уже числилось 18 лет фельдфебельства, отмеченные и шевронами, и медалями, и значками за стрельбу. Особенно последними : Гостилов был изумительным стрелком.

И, как когда-то у Шалберова, был у него уже непререкаемый авторитет, но также и одна странная особенность, которую знала вся гвардия и все начальство : у Гостилова, при всех его положительных качествах, не хватало музыкального слуха. Он не мог маршировать под музыку в такт и, чуть-чуть отставая от ритма, слегка подпрыгивал на фоне ровно плывущей массы сомкнутого строя! И ничего нельзя было с этим поделать. Приходилось молчать и мириться всем, начиная с командира полка и кончая Его Величеством.

По непопадающему в ногу фельдфебелю безошибочно отличали в гвардии Государеву роту лейб-гвардии Егерского полка.

Говоря о Гостилове, попутно вспоминаю, что и в 5-ой роте, где я начал службу, тоже был тогда молодой фельдфебель, умный и полированный Кирсанов, и что мы праздновали его свадьбу. Шаферами были офицеры, в том числе я — у невесты. После торжественного венчания в полковом храме, состоялся обед и бал в помещении роты. Это было чинно, точно по расписанию и очень мило. Моей дамой за обедом оказалась хорошенькая горничная, веселая, неглупая и с отличными мане-

---

*) Во время революционных вспышек в Петербурге в конце 1905 года лейб-егеря должны были арестовать вооруженных бунтовщиков, запершихся в здании, окруженном высокой стеной с крепкими воротами. Гостилов выломал их плечом с разбега.

рами. С ней было легко разговаривать на любые темы. Все « здравицы » провозглашал особый церемониймейстер, который стоял за серединой стола, позади новобрачных, и читал тосты по бумажке. Музыка играла « туш ». По принятому всюду в России обычаю гости кричали « горько! », что обозначало, что вино надо подсластить поцелуем « молодых ». И молодые сконфуженно целовались.

После обеда быстро убрали столы и открыли бал, как полагалось, вальсом. Ротный командир пошел в первой паре с новобрачной. Я — со своей бойкой соседкой за обедом. Моя дама, выяснилось, так же хорошо танцевала, как разговаривала.

Обзаводиться семьей могли позволить себе роскошь только фельдфебеля. Особых помещений для этих семей не существовало, и они ютились в тесных квартирках, отводившихся им тут же при ротах.

Расположение привилегированной Государевой роты отличалось от других большим простором. Она имела два входа, парадный, с лестницы, которая вела от главного подъезда казармы в офицерское собрание, и « черный » — со двора 1-го батальона. Обычная при ротах канцелярия, обозначавшаяся большею частью деревянным столиком и двумя-тремя стульями, была в роте Его Величества довольно обширна и имела характер уютного делового кабинета с настоящим письменным столом, оттоманкой и даже коврами. Убранством этим она была обязана двум Великим Князьям-братьям, служившим в роте в 80-х годах. Эти были Георгий и Михаил Михайловичи, сыновья престарелого, в мое время, Михаила Николаевича — фельдмаршала и фельдцейхмейстера, всю жизнь состоявшего в списках лейб-гвардии Егерского полка.

Георгий Михайлович оставался в полку недолго и перевелся в кавалерию — лейб-гвардии в Уланский полк, который в общежитии называли, по месту стоянки, петергофским.

Его брат прослужил дольше и, по-видимому, не собирался покидать полк, но у него случился серьезный личный роман, который не был одобрен строгим Императором Александром III. Великий Князь, однако, все же женился без разрешения, и ему пришлось покинуть Россию. При этом он был исключен из списков тех

полков, в которых числился. Все это произошло в 1891 году, незадолго до выхода в полк моего брата. Память о пребывании « Михайловичей » в рядах лейб-егерей была еще свежа и жива ко времени и моего выпуска, через четыре года.

Михаил Михайлович был страстный охотник, любил охоту на крупного зверя, и вокруг него образовался кружок офицеров — таких же любителей. Некоторые из их трофеев украсили стены « кабинета » в роте Его Величества; у подножья собранской лестницы величественно красовалось чучело лося с развесистыми рогами, а на площадке при повороте лестницы гостей встречал бурый медведь, стоявший во весь свой богатырский рост. Оба зверя были убиты Великим Князем.

Года за два до войны 1914 г. Великому Князю был возвращен чин и он снова был зачислен в списки лейб-гвардии Егерского полка.

. . . .

С первыми годами моего офицерства связано воспоминание о двух арестах, которым я подвергся. Кажется, оба пришлись на 1897 год.

Осенью, после лагерей, многие офицеры уезжали в отпуск, пользуясь учебным затишьем в течение августа и сентября, когда в ротах оставались только « старики », то есть солдаты двух старших наборов, а новобранцы еще не прибывали. На эти же месяцы вплоть до года, о котором идет речь, было принято отпускать и солдат на так называемые « вольные работы ». Так назывались подряды солдат для полевых и огородничьих работ в окрестностях столицы по соглашению полков с владельцами обрабатываемых угодий. Здесь встречались интересы и этих владельцев и полков : первые получали дешевый труд, а у вторых праздное осеннее время заполнялось делом, которое приносило доход. Последний, частью, шел в карман рабочих-солдат, а, частью, в запасные суммы рот. Последним предоставлялось самим находить для себя удобные и выгодные « вольные работы », и подыскиванием таковых обыкновенно занимались фельдфебеля. Ротные командиры только накладывали свое « veto » или утверждали, но совершенно не

вмешивались ни в предварительные сговоры, ни в исполнение заключенного контракта.

В институте вольных работ, установленном преемственным обычаем, а не законом, была и дурная сторона. Солдаты за то время, когда они жили в отделе от своей части, распускались и « омужичивались ». Для работ им выдавалось особое, хранившееся на этот случай, древнее обмундирование, в котором солдаты напоминали скорее бродяг или нищих, чем воинов. Кроме того, случалось, что работать надо было в фабричных районах на окраинах города, где солдаты подвергались иногда политической пропаганде и революционной обработке.

Эта оборотная сторона медали с некоторых пор стала озабочивать старшее начальство; она обсуждалась и в печати. Когда начальником штаба Петербургского округа сделался молодой и энергичный генерал Васмундт *), он решил покончить с явлением вольных работ как со злом,и в 1897 году, после лагерей, состоялся приказ по округу, запрещавший отпуск солдат на такие наемные работы, где за ними не могло быть надлежащего надзора.

Приказ этот, в связи с отъездом в отпуск под южное солнце Крыма командира 6-й роты, и послужил причиной моего ареста. Я был сегодня назначен временно командовать 6-ой ротой, а назавтра меня уже адъютант, по традиции, вез на гауптвахту за то, что солдаты 6-ой роты лейб-гвардии Егерского полка были обнаружены на вольных работах где-то на задворках Петербурга! Само собою разумеется, что я оказался козлом отпущения, ибо, вступая во временное командование, понятия не имел о попустительстве настоящего ротного командира, теперь благополучно достигшего живописных берегов Черного моря, и о распоряжениях его правой руки, фельдфебеля Нуждина. С последним мне, молодому подпоручику, и разговаривать было боязно, а не только его проверять! Помнилась русская военная пословица : « Курица не птица, прапорщик не офицер ». Чин прапорщика, правда, был уничтожен в 1885 году,

---

*) Командовал лейб-гвардии Измайловским полком в 1890-х гг.

но двухгодичный подпоручик с двумя звездочками продолжал чувствовать себя « прапорщиком — не офицером ».

Поймал моих временных подчиненных на незаконных занятиях сам инициатор отмены грозный генерал Васмундт, позвонил по телефону Чекмареву и приказал посадить под арест ротного командира на трое суток.

Чекмарев, не будучи И. С. Мальцевым *) или графом Шуваловым, не разобрался в деле и не заступился за « прапорщика », которого подвели.

Отсидел я свои трое суток, впрочем, довольно комфортабельно на « лучшей » гауптвахте, находившейся при карауле Государственного Банка; комната была большая, с видом на Садовую улицу через окно с железной решеткой; денщик привез мои постельные вещи, которые постлали на кожаном диване. Еду приносили из хорошего купеческого трактира где-то поблизости, на Сенной площади. Самовар, чай, свежие баранки (хлеб, запеченный в виде толстых колец) и калачи (особого теста и в форме дамской сумочки с ручкой) то и дело появлялись на столе. Приходил наведываться денщик, несколько озадаченный конфузом, выпавшим на долю « барина », и постоянно прислуживал вестовой, состоявший при гауптвахте. Со мной — как в случаях нарядов на дежурство и в караул — были акварельные краски. И, помню, я сделал этюд стола, накрытого для чаепития, с помятым, видавшим виды и плохо вычищенным самоваром и с облупленным железным подносом, на котором по черному фону были изображены розовые цветы с золотыми листьями.

Другой раз я попал под арест немного ранее, летом, по приказанию того же Васмундта! Неважное могло у него составиться мнение об офицере, который « попался » дважды на протяжении трех месяцев. Ни он, ни я не могли тогда предвидеть, что нерадивый подпоручик будет впоследствии, как и сам строгий генерал когда-то, командиром лейб-гвардии Измайловского полка.

История этого первого ареста интереснее. Я был караульным начальником в лагерях на Главной Красно-

---

*) Предшественник графа Шувалова — тоже независимый командир, бывший кавалергард, очень богатый человек. Славился находчивостью и острым языком.

сельской гауптвахте. Здесь приходилось быть особенно на-чеку, чтобы не пропустить вызвать караул на платформу для отдания чести многочисленному лагерному начальству, начиная с Главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского военного округа Великого Князя Владимира Александровича и продолжая вниз другими членами Императорской Фамилии и высшими командирами.

Дача Главнокомандующего находилась тут же рядом. По обе стороны гауптвахты выставлялись скрытые в тени деревьев так называемые « махальные ». Они должны были знаками предупреждать караул и его часового, стоявшего у пестрой черно-белой будки на платформе, о приближении лиц, которым по уставу полагалось вызывать караул.

Вот раздались два удара в колокол. Это обозначало : « Караул в ружье! » и « караул вон! ». Егеря сноровисто выбежали, построились. Я скомандовал : « Равняйсь! » и « смирно! ». Жду, кто появится. Вижу, мимо в догкарте медленно проезжает какая-то незнакомая дама, сама правит лошадью. Густо завуалирована. Не могу признать, что это одна из Великих Княгинь. Решаю, что махальный ошибся. Чести не отдаю, то есть не командую : « На караул! » — как назывался этот ружейный прием — и увожу своих людей обратно в караульное помещение.

Не проходит и четверти часа, как раздается один удар в колокол. Это значит, что вызывают на платформу одного караульного начальника. Выхожу. Навстречу мне идет по платформе Васмундт. Рапортую, по положению. Генерал сердитым взглядом не обещает ничего доброго.

— Как это могло случиться, — спрашивает Васмундт, — что караул был вызван для отдания чести Великой Княгине Марии Павловне, а честь не была отдана?

И затем : — По смене с караула доложите командиру полка, чтобы вас арестовали на трое суток.

Итак, я не узнал Великую Княгиню, а махальный и часовой были правы. Потом выяснилось, что она встретила на улице Красного Села своего мужа, Великого Князя Главнокомандующего, и спросила его : « Разве

изменили устав, что караул Егерского полка отдал мне честь только стоя смирно, а не взял ружья на караул? »

На другой день — это пришлось в субботу — я, уже по смене с караула, снова водворился на Красносельской гауптвахте, но уже в качестве арестованного. Утром в воскресенье меня вызвал с верхнего этажа, где я помещался, вниз комендант Красного Села, генерал, которому накануне я сдал свою шашку, — одно из унижений ареста офицера.

— Вот что, — сказал мне старик, — вам дадут знать, когда Великая Княгиня и молодые « Владимировичи » будут возвращаться домой из Красносельской церкви после обедни. Станьте тогда навытяжку в среднем окне второго этажа, под часами, и стойте так, пока все не проедут.

Я не понимал смысла этой процедуры, но, конечно, исполнил послушно все, как было приказано. Накрапывал дождь, и кузова колясок, в которых ехали Великая Княгиня и молодые Великие Князья, были подняты. Тем не менее я видел, как из-под них высовывались головы, чтобы взглянуть наверх, по направлению к среднему окну второго этажа, под часами.

Прошло часа полтора. Снова меня вызывает вниз комендант. Спускаюсь. Генерал, лукаво улыбаясь в седые баки, говорит :

— Великая Княгиня за завтраком выпросила у Главнокомандующего прощенье для вас. Вот вам ваша сабля (генерал был старый кавалерист!), — вы свободны!

Так, с этой романтической счастливой развязкой существенно сократился для меня мой первый арест. И я даже успел воспользоваться воскресеньем, чтобы съездить из лагеря в Петербург и отпраздновать свое освобождение.

. . . .

Наряды в караулы в Петербурге были для офицеров-субалтернов довольно частыми, так как если в столице и стояло десять пехотных полков, которые несли эти наряды, то и разных офицерских караулов было без малого столько же.

Примерно раз в десять дней на полк выпадала оче-

редь занимать караулы. Они разделялись на два отделения. В первом заключались дворцы, Зимний и Аничковский, Комендантское управление, Государственный банк. Во втором — Петропавловская крепость и находившиеся далеко за городом склады огнестрельных припасов. Ходить в этот последний караул не любили : это было целое путешествие, занимавшее час с лишним. Некоторых ленивых офицеров посылали туда вместо наказания.

Ряд других, более мелких караулов были унтерофицерскими.

Одним из самых спокойных караулов считался « Главный » в Зимнем Дворце, когда в нем не было Высочайшего присутствия. Помещения просторные, удобные как для солдат, так и для офицеров. От Двора всех хорошо и обильно кормили. Офицерам, кроме завтрака, обеда и чая, которые обслуживались придворными лакеями в ливреях, подавалось красное и белое вино; водка — к закуске.

Офицерское караульное помещение состояло из столовой и комнаты для отдыха. В последней по стенам стояло 3-4 больших мягких дивана с высокими спинками. На этих диванах разрешалось и полежать — и откровенно поспать.

Начиная с царствования Александра III, возможность отдыха в карауле была облегчена для офицеров тем, что они после вечерней зори, то есть после 8 ч. вечера, снимали мундиры и надевали пальто. Таким образом устранялись два главных препятствия для отдыха : подпиравший шею твердый, с шитьем, воротник и тесно стягивавший талию пояс.

В строгую эпоху Николая I такое послабление показалось бы чудовищным. К тому же, как это ни странно, тогда у офицеров не было верхнего одеяния с рукавами, которое соответствовало бы солдатской шинели. Существовал только широкий плащ, накидывавшийся на плечи и напоминавший римскую тогу, если бы к плащу не была прибавлена пелерина, заимствованная из мужских мод начала 19-го века. Скульпторы охотно пользовались этим декоративным плащом для драпировки прославившихся генералов на воздвигаемых им памятниках. Но для строя эта одежда не годилась, особенно для пешего. Поэтому офицеры пехоты зимой и во-

обще в холод, когда солдаты были в шинелях, вместо мундиров или даже поверх мундиров надевали двубортные сюртуки с длинными полами *). По-видимому, сюртуки эти могли быть подбиты, при желании, ватной подкладкой или мехом.

В результате, в строю, на сером фоне солдатских шинелей, офицеры резко выделялись заметными издалека темными пятнами и точно просились на мушку хорошего стрелка.

В Севастопольскую войну, когда мы встретились с новым метким, дальнобойным ружьем у противника, большие потери в офицерском составе указали на эту аномалию в одежде, оказавшуюся вредною в боевом отношении. Офицерам было приказано одеваться в солдатские шинели, которые и послужили прототипом серого офицерского пальто в 1856 г.

По поводу караульной службы при Николае I вспоминаю надгробный памятник на Волковом кладбище в Петербурге. Показывал мне его отец, когда мы ездили с ним на поклонение могилам его родителей и проходили мимо этого необычного памятника. Это была превосходно исполненная из бронзы — наверно первоклассным мастером — фигура молодого и красивого офицера лейб-гвардии Семеновского полка, лежащего как бы в позе спящего. Голова его покоится на ведрообразном кивере Николаевского царствования, первой его половины. Воротник расстегнут. Тело декоративно покрыто наброшенным плащом, спустившимся на пол живописными, тяжелыми складками.

Отец мой рассказал историю этого памятника. Офицер прилег в карауле отдохнуть и расстегнул крючки своего огромного стоячего воротника, резавшего шею. Это запрещалось, Услышав сквозь сон какой-то шум, открыл глаза и увидел над собой Государя!

Офицер так и не встал. Он умер от разрыва сердца.

---

*) Слово « сюртук » — искаженное « surtout » — само показывает, что он надевался поверх мундира. Русская армия не представляла исключения в Европе в вопросе офицерского пальто. В других армиях мы тоже не видим этой верхней одежды у офицеров в 18-м и первой половине 19-го веков. В 1812 году один Наполеон носил знаменитый и практичный « серый походный сюртук » — в сущности пальто, и это было его изобретением. Но маршалы драпировались в плащи!

Еще Александр II, дед Императора Николая II, живал часто и подолгу в Зимнем Дворце, и именно зимой, когда Государь устраивал приемы у себя, ездил каждое воскресенье на развод караулов в Михайловском манеже и слушал доклады министров в своем длинном кабинете, в котором за ширмой стояла его жесткая походная кровать. На ней Государь спал, на нее положили 1-го марта 1881 г. и его истерзанное взрывом тело. Здесь и испустил дух Царь-Освободитель, любвеобильный монарх-альтруист, убитый рукою одного из « благодарных » подданных.

Мрачными караулами справедливо считались те, которые сторожили арестованных, а именно — в Петропавловской крепости и при Комендантском управлении на Большой Садовой. Самые помещения для караульного начальника, полутемные, со скудной спартанской обстановкой, с серыми голыми стенами, наводили, тоску, напоминая карцера. В крепости, кроме того, куранты собора, служившего усыпальницей царей, каждые четверть часа заунывно звонили ритурнель, а каждый час еще и длинное « Коль славен наш Господь в Сионе » — молитвенный гимн, под печальные, стонущие звуки которого в России провожали усопших военных к месту их вечного упокоения.

Военное значение Петропавловской крепости, как цитадели Петербурга, давно пропало. Шведы, против которых ее построил Царь Петр Великий, были отодвинуты от пограничной столицы на безопасное расстояние более ста лет тому назад. Старомодные верки, окруженные глубоким наружным рвом, сделались тюрьмой для политических преступников, и ареной таинственных драм, от допросов « с пристрастием » до бесшумных казней. Но устаревшие фортификационные термины крепости-тюрьмы сохранились для обозначения места заключения арестованных. Они числились в тех или иных бастионах, куртинах, в казематах равелина...

Со стороны Невы, с ее далекого противоположного берега, четкий инженерный чертеж низколежащей, точно распластанной крепости с острыми углами бастионов и впадинами куртин в форме трапеций, серые суровые краски гранита и золотой шпиц одинокого собора над куполом « барок », представляли редкую по красоте и по стильности картину. Вместе с Адмирал-

тейством, зданием Биржи, Сената, Дворцовой площадью, всей гранитной набережной широкой и величественной Невы, каналами и Смольным монастырем Петропавловская крепость входит в типичное архитектурное ядро города. В ядре этом чувствуются своеобразный, одному Петербургу свойственный характер, стиль и выдержанная красота 18-го века. Но внутренность крепости вызывала другие впечатления. Как только караул, перейдя через подъемный мост и миновав темный свод крепостных ворот, начинал отбивать ногу по звонкому булыжнику внутренней площади, людям должно было казаться, что они вступают в другой мир; холодом, казармой и тяжелою казенностью веяло от стен и зданий, от посиневших белил и полинявшей охры покраски, местами от голого кирпича, от чахлых деревьев перед домиком коменданта. Даже собор посередине площади, сам по себе образец стильной стройки, не был в состоянии изменить это общее впечатление.

Вступая в этот мирок, замкнутый и жуткий, я испытывал чувство отрезанности и принадлежности к невидимым обитателям казематов. Приятно было сознание, что это только на одни сутки.

В Комендантском управлении на бойкой Большой Садовой, в центре столицы, помещение караула находилось во втором этаже — единственный случай — и смотрело своими немногими узкими, забранными решеткой окнами на темный и не особенно чистый колодезь двора. Обычной наружной платформы не было; не полагалось и никаких вызовов караула наружу для отдания чести.

Сторожили в этом доме заключения для провинившихся военных многочисленных арестованных; в их числе известный процент относился к настоящим преступникам, ожидавшим суда. Этих нужно было иногда отправлять к следователю или в суд для дачи показаний. Но едва ли не большинство попадало сюда за будничные проступки : за буйство, за появление на улице, в пьяном виде, за неотдание чести, за одежду не по форме.

Солдаты, арестованные за легкие проступки, помещались по несколько человек в камерах; другие сидели за крепкими замками в одиночном заключении. Внутренние коридоры и внешние длинные галереи-балко-

ны, в которые выходили двери карцеров, тщательно охранялись часовыми.

Я не знаю, случались ли побеги из этого дома. Думаю, что это было чрезвычайно трудно, едва ли возможно.

Комнаты для арестованных офицеров находились в том же крыле здания во втором этаже, где и караульное помещение; коридор, в который выходили двери этих комнат, как в гостинице, примыкал почти вплотную своим началом к комнате караульного начальника.

. . . .

Из гвардейского старшего начальства 90-х годов полки больше всего чувствовали — если не видели — начальников дивизий. Бригадные командиры не имели определенного дела и ответственности, а потому и значения. Очень часто эта почти номинальная должность совмещалась с командованием одним из двух полков той же бригады. Корпусной командир был высоко и далеко. Если он прежде командовал кавалерийскими частями, то и интересовался преимущественно ими, чем малознакомой ему пехотой.

Зато начальник дивизии должен был оказывать и оказывал влияние на обучение и воспитание своих четырех полков. Если это был плац-парадный генерал, то внимание полков сосредоточивалось на маршировке, красоте сомкнутого строя и обмундировании. Если это был знаток стрельбы, — полки старались щегольнуть друг перед другом « процентами », добиваясь их если не мытьем, так катаньем; тактик будил интерес к полевым занятиям; хороший хозяин погружал полки в вопросы хлебопечения, швальни, всевозможных ремесел, отхожих промыслов и накопления экономических сумм.

Сочетания всего этого в одном лице не встречалось, а потому полкам приходилось испытывать нажим то в одном, то в другом направлении; быть может, ближе к полной гармонии оказался генерал Васмундт — человек живой, разнообразный и смелый. Но он привел в ужас и смятение хозяев 1-ой гвардейской пехотной дивизии, приказав торжественно сжечь все незаконно накопленное ими « на всякий случай » обмундирование — одиннадцать или двенадцать « сроков » вместо положенных



Парадное утро гвардейского офицера

трех (новое, среднее и старое обмундирование). То, что Васмундт обозвал « гнилью и заразой », полки год за годом складывали в свои цейхгаузы, загромождая их мундирным тряпьем, часто — нищенского вида. Впоследствии, уже в должности начальника штаба Петербургского округа, Васмундт нанес другое оскорбление хозяйственной части полков, запретив отправку солдат осенью на частные заработки.

Зато полевые занятия и маневры при Васмундте получили интересный и нешаблонный характер, явившись короткой вспышкой на фоне казенной тактики Красного Села; до некоторой степени, предтечей того обновления, которое эта тактика испытала после горького опыта русско-японской войны. Командовал дивизией Васмундт, однако, недолго, вскоре получив ответственный пост начальника штаба войск гвардии и Петербургского военного округа.

Плац-парадным начальником дивизии был князь Н. Н. Оболенский, при котором я вышел в полк. Высокий, красивый старик, старый преображенец и командир Преображенского полка в войну 1877-78 гг., Георгиевский кавалер за Ташкисен, подтянутый, натянутый и важный, Оболенский как бы излучал из себя гвардейско-придворные настроения эпохи Александра II.

Однако почва для дрессировочной муштры войск постепенно исчезала. Александр III отменил воскресные разводы караулов в Высочайшем присутствии, нарядные весенние парады, на которых полки щеголяли своим равнением и шагистикой, блистали своими мундирами с отличиями ярких цветов, частые смотры по разным случаям. Плац-парадному начальству развернуться стало негде. Даже и форма одежды упростилась до такой степени, что почти сошли на нет петлички и ремешки, на которых точили свой глаз командиры, создавшие тип военного педанта-придиры под армейской кличкой « ремешок ».

Но во власти начальника дивизии оставалось производство так называемых инспекторских смотров полкам. Раз в год, обыкновенно зимой, в разгар казарменных занятий с « молодыми », то есть с новобранцами, начальник дивизии мог вывернуть полк, что называется, наизнанку и проверить его строевое и хозяйственное состояние. Во время этой операции, выбивавшей полк

из колеи по крайней мере на неделю, начальник дивизии старой школы имел возможность тряхнуть стариной. Показывалось решительно все : люди, мундиры, снаряжение, оружие, ранцевая укладка, частные солдатские сундучки с их скудным содержанием, всегда пахнущие ваксой и дешевым мылом. Полк водили на показ целиком или в лице назначенных по выбору рот, в гарнизонный Михайловский манеж. Тут, в сизом и сыром тумане петербургского раннего утра, заполнившем с улицы огромную и холодную каменную коробку здания, на свежем песке манежа роты подвергались тому или другому экзамену. Одна производила ученье; другая показывала ранцевую укладку, причем предметы снаряжения лежали правильными рядами на земле, а люди стояли силуэтами против своих вещей. Вот одному егерю приказали снять мундир и показать белье. Вот другой снимает сапог, разматывает « портянку » (обмотка, заменявшая носок), и величественный князь Оболенский, в сюртуке, при шпаге и в белых перчатках, склоняется над узловатой мозолистой ступней солдата, чтобы убедиться в ее чистоте.

Между тем на Рузовской и Звенигородской улицах, в казармах, хозяйственные чины штаба дивизии не первый день роются в кипах всякого полкового имущества, выплывшего на свет Божий из разных складов; пахнет нафталином, и ревизоры чихают от перца, которым посыпают обмундирование для сохранности.

На дворе нестроевой роты выводят из конюшен полковых обозных лошадей и проводят их перед начальством, стоящим с записными книжками и карандашами в руках. Рядами выстроены и выравнены недавно покрашенные и едва успевшие просохнуть повозки обоза и двуколки. Какой-то специалист озабоченно щупает колеса и пробует смазку.

В полковой канцелярии выложены на столах длинные отчетные книги; согнувшись над ними сидят и делают выборки члены особой коммиссии по проверке отчетности и состояния сумм.

Для всей этой работы не хватает маленького штата штаба дивизии, не превышающего пяти офицерских чинов, почему от других полков дивизии командированы дополнительные ревизоры.

Проще всего решается вопрос проверки тактиче-

ской подготовки офицеров. Каждый офицер должен представить одну исполненную им на плане задачу с соответствующими приказаниями. Задачи не составляют наново : их выписывают готовыми из удобного учебника Кайгородова и Преженцова (авторы — когда-то молодые офицеры Генерального штаба Петербургского округа, теперь — генералы). Обыкновенно — это действующий в русской Польше, где-нибудь под Лодзью, батальон, который нужно или расположить биваком, или выставить от него охранение, или совершить с ним переход. Может быть — атаковать или оборонять позицию. А то еще организовать нападение на транспорт или, наоборот, отбить таковое.

Батальон этот или другой крошечный отряд печально одинок, а обстановка обрисована безжизненно и узко. Соседей нет, или о них имеются самые смутные известия.

Лучшими знатоками в области решений этих задач являлись безусые подпоручики, только что выпущенные в полк со школьной скамьи. Считалось, что у них еще не успели улетучиться училищные познания по тактике и рука оставалась еще бойкой в изображении в нужном масштабе на карте цветными карандашами всех этих биваков, цепей, колонн и немногих орудий, иногда приданных батальону.

Старшие офицеры доверчиво поручали судьбу данной им задачи молодым, состоявшим в их подчинении. Таким образом, я беспрекословно и храбро решал задачу за своего ротного командира Гудиму.

Кто, где и когда проверял эти решения и расценивал исполнение? Задачи отправлялись в штаб дивизии и оттуда не возвращались. Но в толстом приказе по дивизии о результатах инспекторского смотра полков, через месяца три-четыре можно было прочесть имена офицеров, немногих, которые « отличились » в этом бумажном состязании по тактике в ту или другую сторону.

После окончания смотра и исчезновения ревизоров полк еще дня два-три входит в свои берега. Улегается смотровая суетня; скоро, как в квартире, которую только что перевернули вверх дном, помыли, почистили, проветрили и снова водворили все предметы на прежние места, родная пыль мало-помалу завоевывает свои

права и показной блеск уютно тускнеет, напоминая о наступивших буднях.

Кроме князя Оболенского и Васмундта, в мое время дивизией командовали еще двое, — частая смена для шестилетнего периода; это были генералы Гриппенберг и Георгий Иванович Бобриков. О первом я упомяну в записях о русско-японской войне в связи с операцией под Сандепу и ссорой Гриппенберга, тогда командовавшего второй армией, с Куропаткиным. Нужно сказать, что все четыре начальника дивизии были Георгиевские кавалеры за войну 1877-78 гг., а Гриппенберг имел и шейный крест 3-ей степени. Но Г. И. Бобриков*), несмотря на свой боевой крест, производил скорее впечатление ученого профессора, чему еще помогали очки и ученый сюртук Генерального штаба. Это был умный и деликатный начальник, плохо разбиравшийся в строевых тонкостях и ухищрениях и довольно метко прозванный в полках « тайным советником » **).

О корпусных командирах мне вспомнить нечего, за исключением, разве, Великого Князя Павла Александровича, дяди Государя, получившего это большое назначение еще совсем молодым человеком, чуть ли не сразу после командования лейб-гвардии Конным полком. Во время проезда вдоль передней линейки Главного лагеря в Красном Селе (1-й и 2-й гвардейских пехотных дивизий) Великий Князь однажды не встретил на должном месте, у знамени лагерного караула, помощника дежурного по полку в лагерном расположении лейб-гвардии Егерского полка. Он обязан был безотлучно находиться на этом месте, базируясь на « дежурную палатку » и, в случае появления начальства, рапортовать ему о благополучии в полку. В результате, отсутствовавший так некстати офицер получил замечание в при-

---

*) Брат генерал-адъютанта Николая Ивановича, долгое время начальника штаба Петербургского военного округа при Великом Князе Владимире Александровиче, потом Финляндского генерал-губернатора, убитого на посту фанатиком-финном за его реакционные меры.

Дочь Николая Ивановича — Ольга Николаевна — была замужем за И. А. Хольмсеном, моим позднейшим сослуживцем и приятелем.

**) Генеральский чин для штатских, соответствовавший генерал-лейтенанту.

казе по полку. Это был я. Надо же было Августейшему корпусному командиру подъехать к полку, когда я, поборов чувство долга, решился отлучиться на пять минут по какой-то надобности!

Великий Князь Павел славился своей стройной и высокой романовской фигурой, красотой и элегантностью. Многие корнеты завидовали его стильным высоким сапогам, так хорошо оттенявшим длинные и тонкие ноги. Когда Великий Князь спешивался, он любовно похлопывал твердые голенища своих английских сапог стэком с дорогой ручкой.

Превосходно изобразил его Серов на известном портрете, где Великий Князь и его вороной конь написаны по-колено, обе норовистые головы рядом. Мастерски передал художник военную нарядность Павла Александровича в его белом колете, золоченых латах и каске лейб-гвардии Конного полка.

Вторичная женитьба вдового Великого Князя на простой смертной выбила его из гладкой служебной колеи, причитавшейся ему по положению, но много времени спустя, во время войны 1914-17 гг., мы видим его снова командиром Гвардейского корпуса, на той же должности через 17-18 лет.

Летом 1916 года я представлял ему лейб-гвардии Измайловский полк. Седой, не без старческих морщин, Великий Князь, красивый по новому, блистал по-прежнему военным стилем и стройностью фигуры; но он не похлопывал стэком голенища своих изумительных сапог ; наступил век автомобиля, и в стэке не было нужды.

Старший брат Павла Александровича, Великий Князь Владимир в 90-х годах командовал всеми войсками Петербургского военного округа. Меньше ростом, чем « брат Павел », как он его сам называл, но не менее красивый и породистый. Как в молодости, так и в старости, лицо Владимира Александровича обращало на себя внимание правильностью и характерностью мужественных черт, освещенных выразительностью. Он представлял собою в столице величину, заметность и влияние которой объяснялись не только тем, что Великий Князь являлся одним из старейшин в Императорской Фамилии, но и его личными качествами. Умный, хорошо образованный, вышколенный в атмосфере цар-

ствования Александра II, с серьезным боевым опытом войны 1877-78 гг., понимавший жизнь и людей, знавший глубоко военную среду, Великий Князь правил войсками мудро и ровно.

Он не обнаруживал ни горячности своего будущего преемника, Великого Князя Николая Николаевича, ни узкого военного педантизма своего отдаленного предшественника Великого Князя Михаила Павловича. Предоставив своему начальнику штаба простор и почин в сложной области администрации в округе, Главнокомандующий оставил за собою роль воспитателя, поддерживая в войсках традиции и дух; задавая им тон, шлифуя воинские понятия о долге, чести, преданности Государю и Родине.

Великий Князь любил невзначай приехать в часть один, без адъютанта, обойти казармы во время занятий, не прерывая их, зайти на кухню, попробовать солдатскую пищу, поговорить с кашеваром и, в заключение, в офицерском собрании запросто, за стаканом чая, побеседовать с офицерами. В виде разрешения курить Великий Князь, доставая собственный портсигар и папиросу, подавал команду из старого, отмененного стрелкового устава: « Вынь патрон! ». Это было традиционным его сигналом к общему курению.

Великий Князь вспоминал прошлое, разные служебные и боевые случаи, часто поражая своею богатою памятью и глубоким знанием русской истории. Ничем этим Великий Князь не рисовался, всегда это был обыкновенный разговор без претензии, а не лекция или наставление. Но сколько в словах этих оказывалось полезных крупинок, которые оседали незаметно в умах слушателей.

Посещение Великого Князя Владимира Александровича не приносило с собою грома и молнии, и по полку не пробегала дрожь трепета, как это бывало в случаях грозных наездов Михаила Павловича или самого Государя Николая Павловича. Наоборот, люди чувствовали, что начальство приехало не для разноса, а для поощрения. Спокойные, полные достоинства манеры Великого Князя и его глаза с искрой философского юмора точно ободряли и оглаживали. Невозможно было представить, чтобы неожиданное появление Великого Князя вызвало бестолочь и суетню.

Совершенно необыкновенный голос его, неукротимая сила которого напоминала раскаты тромбона, пропадал даром: как бы воспользовался этими голосовыми средствами начальник-громовержец! С другой стороны, Великий Князь ничего не мог сказать по секрету или « шепнуть » на ухо соседу. Понижение голоса вело только к большей отчетливости, и каждое слово еще резче повисало в воздухе. Повысив же голос, Великий Князь мог здороваться с войсками, удаленными на большое расстояние. Помню, как-то на маневрах, после разбора, Великий Князь захотел поздороваться с лейб-драгунами, шефом которых состоял. Полк стоял в колонне, далеко за скрывавшим ее холмом, и едва был виден. Но шеф знал свой голос. « Здорово, драгуны! » — протрубил Великий Князь в сторону полка. И — после жуткого мгновения и паузы — до нас донесся дружный ответ: « Здравия желаем, Ваше Императорское Высочество! »

Главнокомандующему случалось, конечно, натыкаться на разные служебные промахи и проступки. Но и тогда он не делал из мухи слона. В худшем случае он журил, почти по-отечески. В лучшем — снисходил, предоставляя дисциплинарную расправу ближайшему начальству.

В Егерском полку, в мое время, Великий Князь однажды приехал, в своих санках на одного, к разводу городских караулов. Они уже были все выстроены перед казармами на Рузовской улице. За одиночкой Главнокомандующего гнались изо всех сил другие собственные сани, в которых сидел готовый выскочить на ходу опоздавший к разводу поручик Дзичканец 3-й.

В то время как Великий Князь, высадившись, вышел перед середину фронта и был встречен полковником — дежурным по караулам, маленький Дзичканец, бегом и позади фронта, направлялся к своему месту.

— А это кто такой? — с искренним интересом спросил Владимир Александрович дежурного по караулам.

— Это поручик Дзичканец 3-й, — ответил смущенный полковник и прибавил, в виде объяснения этого странного происшествия: — Он всегда опаздывает!

— Ага! — удовлетворенно сказал Великий Князь, как будто одобрив эту оригинальную привилегию офицера.

История умалчивает о том, что выслушал впоследствии от своего полкового начальства этот офицер — сын старого егеря и брат трех егерей, служивших тогда в полку.

Тактическое образование войск того времени еще изживало устаревшие заветы опыта русско-турецкой войны 1877-78 гг. Наблюдательный Великий Князь не мог не видеть, бывая на полевых занятиях, что в этой области мы остановились на одной точке на слишком долгое время и застыли в формах, взывавших к какому-то прогрессу. С благословения Великого Князя в Петербурге открылось и начало процветать «Общество ревнителей военных знаний». Движущей его силой был энергичный и способный Е. Ф. Новицкий, офицер Генерального штаба, фанатик военного дела. Благодаря частым и регулярным публичным сообщениям в этом обществе на всевозможные злободневные темы, начальствующие лица и рядовое офицерство столичного военного округа знакомились с новыми течениями военной мысли как у нас, так и заграницей. Доклады эти сразу сделались популярными, очевидно, — в освежении знаний действительно была потребность. Устраивался полезный обмен мнений, и спорные вопросы обсуждались со всех сторон. Общество печатало подробные конспекты лекций, которые из Петербурга попадали и в другие города и округа, расширяя влияние этого курса новых знаний и втягивая периодическую печать в работу по перемолу тактических доктрин.

Словом, шла открытая атака на старую школу, и кафедра вновь открытого просторного Собрания Армии и Флота, где производились сообщения, являлась командным пунктом этой атаки.

Однако все это долго оставалось борьбой теории и частных мнений. Внедрение новых оснований и коренная переработка уставов требуют чьей-нибудь решимости на самом верху или.. .встряски. На следующую войну, с японцами, мы выступили поэтому тактически сильно отставшими; как ни ратовал за угломер и стрельбу артиллерии с закрытых позиций страстный и неутомимый капитан Генерального штаба Свяцкий с кафедры и в печати, только после встряски под Тюренченом русская армия ему поверила и приняла новую артиллерийскую доктрину.

Но для пехоты в те годы успели переменить строевой устав, чрезвычайно его упростив. Едва ли он не был лучшим из всех европейских пехотных уставов. Разумный устав этот оставался в силе вплоть до 1917 года и конца Императорской пехоты. Первое испытание он получил в войсках Петербургского округа и, между прочим, лейб-гвардии в Измайловском полку; Великий Князь Главнокомандующий с живым интересом следил за этим испытанием. Утверждение устава в значительной степени было ему обязано.

Вообще, Великий Князь инстинктом чувствовал необходимость обновления; когда превосходный штабной работник и консервативный Н. И. Бобриков, бывший правой рукой Великого Князя в течение многих лет, получил высшее назначение генерал-губернатором в Финляндию, на его место Владимир Александрович выбрал — не случайно — генерала Васмундта (1898 г.). В прямую противоположность Бобрикову он терпеть не мог канцелярской стороны штабной работы; не было у него и стажа Генерального штаба, где он мог бы ей научиться. Офицеры штаба Петербургского округа изрядно намучились с Васмундтом, ловя его для подписания бумаг. Но зато он со свойственной ему живостью окунулся в вопросы обучения войск и показал себя в условиях петербургского застоя настоящим « enfant terrible ». Нельзя сомневаться в поощрении Васмундта Великим Князем.

Вспоминаю следующий случай : под Красным Селом происходил маневр, в котором одна дивизия действовала против другой. Исполняя в то лето в полку конную должность батальонного адъютанта, я был назначен состоять на этот день ординарцем при главном посреднике (кстати сказать, генерале Преженцове, соавторе упоминавшегося раньше знаменитого сборника тактических задач).

Бубенцы великокняжеской тройки дали « сражающимся » знать, что Главнокомандующий прибыл на маневр и следит за ходом действий. Многое делалось по старинке : кавалерия бросалась, не смущаясь обозначенным огнем, на пехотные цепи и на стреляющие батареи. Для отражения этих атак в духе Прейсиш-Эйлау и Бородина пехотные резервы выходили, держа ногу, в сомкнутом строю на линию цепей и производили зал-

пы, дружный треск которых напоминал раскусывание ореха. Конные ординарцы носились вдоль фронта, как зачарованные против воображаемых пуль и осколков. Нечего и говорить, что батареи картинно выезжали на гребни горок, лихо снимались с передков на виду у неприятеля и становились на открытых позициях.

Не отличалось свежестью и решение задачи : давно установился порядок, по которому нужно было обстрелять, скажем, Кавелахтские высоты или брать приступом Лабораторную рощу.

Наконец маневр кончился. Пехота обеих сторон полукругом оцепляла Царский валик, устроенный раз навсегда на середине огромного Военного поля. Прогремело « ура » атаки, а за ним кавалерийская труба пропела две ноты « отбоя ». Сигнал этот повторили все трубы, горны и барабаны в войсках, и в этих звуках, друг друга перебивающих, чувствовалось облегчение и радость от исполненного долга. Пехота перестроилась в колонны и составила ружья. Конница спешилась. По довольному ржанью лошадей можно было определить места, где за пехотными линиями собралась кавалерия.

Вдогонку за « отбоем » протрубили сигнал « сбор начальников »; тут была целая музыкальная фраза, которой отвечали слова : « Соберитесь, разберите, научитесь! ».

Старшие начальники со своими штабами и адъютантами галопом, со всех сторон, шли к Царскому валику, недалеко от которого их ожидала на лужайке группа : Великий Князь со своим начальником штаба Васмундтом, старший и другие посредники. За ними — адъютанты и ординарцы, в числе которых находился и я.

Собралось начальство. Начался разбор. Каждая сторона доложила свои планы и решения. Высказались посредники. Великий Князь предложил тогда Васмундту сделать свои замечания. Васмундту было что сказать, и его критика, часто — сокрушающая, длилась долго. Тактически неловкие и « провинившиеся » на маневре генералы и полковники имели вид школьников, которых отчитывает строгий учитель. Со смущенным видом прикладывали они один за другим руку к козырьку, или к « громоотводу », как прозвали эту спасительную часть головного убора.

Васмундт кончил. Великий Князь, который слушал

пространный, исчерпывающий разбор маневра, играя носком ноги и слегка склонив голову, теперь поднял ее и обвел полукруг отчитанных школьников своим острым взглядом из-под большого, немодного козырька.

Начальник штаба, — сказал он, взвешивая слова, — указал на ошибки. Я могу прибавить, что маневр разыгрался отлично : пехота наступала, кавалерия скакала, артиллерия стреляла. Благодарю вас, господа!

И, отпустив командиров, быстрыми шагами направился к своей тройке. Зазвенели бубенцы. Главнокомандующий с начальником штаба отбыли в Красное Село.

Командиры рысили к своим частям, думая о разносе Васмундта и похвале Великого Князя. После шести слов его резюме длинная и мелочная критика начальника штаба казалась расплывчатой и ненужной...

Владимир Александрович все же дожил до выводов из опыта русско-японской войны, которую мы начали в духе тактической формулы : « Пехота наступала, кавалерия скакала, артиллерия стреляла ». Великий Князь скончался в 1909 году, оставив командование округом в 1905 г. За год перед тем скончался Васмундт *).

Со смертью Великого Князя Петербург лишился этой характерной, неподражаемой фигуры, представлявшей собой мост между эпохой Александра II, с ее либерализмом, не мешавшим отчетливости военных парадов, и загадочным временем на рубеже 20-го века. Смогли бы пригодиться в новых условиях золотые ка-

---

*) О Великом Князе см. еще набросок « Кулебяка » в книжке Н. В. Ротштейна « Синие дали ». Ревель 1938 г. :

Великй Князь, возвращаясь с маневра, проходил пешком в своем легком пальто под проливным дождем мимо полкового офицерского собрания лейб-гвардии Егерского полка. Командир полка и офицеры решили остановить Главнокомандующего и пригласить в шатер переждать дождь и отогреться. Великий Князь был тронут этим вниманием, выпил рюмку водки и закусил. Между тем дождь перестал. На другой день Великий Князь прислал в полк чудесную огромную кулебяку и ящик шампанского с запиской : « Я был наг, и вы одели меня, я был голоден, и вы накормили меня! Примите этот пирог, который испекла моя дочь Елена ».

чества этого представителя династии: его житейская статическая философия, человечность и юмор?

. . . .

Для каждого, кто служил в петербургском гарнизоне, ярким воспоминанием на всю жизнь оставалось участие в парадных смотрах, которые производил Государь.

При Александре II эти ежегодные смотры бывали наряднее и параднее, чем при Александре III, так как последний перенес обычные до него весенние смотры на зиму. В них заключался свой особый, суровый стиль, напоминавший о севере и снеге, но войска выводились в шинелях. Под их серым однообразным цветом скрывались краски мундирной одежды и полковых отличий. При Александре II это был калейдоскоп сменяющихся ярких пятен — кавалерийских мундиров и пехотных нагрудных лацканов.

Александр III производил парады на Дворцовой площади, против Зимнего Дворца, в январе или в феврале. Редко удавалось подогнать смотр к солнечной зимней погоде и к голубому небу, которое подчеркивало искрящийся снег на крышах и на земле. Чаще небо было серое и вместе с шинелями войск и белыми бликами снега составляло монотонную картину, точно гуашь, написанную на серой бумаге. Только тусклый блеск кирасирских лат и касок оживлял эту строгую картину. Задней декорацией, если смотреть от арки Главного Штаба, было стильное розоватое здание Зимнего Дворца, высокое, все в колоннах, с бесчисленными статуями по верхнему карнизу. Монументальный Царь сидел на монументальном вороном коне и пропускал серые ряды войск мимо гранитного цельного столба Александровской колонны.

Зрелище было величественно, но сумрачно.

Если мороз давал себя знать, офицеры и солдаты имели на голове черные суконные наушники. Иногда шел снег, и тогда вся сцена затягивалась белой сеткой снежных пушинок, которые пухло оседали на плечах и головных уборах парадирующих.

В ожидании приезда Государя войска топтались на месте, согревая ноги.

Николай II отказался от зимних парадов и вернулся к весенним.

Смотры в Высочайшем присутствии производились обыкновенно два раза в год, весной — в Петербурге и в августе — в Красном Селе. Этим последним парадом заканчивался лагерный сбор округа и на нем, кроме гвардии, представлялись армейские полки, зимой расположенные вне столицы. После этого смотра Государь производил в офицеры юнкеров выпускного класса военных училищ.

Случалось, что приезжал с визитом к Царю какой-нибудь монарх или президент союзной французской республики. Тогда устраивался парад еще специально для них.

Плац-парадные преувеличения середины 19-го века или исчезли, или смягчились со вступлением в 1881 году на престол Александра III, который не любил церемоний и стремился к здравым упрощениям.

Так упразднилась явка Государю после смотров ординарцев от шефских полков, офицеров и солдат. Называлось это « подходить на ординарцы ». Наряд выстраивался в шеренгу, и затем люди, по очереди, подходили к Царю и рапортовали о своем назначении на это дежурство. Последнее было фикцией, так как после явки все эти предполагаемые ординарцы освобождались. Но у Александра II был острый глаз, и беда, если в одежде или в пригонке аммуниции оказывалась какая-нибудь неисправность. Гуманный Царь из своего раннего военного воспитания николаевской эпохи вынес любовь к мундирам и к внешним мелочам формы одежды. Ни при ком она так часто не менялась, как при Александре II. За переменами трудно бывало уследить. Сложили анекдот про двух офицеров, шедших по улице и встретивших монарха. Один из офицеров отдал ему честь. « Ты с ним знаком? » спросил другой. « Нет, но я отдал честь на всякий случай : как знать, может быть — это генерал ».

Само собою разумеется, что чины, наряжавшиеся « подходить на ординарцы », выбирались из наиболее видных и ловких, но и их предварительно долго натаскивали в полках, чтобы порадовать зоркий глаз Государя и уже ни в коем случае его не разгневать. На-

чиная с 80-х годов отпала необходимость в этом особом отделе тренировки.

Отпали постепенно и другие строевые ухищрения и сноровки, на которые больше не стало спроса. Перестали развинчивать гайки на ружье, чтобы ружейный прием производился со звоном и треском; упростили самые приемы и их число. Для парадного отдания чести из существовавших двух приемов оставили один и т. п.

В этом смысле отказа в строю от всего лишнего и бесполезного, лишь усложнявшего обучение, Россия опережала другие европейские армии. Несмотря на то, что мы многое заимствовали от Пруссии, крайности прусской плац-парадности и военного автоматизма у нас не прививались. Царствования же двух страстных поклонников прусской военной системы и вычурной муштры Петра III (1762) и Павла I (1796-1801) оказались слишком короткими, чтобы эти приемы пустили глубокие корни. Поэтому мы не усыновили знаменитого прусского « гусиного » шага для прохождения на парадах, с неестественно-бессмысленным вытягиванием ноги и прихлопыванием, или шага с еще менее понятным поднятием колен. Очень умеренное подобие « гусиного » шага применялось в мое время только для обучения новобранцев маршировке вообще; шаг этот так и назывался « учебным », но и им не злоупотребляли.

Поворот кругом как на месте, так и на ходу, у нас производился естественно, применительно к тому, как люди поворачиваются кругом в обыденной жизни.

Было странно увидеть впоследствии в Англии, вплоть до сороковых годов 20-го столетия, всевозможные архаические военные приемы, сохранившиеся со времени двух прусских Фридрихов 18-го века. И даже, вероятно, еще более утонченные : деревянный « медленный » шаг для торжественных случаев; повороты в три счета с поднятием колен; ружейные приемы со звонким пристукиванием и с длинными паузами между движениями. И много всякого нарочитого, во имя красоты и отчетливости, прихлопывания ногами и руками.

Мне пришлось наблюдать даже удар штыком в соломенное чучело, разделенный, в целях учебной четкости, на несколько искусственных приемов! Это там, где все дело в порыве, в разбеге и в силе размашистого удара « от сердца »!

Но и в России уцелело нечто с 18-го века : отдание чести с остановкой « во фронт ». Солдат, встретив любого генерала или одного из своих ближайших (или « прямых ») начальников-офицеров (ротного, батальонного, полкового командира) должен был, если шел без винтовки, остановиться за три шага, повернуться « во фронт » и, таким образом, пропустить начальство, держа руку у головного убора. До середины 19-го века головной убор для отдания чести снимали.

Упорно добивался отмены салютования с остановкой генерал Скугаревский в 90-х годах, — писал на эту тему рапорты и статьи. Но так и не пересилил инерции.

Летние занятия петербургского гарнизона и, вообще, войск всего округа производились, как уже об этом упоминалось, в большом лагере под Красным Селом. По железной дороге оно отстояло к югу от столицы всего в одном часе езды.

Лагерь, основание которого относится ко второй половине 18-го века и к царствованию Екатерины II, делился мелкой речонкой Лиговкой на так называемый Авангардный, на западном ее берегу, и на Главный — на восточном. Оба эти лагеря были разбиты примерно параллельно друг другу и вдоль течения Лиговки.

Авангардный лагерь примыкал к южной окраине Красного Села и как бы являлся его продолжением. « Передняя линейка » или фронт лагеря смотрел на огромное Военное поле, на открытой площади которого можно было производить ученье нескольким дивизиям; в хитрых мягких складках его в те времена, до появления аэроплана, могли укрываться и незаметно передвигаться крупные войсковые колонны и боевые порядки. Единственными местными предметами являлись, в центре поля, Лабораторная роща, обнесенная рвом, и знаменитый Царский валик; у последнего обыкновенно находился Государь во время смотров, и эта маленькая насыпь служила путеводной звездой для сноровистых тактиков во время маневров в Высочайшем присутствии. Одинокую Лабораторную рощу постоянно кто-нибудь атаковал или оборонял.

В самом Красном Селе, в деревянных зданиях были с удобством расположены все старшие штабы и войсковые начальники. Главная улица, широкая и прямая, представляла собою хорошо содержавшееся шоссе, обильно обсаженное березками. Постройки и летние дворцы имели довольно нарядный характер, и при них были сады; это придавало Красному Селу вид благоустроенного дачного поселка, которым на время завладели войска.

Авангардный лагерь отличался от Главного тем, что в первом не только офицеры, но и все солдаты размещались в деревянных бараках, длинных, одноэтажных; в Главном же лагере солдаты жили в холщевых палатках, белые квадратики которых выглядывали из разросшейся березовой рощи, в свое время нарочно посаженной для защиты лагеря от умеренного северного солнца и еще более от дождя — этого частого гостя петербургского климата. Внутри некоторых палаток, например, фельдфебельских, был приспособлен домик, составлявшийся из деревянных щитов. Такой же фальшивой палаткой была дежурная на передней линейке около фронтового полкового караула.

За солдатским лагерем пролегало широкое, прямое шоссе, носившее название «средней» или «офицерской» линейки. Вдоль этой дороги были расположены офицерские бараки — дачи. За ними — разные полковые учреждения, солдатские столовые и офицерские собрания.

Впереди Главного лагеря, вместо беспредельного Военного поля, измученного постоянным топтанием людей и лошадей, был зеленый луг, который спускался узкой полосой к руслу Лиговки и к шедшей вдоль него линии железной дороги. На этом лугу хватало места только для строевых занятий пехоты, силою не больше полка. Зато большое пространство открывалось позади лагеря. Это было осушенное болото, плоскостью которого воспользовались, чтобы устроить здесь стрельбища на все дистанции, требовавшиеся уставом.

Таким образом, в тылу Главного лагеря постоянно раздавались ружейная трескотня и разные стрелковые сигналы, подаваемые пехотным горном. Пулеметы тогда еще не народились.

Для стрельб с тактическим маневрированием су-

ществовало другое осушенное болото — Гореловское, прилегавшее своим тылом к северной окраине Красносельского лагерного прямоугольника. Отсюда роты и батальоны неизменно двигались, со стрельбой, на север вдоль петербургской дороги. На их пути заблаговременно расставлялся деревянный противник, мишени, изображавшие то лежащую цепь, то резерв, стреляющий « с колена », то далекие резервы, стоящие откровенно во весь рост. Это подражание настоящей пехотной огневой атаке, с боевыми патронами, требовало довольно сложной подготовки и тщательного оцепления обширного района, чтобы пресечь всякую возможность потерь среди местного населения. Последнее, впрочем, наизусть знало Красносельские военные распорядки и хорошо применялось к ним. Я не помню несчастных случаев.

На противоположном, южном конце лагеря, между Авангардным и Главным, находилось Дудергофское озеро, на котором катались в лодках, среди камышей, юнкера военных училищ. Над озером возвышалась лесистая Дудергофская гора, в крутых складках и в густой зелени которой скрывались многочисленные дачи. Тут жили, большей частью, семьи офицеров, отбывавших лагерный сбор под Красным Селом.

Наконец, прямоугольник как бы замыкался с юга Кавелахтским кряжем, по которому тянулась длинная деревня этого названия. Кавелахтские высоты, как и Дудергофская гора, постоянно фигурировали в заданиях для войсковых маневров, являлись частью цельных действий и создали шаблоны, получившие кличку « Дудергофской » или « Кавелахтской » тактики. Горе было тому неопытному смельчаку, который, командуя отрядом, претендовал на оригинальность, и сбивал остальных участников с раз навсегда пробитой колеи!

В Авангардном лагере располагались гвардейские стрелки, армейские полки округа и военные училища. В Главном — с севера на юг — 1-я, 2-я гвардейские пехотные дивизии с их артиллерией, Офицерская стрелковая школа (к которой причислялся крошечный лагерь роты Пажеского корпуса) и финские стрелковые батальоны.

Последние, пока еще не были уничтожены, представляли для своих лагерных соседей в Красном Селе

любопытное зрелище. Они прибывали по очереди из Финляндии, в числе двух, на вторую половину сбора, когда начинались занятия батальонами и полками. Солдаты были маленького роста, некрасивые и неказистые, известного « чухонского » типа, но поражали дисциплиной, выправкой и отделкой во всех мельчайших подробностях строевого устава и снаряжения. Мы, пажи, выходили специально на переднюю линейку, чтобы подивиться изумительной отчетливости ротного ученья финнов. Только что был принят новый пехотный устав, обязательный и для финских войск; усвоили они его также в совершенстве. Ломка фронта и эволюции производились образцово, с каким-то особым спокойствием и уверенным достоинством. Даже тогдашнее, неблагодарное для военной нарядности мешочное снаряжение пехотинца, сменившее ранцы и пригонявшееся у пояса и около бедер, выглядело на этих аккуратных солдатиках красиво.

Немногие из них умели говорить по-русски, но все команды подавались на русском языке, конечно, с сильным акцентом.

Было очевидно, что финляндцы дорожили и щеголяли своей маленькой армией, состоявшей, помнится, всего из одного драгунского полка и девяти пехотных батальонов, без артиллерии *).

Вся кавалерия Красносельского сбора была расквартирована по окрестным деревням, раздвигая, таким образом, диаметр всей лагерной площади на несколько миль. Деревни эти можно было отличить издалека по длинным шестам вдоль домов и на ближайших горках. На некоторых из них были соломенные украшения, кисти которых качались по ветру. На других — сигнальных — солома зажигалась в случае тревоги, и тогда ка-

---

*) Покровительствовала финской армии Императрица Мария Федоровна — скандинавская принцесса, а через нее и Александр III. Вскоре после его кончины, при Николае II, финская партия независимости проявила такую агрессивность по адресу суверенной России, что вызвала уничтожение финской армии, дарованной Финляндии, этого готового кадра для армии сепаратистов. Вообще, во внутренних отношениях царской России и Финляндии первая охотно давала и охраняла права и автономию второй, а эта вторая платила России упорной и тупой ненавистью.

валерийские квартиры сразу оживали в лихорадочной деятельности.

Лагерный сбор делился на две неравные части : с начала мая по середину июля шли мелкие строевые занятия и стрельба, а остальные три-четыре недели отводились на тактические упражнения, кончавшиеся большими маневрами.

Этот переход от одного типа занятий к другому носил название « перелома ». Он приходился в мои первые годы офицерской службы на день именин Главнокомандующего Великого Князя Владимира Александровича — 15-е июля. В этот день и два следующих дня объявлялся общий отдых.

Затем в лагерь водворялось все старшее начальство, которому до того было мало непосредственного дела, а Главнокомандующий производил объезд войск.

Он начинался из Красного Села, откуда Великий Князь верхом, со своим штабом ехал шагом вдоль Авангардного лагеря, переезжал у Дудергофского озера через речку Лиговку к левому флангу Главного и следовал вдоль передней его линейки, заканчивая объезд на правом фланге, в лагере лейб-гвардии Преображенского полка.

Люди выстраивались перед своими лагерями длинным развернутым строем, без оружия. Только полковые и батальонные командиры с их адъютантами были верхом.

Великий Князь здоровался, солдаты отвечали. В приветствии полковых командиров у Владимира Александровича была своя манера : он прикладывал руку к большому козырьку своей фуражки и произносил могучим басом : « Командиру полка мое высокое почитание! »

Выделяя его во всеуслышание этим особым приветствием, Великий Князь подчеркивал важную роль и значение командира полка в военной иерархии.

Спустя несколько дней после объезда Великого Князя производился Высочайший объезд; порядок был тот же, но Государя сопровождала Императрица в ко-

ляске и свита и торжественность была больше и заканчивался объезд зорей с церемонией.

Затем всеобщий разъезд и расхождение. Государь с Государыней уезжают в коляске (впоследствии — в автомобиле) под громовое « ура » офицеров, теснившихся толпой около самого экипажа.

Краски в небе потухли. Потянуло холодком и сыростью с Лиговки. Надвинулась ночь. Повсюду зажглись огни, как желтые звездочки. На зеленоватом небе в виде контраста заблестела серебром первая звезда.

В глубине полковых лагерей — музыка и веселые голоса. Это офицеры угощают своих гостей, которых они пригласили на « зорю с церемонией ».

В солдатских палатках, то тут то там, раздаются хоровая песня, треньканье балалайки, залихватские аккорды гармоники. На передней линейке вдруг, поднимается передача протяжным голосом, от одного дневального « гриба » к другому, приказания : « Дежурным и дневальным надеть шинели в рукава — а — а... ».

Через какие-нибудь полчаса все замрет и притихнет в березовых рощах, скрывающих солдатские палатки.

И лишь из офицерских собраний и бараков будут еще доноситься взрывы смеха и звуки музыки, досадно перебиваемые заздравными « тушами » или полковыми маршами.

Скоро и музыкантов прикажут отпустить по палаткам. Сырость, темнота и молчание окутают лагерь. Вот она, красносельская ночь. Здоровый молодой сон обитателей лагеря охраняется невидимыми дежурными и дневальными. Их силуэты то неподвижно стоят у своих « грибов », сливаясь с ними, то печально маячат в ночном тумане.

Шесть лет моей строевой службы до поступления в Академию протекли в ровных условиях тогдашней рутины; можно сказать словами казенного рапорта, что за это время « никаких происшествий не случилось ». Но на второй год моей службы пришлись два события, которые всколыхнули все же зыбь полковой жизни : отправка двух первых батальонов на торжества корона-

ции в Москву и празднование полком 100-летнего юбилея.

Коронация состоялась в мае 1896 года, а юбилей — в ноябре того же года.

Так как я состоял тогда в 5-ой роте и, следовательно, во 2-ом батальоне, то попал в московский отряд. Мы прибыли в первопрестольную столицу 22 апреля.

От коронации остались воспоминания о стоянии шпалерами 9 мая при въезде Царской четы со всей огромной свитой в Кремль и о шествии 14 мая Государя с Государыней, под балдахинами, из старого Кремля с Красного крыльца в Успенский собор для коронования и обратно.

Все это было в свое время описано и напечатано; уголок того, что я видел, слишком скромен, чтобы прибавить какие-нибудь новые черты к официальным описаниям. Очень много всякого золота : старинные золоченые кареты, парча и позументы, сплошное шитье на бесчисленных придворных мундирах; разноцветные ленты, звезды, ордена; красные ковры; псевдо-русские дамские придворные туалеты, тяжелые, с длинными шлейфами; смесь французских фасонов эпохи Людовика XV с намеками на русские боярские костюмы 17-го века; серебро, золото и разноцветный бархат; русские кокошники с длинной фатой и низкое французское декольте, от которого содрогнулся бы москвич времен первых Романовых, предков Петра Великого. Блеск на ярком солнце изумительных по чистоте и величине бриллиантов и других « самоцветных » камней — странное зрелище днем, не при искусственном освещении. Полюбоваться на то, как эти драгоценности искрились и переливались в свете электричества на вечерних приемах в залах Кремлевского дворца мне не удалось, так как я не попал в число тех немногих офицеров, которые были назначены на коронационные балы от полков, не считавшихся придворными. Пригласить всех или многих было и невозможно : не хватило бы места.

Запечатлелись в памяти Государь и Государыня, медленно идущие под балдахином из золотой парчи по специальным мосткам, проложенным до собора от исторического Красного крыльца, с которого русские цари и царицы традиционно кланялись народу : истово, в пояс и на три стороны. Они идут в коронах, под бреме-

нем тяжелых и широких порфир, отделанных горностаем; кажется, что и эти порфиры и короны, особенно — слишком большая, неуклюжая корона Императора, давят, и что именно потому венценосцы едва передвигают ноги. К довершению всего в руках у Государя — в одной — массивный шар «державы», в другой — скипетр.

Выражение лиц у них серьезное, сосредоточенное, драматичное. Государыня величественна и очень красива; правильные, строгие черты ее лица и высокий рост побеждают все необыкновенные детали необыкновенного театрального наряда.

Под множеством алмазов массивной короны лицо Государя бледно мертвенной, усталой белизной.

Из какой европейской империи заимствовал эту дорогую и непонятную модель короны Петр Великий, сменив на нее «шапку» Мономаха?

«Тяжела ты, шапка Мономаха», говорит Борис Годунов у Пушкина про трудности царства. Но сама шапка, отороченная соболем, была легкой и мягкой. Непомерно тяжелой кажется новая, Петровская корона, такая огромная, сплошная, негибкая.

Балдахин несут старшие генерал-адъютанты и несколько высших сановников государства. Среди них есть глубокие старики, которые с трудом держат золоченые шесты, на которых покоится и колышется увесистый парчевый балдахин. Юноши — камер-пажи (годом младше меня, всех узнаю) идут тут же и помогают старикам.

Шествие под балдахином замыкает коронационную процессию. Длинная вереница всевозможных мундирных чинов, следуя торжественным шагом, уже прошла в собор. По всем придворным церемониалам всегда «младшие впереди».

О торжественных приемах, обедах, балах, которые состоялись после коронации, строевые офицеры, наводнившие первопрестольную столицу, узнавали лишь из газет и со слов знакомых очевидцев или более счастливых товарищей. В остальном наши личные впечатления остались уличными, запечатлевшимися либо в свете яркого майского солнца, ни разу не изменившего церемониалу, либо в огнях городской иллюминации. Последней Москва захотела отличиться, и участники корона-

ционных празднеств прошлого царствования должны были признать, что масляные плошки, шкалики, стаканчики, транспаранты и примитивные факелы 1883 года, несмотря на изобретательность декораторов, уступали уверенному блистанию мириад разноцветных электрических лампочек, протянувшихся по контуру Кремля, дворцов и главных улиц. На фоне глубокого черного неба эти огни вырисовывались и играли, как алмазы, рубины и изумруды на черном бархате. Особенно красива была статная колокольня Ивана Великого, протянувшаяся над Кремлем далеко ввысь своим архитектурным рисунком, как будто начерченным бриллиантами. Хороши были и набережные реки Москвы, в темной воде которой дрожали, встречались и расходились бесчисленные огни.

К уличным воспоминаниям можно отнести и караул, который пришлось занимать 5-ой роте лейб-гвардии Егерского полка в большом Кремлевском Дворце. Караул этот был со знаменем и соответствовал внешнему караулу Зимнего Дворца в Петербурге. То, что в этот наряд была назначена именно 5-я рота, показывает, как полковое начальство доверяло строевым достоинствам В. З. Гудимы.

Испытание оказалось основательным, так как караул часто вызывался на платформу; один раз, между прочим, для местного фотографа, который увековечил нас в строю для отдания чести.

Наконец, уличным воспоминанием были и подводы, которые в день народного праздника на Ходынском поле тянулись по Садовой улице, мимо Спасских казарм, где лейб-егеря были гостями ростовских гренадер. Мы вышли взглянуть на эти телеги; они были покрыты какими-то одеялами и рогожей, а из-под них торчали закостенелые руки и ноги.

Это было первое подтверждение смутного в то утро слуха, что на рассвете на Ходынском поле, куда заблаговременно, еще в полутемноте, хлынула огромная толпа, произошла катастрофическая давка и что при этом погибли тысячи людей *).

---

*) Идея этого массового парадного гулянья — тысяч на двести — вообще была несчастной и плохо удавалась и в прежние царствования. Так, в 1856 году, в дни коронации Александра II,

Слово « Ходынка » сделалось впоследствии в России нарицательным для определения всякой беспорядочной и безумной давки; для нового же царствования этот ужасный случай, омрачивший коронование, показался зловещим предвестником дальнейших несчастий и катастроф.

Войскам, скопившимся в Москве, делать, в сущности, было нечего. Они отстояли свои шпалеры, изредка от них назначались караулы в помощь постоянному московскому гарнизону, и оставалось только готовиться к общему параду в Высочайшем присутствии. Этим смотром заканчивались коронационные торжества.

С солдатами, чтобы они не разбалтывались, производили легкие занятия и, конечно, практиковали прохождение церемониальным маршем. Но после обеда, примерно после часа дня, обыкновенно все бывали свободны, и офицеры, за исключением дежурных по отряду, могли располагать временем по своему усмотрению. Для удешевления стола при батальонах состояло отделение полкового офицерского собрания; таким образом офицерам не было нужды питаться в ресторанах; но Москва в этом смысле представляла такие соблазны, известные всей России, что трудно было не поддаться им. Мы группами совершали экспедиции, чтобы отведать ухи с растегаями у Тестова, стерлядей или осетра в Большом Московском трактире, заливного поросенка в Эрмитаже. И, разумеется, всевозможных закусок, в особенности рыбных, возглавляемых свежей зернистой икрой, присыпанной зеленым лучком, продолжаемых семгой, таявшей во рту, горячей селянкой в сковородке и т. п., запиваемых ледяной водкой — знаменитой Смирновкой № 1.

Не-москвичи имели возможность познакомиться с типичными чертами московского трактирного быта : с « половыми », парнями, одетыми в белоснежные рубахи, с малиновым пояском, и в белые длинные брюки; с их

на Ходынском поле тоже получился большой беспорядок, толпа жадно набросилась на угощенье и подарки, все расхватала и варварски разрушила прилавки и будки. Хотя все кончилось на тот раз без жертв, но шедший дождь испортил продукты, приготовленные для угощенья, и очень многие, вероятно, по возвращении домой, заболели.

прической в «скобку» по-крестьянски; с огромными порциями, которые были слишком обильны для одного человека и которых хватало, с лихвой, на двоих. Это предупредительно объяснялось и в меню, где указывались цены полной порции и полупорции.

Побывали мы также и в общественных банях, считавшихся роскошными сравнительно с петербургскими.

Все вообще в Москве, казалось, было приспособлено ко вкусу и традициям купечества, именитого, среднего и мелкого. Характер трактиров, чайных, бань и т. п. оставался тем же, но размах соответственно сокращался.

Побывали мы, конечно, на Воробьевых горах, чтобы посмотреть, как Москва представлялась с них Наполеону; в интересном доме первых Романовых (вне Кремля); в Третьяковской галерее; в храме Христа Спасителя (теперь снесенном); в лабиринте двенадцати часовен, скрывающихся под пестрой флорентийско-азиатской скорлупой Василия Блаженного; побродили по набережным реки Москвы, по Красной площади, по Китай-городу; поглазели, в который раз, на Царь-колокол и Царь-пушку; поставили свечки у Иверской чудотворной иконы; прошлись мимо роскошных магазинов лучшей улицы, сохранившей название бывшего здесь когда-то Кузнецкого Моста, и постояли на ее противоположении — на простонародном рынке у Сухаревой башни. Вообще, отдали должное матушке Москве. Но петербуржец никогда не мог понять, что можно было находить привлекательного или интересного в длиннейшей, грязноватой и скучнейшей Тверской улице, официально считавшейся главной.

26 мая состоялся, наконец, прощальный парад войскам. После этого начался всеобщий разъезд. Полк вернулся в Петербург 4 июня но я лично, вследствие схваченной простуды, должен был уехать из Москвы раньше и не смог даже принять участия в смотре.

Как бы то ни было, все мы отбыли коронацию и заслужили, в ее воспоминание, серебряную медаль на бледно-голубой ленточке.

. . . .

По возвращении в Петербург в полку могли сосредоточиться на подготовке к столетнему юбилею, до которого оставалось всего пять месяцев. В этой подготовке была отведена роль и мне, несмотря на то, что я отбывал лишь первый год своего офицерства.

Кроме хозяйственных хлопот, связанных с улучшением скудной до того обстановки офицерского собрания, на офицеров неожиданно выпала забота по срочному составлению и изданию к юбилею истории полка. Материалы к ней начали собирать после войны 1877-78 гг., но решили приступить к обработке их лишь в 1893 году, за три года до юбилея. Написать историю взялся полковник Генерального штаба Н. А. Орлов, профессор Академии, составивший себе имя как военный писатель. В полку офицеры познакомились с ним, когда он отбывал в нем ценз летнего командования батальоном; они были подкуплены жизнерадостностью и видимым талантом этого круглолицего и румяного человека в баках и с наружностью ярославского мужичка себе на уме. Между прочим, он был неподражаемый рассказчик и увеселял офицеров после хорошего обеда пикантными анекдотами, запас которых у него казался неистощимым.

В результате своей популярности, Орлов получил предложение написать историю полка. Охотно согласившись, он назначил размер вознаграждения — 3.000 рублей. В его распоряжение дали офицера для дальнейшего собирания архивных материалов. Офицер этот переходил из одного архива в другой, ездил в Москву, где хранились многие документы, вообще усердно работал. Другой офицер не менее усердно приступил к рисованию форм одежды полка за сто лет. Но после заключенного условия прошло два года, а Орлов не начинал писать историю. В полку затревожились. Образовали историческую комиссию, которая потребовала от Орлова отчета в том, что им сделано. Оказалось, что к началу 1896 года у него была готова лишь первая глава истории. Другие он поручил составить своему помощнику по собиранию материалов. Это был поручик А. П. Косаговский. Времени, однако, оставалось так мало, что Орлов попросил дать ему еще помощников. Дали еще двух офицеров, которые состояли тогда в Академии, а затем прибавили еще трех из строя. Первым из этих по-

следних еще в декабре 1895 года был назначен я. Предполагалось, что мы будем собирать материалы и передавать их для обработки Орлову.

Однако последний в высшей степени упростил свое участие в деле. Когда мы докладывали ему, что выполнили свою задачу по отношению к заданной нам главе истории, он говорил : « Ну, вот и отлично. Теперь приступайте к писанию ».

Помню, я поразился такому доверию к моим писательским способностям, — я едва сошел со школьной скамьи, но возражать не приходилось. Написав часть главы, я принес ее Орлову на показ. Он предложил мне прочесть написанное вслух, сделал два замечания и опять сказал : « Ну, вот и хорошо. Продолжайте дальше ». Так же поступал он с работами и остальных авторов.

Стало совершенно очевидно, что история будет составлена при таком порядке не Орловым, а группой офицеров полка и что единственная глава, принадлежавшая перу Орлова, не могла дать ему право называться автором истории полка.

Снова призвали Орлова в историческую комиссию под председательством самого командира полка и объявили, что невыполнение им условий договора заставляет полк отказаться от его дальнейших услуг.

Случился этот разрыв вскоре после коронационных торжеств, и времени впереди было так мало, что являлся вопрос : возможно ли вообще успеть закончить и издать историю к ноябрю?

Но это чудо мы совершили благодаря А. П. Косаговскому, взявшему на себя львиную долю работы, и его энергии, двигавшей всех сотрудников.

Сотрудники были в значительной степени освобождены от занятий. Для написания ответственного периода участия полка в войне 1877-78 гг. и в бою под Телишем очень удачно пригласили талантливого подполковника Генерального штаба Е. И. Мартынова (который потом тоже, как и Орлов, командовал у нас для ценза батальоном). В какие-нибудь два-три месяца Мартынов отлично справился со своей задачей, представив дельное, исчерпывающее и живо написанное военно-научное исследование.

Напряженно трудились и все остальные. Целые

дни, особенно зимой, проводил я в архивах штаба Гвардейского корпуса, в Публичной библиотеке. А вечерами писал, рисовал виньетки, держал корректуры как своих глав, так и приложений к истории, вроде, например, списков офицеров полка за 100 лет.

Б. А. Чемерзин лихорадочно заканчивал свои рисунки форм пером. Н. Н. Бунин рисовал виньетки и обложку для истории. П. А. Тихонович — изумительный чертежник — чертил планы сражений.

Лично на мою долю выпали две главы истории : время царствования Александра I после Отечественной войны и Александра II с начала до войны 1877-78 гг., исключительно.

Какова была спешка показывает то, что к середине августа смогли отпечатать только 13 печатных листов из 66, приходившихся собственно на текст, не считая приложений, и что последняя напечатанная страница, предисловие к истории, помечена 4 ноября. А юбилей должен был праздноваться 9-го, то есть через пять дней! Оставалось еще сброшюровать издание и переплести. Удалось и это сделать вовремя.

Получился увесистый том большого формата, с золотым обрезом и в красивом переплете с отлично исполненным рисунком нового юбилейного знамени, включенного в воинскую арматуру. Многочисленные планы и карты были выделены в особую дополнительную папку.

При нарядной внешности, множестве иллюстраций, красивой бумаге история полка оказалась на высоте и по содержанию. При составлении ее был принят научно-исторический метод, клавший в основу, по возможности, первоисточники; текст сопровождался тщательными ссылками; ряд документов был напечатан в приложениях; список офицеров за сто лет не ограничивался сухим перечислением имен лейб-егерей, а сообщал также биографические о них сведения, собирание которых представило немало труда.

Составители понимали, что в условиях чрезвычайной спешки издания были неизбежны недочеты, за каковые и попросили в предисловии извинения у читателей. Но, в сущности, эти недочеты совершенно незаметны, и я теперь, спустя много лет, не нахожу в этом труде особых пропусков, неувязок и ошибок. Ничто не говорит о его поспешности. Наоборот, книга является

превосходным историческим источником и не уступает другим подобным трудам, потребовавшим гораздо больше времени.

Удивительнее всего то, что даже индивидуальный стиль изложения глав, отражающий разных авторов, не нарушил общего единства.

Это последнее достигалось отчасти тем, что главы, составлявшиеся авторами-новичками, по мере их написания громко читались в соединенном заседании сотрудников. Во время таких чтений вносились поправки согласно замечаниям слушателей, и иногда перестраивались целые пассажи.

Главной штаб-квартирой изготовления истории являлся кабинет А. П. Косаговского, который жил в офицерском флигеле казарм на Рузовской улице, одним этажом выше над квартирой, где помещались мы с братом и П. А. Москов. В квартире этой, как и у Косаговского, тоже шла работа, все напряженнее и бойче по мере приближения юбилея; на всех столах тоже лежали исписанные и чистые листы, карты, корректуры; так же часто звонил звонок и денщик появлялся с новым пакетом из типографии; одним из условий нашего конечного успеха было не задерживать корректур и, по возможности, возвращать с тем же мальчиком, который принес их из типографии. Квартирная близость к Косаговскому превратила меня в его помощника по издательским заботам; поэтому мне приходилось ездить иногда в типографию и исполнять другие поручения.

Вспоминаю с удовольствием весь этот кипучий период, оторвавший меня временно от роты и от строя, но окунувший в литературное и печатное дело. Я открыл в себе, между прочим, настоящее призвание корректора! Глаз мой ловил самую хитрую опечатку, скрывшуюся под видом похожей буквы или цифры. Чтение длиннейших корректур никогда меня не утомляло, скорее занимало. Косаговский скоро уверовал в мою надежность по части сличения пробных оттисков с подлинниками и в мое искреннее отвращение к мелким опечаткам, сохранившееся, кстати, и по сей день. Поэтому я сверял не только свои собственные рукописи, но и держал почти все последние корректуры, уже в гранках. Я всегда находил в них ошибки, пропущенные авторами в прежних корректурах.

Вспоминаю появление ранним утром в зимние, холодные дни в дверях моей спальни А. П. Косаговского — в пальто с башлыком и в фуражке. Девять часов утра; он уже отправляется на работу в какой-нибудь архив или в библиотеку, а я еще сплю крепким сном 20-летнего подпоручика.

Сквозь сон все же сначала слышу в соседней комнате знакомый басок Косаговского, который спрашивает моего денщика. « Встал ли твой барин? » Узнав, что денщику не удалось побудить своего барина к вставанию, Косаговский отправляется сам на подмогу. И вот — в дверях в виде упрека стоит высокая и худая его фигура.

Как когда-то старик Довяковский будил кадета 3-го класса фразой « Борис, со сном борись! », так теперь Косаговский говорил строгим тоном и коротко : « Бобка, лентяй, вставай! »

Вставать было холодно и противно, но Бобка покидал свою походную койку и собирался в дорогу, в тот или другой архив...

Приятны были вечера у Косаговского, когда мы слушали новую главу истории. Впоследствии эти деловые заседания в уютной атмосфере небольшого кабинета, обставленного стильными старинными вещами, за чаем, подаваемым в хороших чашках, превратились в еженедельные литературные собрания. Когда покончили с полковой историей, читали чьи-нибудь произведения : прозу, стихи, исторические отрывки. На огонек этих суббот приходили проветривать свой интеллект не одни бывшие сотрудники по истории полка, и вокруг нашего ядра вскоре образовался небольшой литературный кружок.

Памятно было появление в свет, наконец и к сроку, объемистого тома полковой хроники, плода дружных, совместных трудов нескольких офицеров. « Ну, вот это егерство! », сказал бы бывший командир Х. М. Долуханов.

Два слова о настоящей душе этого достижения — Александре Павловиче Косаговском.

Он был сыном известного гражданского админи-

стратора конца царствования Александра II, занимавшего одно время должность полтавского губернатора, славившегося своим остроумием. Косаговский — лейб-егерь — унаследовал от отца его качества.

Выйдя в полк из Пажеского корпуса в 1892 году, Александр Павлович быстро занял среди офицеров положение умного барина. С уравновешенным мнением его начали считаться в первый же год его службы, а на второй — привлекли к работе по истории полка и по устройству полкового музея. Косаговский и физически никогда не выглядел молодым — это вязалось с его размеренною, внушительною речью, точно человека, умудренного длинным жизненным опытом. С одной стороны, офицеры отдавали должное его быстрому живому уму, с другой — побаивались его язвительного языка. Меткие его замечания и остроты сейчас же становились широко известными.

Он был довольно хорошо начитан; владел иностранными языками, французским — отлично; имел недурные способности и по математике. Все как будто указывало на то, что Косаговский пойдет в Академию, легко ее кончит и обеспечит себе более или менее видную карьеру, быть может ученую. Нельзя было сомневаться в его амбиции и честолюбии, а также в упорстве, которое он доказал в деле издания истории полка.

Но он остался в полку и в течение 25 лет, вплоть до революции, тянул лямку строевого офицера, дослужившись до скромной должности батальонного командира.

Мы встретились с ним в боевых условиях, в 1915 г., когда он временно командовал лейб-егерями, а я — измайловцами; затем — в последний раз, мельком, в 1917 г., после большевистского переворота, когда ему пришлось ради куска хлеба принять какую-то должность в Красной армии.

Во время войны Косаговский показал себя хорошо, заслужив ряд наград и репутацию спокойного, распорядительного и мужественного начальника.

Он скончался в Советской России в 20-х годах, кажется, в Курске.

День юбилея, как было сказано выше, приходился на 9 ноября. Накануне в Зимнем Дворце, в Николаевском зале, состоялась торжественная прибивка нового знамени, а вечером отслужили в полковой церкви св. Мирона панихиду по всем бывшим лейб-егерям, павшим в боях и умершим.

Прибивка заключалась в том, что каждый должен был ударить молотком по одному из очередных гвоздей, которым полотнище знамени прикрепляется к древку. Конечно, оно уже было фактически прибито, но все делали вид, что своим ударом загоняют золоченый гвоздь в дерево. Первый гвоздь вбивал шеф полка — Государь, потом Императрица и члены Императорской Фамилии. После них — все офицеры полка, начиная с командира.

На другой день был парад в Михайловском манеже и церемония пожалования юбилейного знамени, когда Государь, после молебна, вручал знамя командиру; последний должен был стать на одно колено, принимая « полковую святыню », как мы называли и как действительно чтили эту эмблему.

Старое знамя как бы увольнялось на покой. Да и была пора : от шелкового полотнища оставались одни лохмотья. Теперь отслужившее знамя будет стоять в полковой церкви, на амвоне, против алтаря.

Зато юбилейное знамя было великолепно, — одно из первых этого рода, пожалованных по новому рисунку. На одной стороне — образ масляными красками святителя Мирона (работы своего офицера Н. Н. Бунина), на другой — шитый золотом массивный вензель Николая II. Все края тоже зашиты золотым узором. Под массивным двуглавым орлом, венчавшим древко, подвязаны ленты — голубая андреевская, юбилейная, и георгиевская, пожалованная за Бородино.

Темно-зеленый шелк полотнища, по цвету четвертого полка, сложен вдвойне. С массою золотого шитья это делало полотнище тяжелым; носить в распущенном виде его было труднее, чем старое знамя, и знаменщика нужно было выбирать из очень сильных и ловких людей. И сила и сноровистость требовались в особенности при салютовании знаменем Государю, когда полагалось его опустить к земле, а затем снова поднять либо в вертикальном положении (стоя на месте), либо положив на левое плечо (на ходу).

Знамя выглядело щегольски, пока оно было новехонькое. В 1916 году, во время войны, я видел его в последний раз на полковом празднике. За двадцать прошедших лет оно хоть и не превратилось в лохмотья, все же потеряло нарядность. Шелк заметно износился и полинял; шитье почернело и в некоторых местах, вследствие своей тяжести, слегка свисало с ослабевшего полотнища.

После парада полк вернулся в казармы, где для солдат было устроено праздничное угощение, а офицеры и все старые егеря получили приглашение на завтрак в Зимний Дворец.

Здесь, по заведенному порядку, провозглашались тосты, гремела музыка, кричали « ура », а затем в соседнем небольшом зале Государь и Государыня обходили офицеров и с некоторыми разговаривали.

Государь в этих случаях, казалось, всегда смущался, поглаживая задумчиво свои усы, играя кольцом на руке и делая большие паузы между вопросами. Соображая, что бы спросить, он смотрел немного в сторону и вверх. Но это едва ли был взгляд рассеянного по природе человека. Наоборот, Государь был чрезвычайно наблюдателен и все замечал, хотя этого на людях и не показывал.

Во время обхода он нарочно долго разговаривал с Чекмаревым, как представителем полка, но последний не умел навести Государя на ту или иную тему — припомним тяжеловесную, медвежью натуру Чекмарева — и потому беседа не клеилась. За короткими ответами командира следовали особо длинные паузы в духе неловкого молчания. Наконец Государь спросил :

— А я слышал, что у вас сегодня вечером состоится в полковом собрании ужин со старыми егерями?

Действительно, такой ужин был назначен на 9 или 10 час. вечера и на него, кроме прежних офицеров полка, было приглашено все гвардейское начальство и командиры всех гвардейских полков.

Чекмарев ограничился унтер-офицерским ответом : « Так точно, Ваше Императорское Величество! ». Государь, чуть-чуть улыбнувшись, сказал :

— Ну, желаю вам весело провести время, — и отошел к следующей группе офицеров.

В полку потом возмущались несветскостью Чекма-

рева, который, думали мы, упустил случай пригласить шефа полка на наш интимный ужин.

Правда, Государь мог от приглашения уклониться под предлогом, который не трудно было бы найти, не обижая полк; но, с другой стороны, вышло так, как будто бы присутствие самого важного старшего егеря на юбилейном ужине было нежелательно!

Забегая вперед, скажу, что впоследствии, после русско-японской войны и революции 1905-6 гг., посещения Государем вечерних трапез в гвардейских полках сделались если не частыми, то все же регулярными. Вероятно, Царю хотелось больше приблизиться к гвардии, которая сыграла решительную роль в подавлении мятежей в столицах и в восстановлении порядка. Принимая приглашение полка (обыкновенно такого, где он был шефом), Государь высказывал пожелание, чтобы на ужине не присутствовало никаких посторонних офицеров или начальства. Таким образом, даже офицеры Генерального штаба, командовавшие для ценза ротами или эскадронами в полку, не приглашались на эти ужины. Характер их должен был быть строго семейным, — Государь в стане своего полка.

От полка же исключительно поставлялись и развлечения: оркестр музыки, балалаечники, вошедшие тогда в моду, и песенники.

В этой атмосфере, в которой ни на минуту не ослабевала дисциплина, наоборот, полк старался отличиться выдержкой и подтянутостью, Государь с видимым удовольствием засиживался до поздних часов.

Принял однажды Государь и приглашение лейб-егерей, проведя вечер в их среде в офицерском собрании на скромной Рузовской. Вечер этот оставил памятное впечатление и как бы исправил неловкость, случившуюся в юбилейные дни.

Возвращаюсь к обходу Царской четой офицеров в Зимнем Дворце 9 ноября 1896 года.

Императрица Александра Федоровна никогда не могла побороть своей застенчивости на людях; на втором же году царствования она еще не научилась скрывать свое смущение и еще не овладела как следует русским языком. Было видно, что необходимость быть разговорчивой хозяйкой Императрице в тягость. Как угадать, к кому можно обратиться на придворном фран-

цузском языке или на родных немецком или английском?

Но вот Государыня видит в толпе офицеров знакомое лицо! Это ее первый камер-паж. То же неизменившееся длинноносое, безусое лицо. Это — Геруа, которому она лично вручила не так давно приказ о производстве в офицеры на Царском валике в Красном Селе...

Императрица решительно направилась в гущу офицеров и с милой улыбкой подошла ко мне через образовавшийся коридор.

Она подала мне руку для поцелуя, как это делала в мое камер-пажеское время, и задала два-три вопроса по-французски. Что именно — не помню, но это и не имело никакого значения при обходах. Окружающие отмечали только факт : Царица удостоила улыбкой, разговором, дала поцеловать руку.

Едва Государыня отошла, как около меня оказалась высокая фигура Великого Князя Михаила Николаевича. Раздвинув офицеров, он бодрым военным шагом подошел к этому подпоручику, отмеченному вниманием Императрицы.

— Смотри, не зазнавайся, молокосос, — шутливо — грозно сказал он и крепко взял при этом меня за нос! Очевидно, большой нос мой напрашивался на это проявление дружбы старейшего лейб-егеря. Великий Князь, Фельдмаршал и Фельдцейхмейстер, зачисленный в списки полка со дня рождения, 62 года тому назад, сейчас был в егерском мундире; фамильярный жест его от этого показался милым и товарищеским. Михаил Николаевич, единственный из Великих Князей, продолжал обращаться ко всем на « ты », как это было принято вплоть до царствования Александра III.

Великий Князь спросил затем мою фамилию и пошутил еще.

Столичная стоянка давала возможность офицеру разнообразить свою частную жинзь. В глухих гарнизонах приходилось суживать ее между казармой, офицерским собранием и манежем. Сплетни, служебные разговоры, любовные истории и алкоголь, главным образом в форме водки и пива. Выручали, но не всегда и

не везде, полковые библиотеки, любительские спектакли, какой-нибудь случайный культурный центр, чей-нибудь семейный дом, близость гостеприимного помещика.

В Петербурге все эти элементы были в изобилии. Человек, искавший отдушин в своей жизни чиновника или офицера, мог найти их без труда, применительно к своим склонностям. Книжные и картинные собрания, выставки, музеи, литературные и научные общества, первоклассные театры. При этом легко и удобно было затеряться в большом городе и устраивать свою частную жизнь независимо, по собственному вкусу и по своим средствам.

В первые два-три года офицерства я с усердием предавался танцам, принимая приглашения, в которых никогда не было недостатка в зимний сезон, с декабря и вплоть до Великого поста, в феврале или в начале марта. Гвардейская молодежь вербовалась на балы в частных домах гуртом. Старый знакомый приводил с собою новичков, а те, в свою очередь, сделавшись знакомыми, поставляли новых танцоров. Вследствие этого на каждом большом балу можно было заметить преобладание мундиров того или другого полка. Были дома « семеновские », « егерские » и т. п. Хозяева чаще всего не знали фамилий всех этих офицеров, как и пачек лицеистов, пажей и правоведов, отплясывавших у них в доме.

Офицеры скромных полков вращались в среднем круге петербургского общества. Здесь не было речи об особняках, струнных оркестрах и гастрономических тонкостях угощения.

Обыкновенно полем действия была более или менее просторная квартира с залом, который мог вместить несколько десятков танцующих пар, и с такой же подходящей столовой. Родители, имевшие дочерей на выданье, должны были при найме квартиры принимать все это в соображение.

Съезжались на бал к 12 часам ночи. Только наивные провинциалы принимали за чистую монету час, неизменно указываемый на пригласительной карточке — 9 часов. Дамы старались приехать попозже, считая, « что лучше быть последней, чем первой ».

Внизу, в швейцарской, устраивались раздевальни,

где гости снимали шубы и распутывали свои шарфы. Хорошо, если швейцарская была теплой. При разъезде дамы с открытыми шеями и руками, разгоряченные танцами, подвергались недружелюбным и опасным сквознякам от ежеминутно распахиваемой двери на улицу.

Поднимаясь по каменной лестнице, иногда без ковра, ибо на общих лестницах в Петербурге ковер не был правилом, вы слышали громкие звуки рояля, отчетливо отбивающие ритм вальса или первой « фигуры » кадрили. Бал всегда открывался вальсом. Кадрили — вырождение менуэта — имели шесть фигур, причем танцующие, между выделыванием требуемого па фигур, сидели вдоль стен на стульях и могли разговаривать, если было о чем. Больше всего кавалеры знакомились с дамами во время кадрилей и потом за ужином. Последний подавался часа в три ночи, был обильным и возбуждал новый прилив веселья и энергии. Прилив этот расходовался в заключительной бешеной пляске « котильона » после ужина.

От двух лиц зависел успех танцев : от дирижера и тапера.

В гвардии насчитывалось не много офицеров, завоевавших себе репутацию хороших дирижеров. Во время сезона они были нарасхват, и ими запасались заблаговременно. Помню двух стрелков : адъютанта 1-го батальона Его Величества Тишина и более молодого, всегда немного навеселе, офицера батальона Императорской Фамилии барона Притвица (года на два младше меня по Пажескому корпусу). В Зимнем Дворце в мое время дирижировал лейб-улан Маслов.

Если бы не было кадрилей и котильонов, носивших иногда название « quadrille monstre », не было бы и надобности в этого рода вожаках и танцевальных командирах.

Хороший тапер-пианист должен был слиться с желаниями дирижера и поддавать « жару », когда это требовалось. Но недостаточно было бойко и звонко барабанить по клавишам. Спрашивались также « душа » и музыкальность. Лучшие таперы были виртуозами своего дела, очень много зарабатывали, и заручиться, скажем, Сивачевым или стариком Шмитом было нелегко. Часто

время бала назначалось в зависимости от дня, когда тот или другой были свободны.

В какой степени тревоги и расходы хозяев по устройству балов оправдывались в отношении выдачи девиц замуж, — это вопрос. Я бывал в одном доме, где было три невесты и где приемы ставились щедро и широко. Ни одна из девиц, правда, не блиставших красотой, не нашла себе мужа.

Но какие бы ни были выводы досужего статистика, веселилась на этих балах молодежь искренно, до утра, а родители с неменьшим увлечением играли в карты.

Контраст с этими маленькими, буржуазными танцовальными вечерами представляли придворные балы в Зимнем Дворце.

Здесь были размах и великолепие, которые русскому Двору удалось донести из 18-го века до порога практического, расчетливого 20-го.

На так называемый Большой бал (их бывало два или три) число приглашенных доходило до 3.000. Танцевали в огромном Николаевском зале.

На « Концертные » или Малые балы звали всего около 800 человек. Для танцев предоставлялся сравнительно небольшой концертный зал. Все было интимнее и как будто семейнее. Даже форма одежды указывалась не полная парадная, как для Большого бала; офицеры имели на мундирах вместо эполет погоны, а придворные чины, если не на службе, бывали одеты в мундирные фраки вместо сплошь расшитых золотом кафтанов.

На Малых балах члены Царской Фамилии смешивались с гостями и предавались танцам наравне с ними.

Бал открывался полонезом, под звуки которого в зал входила парами процессия — Государь, Государыни, Великие Князья и Княгини, послы иностранных держав.

На хорах играл чудесный придворный симфонический оркестр, в красных мундирах. Управлял им в то время хорошо известный дирижер Императорской Капеллы Варлих.

Несколько открытых буфетов, шампанское без отказа, роскошные цветы и фрукты, нарядная толпа на фоне величественных зал и в свете хрустальных люстр, переливавшихся сверкающими огнями; близкое присут-

ствие Царя и Царицы; оживление, скованное этикетом и почтительностью, — вот беглые впечатления от придворного бала. И еще, забыл : драгоценные камни. Некоторые парюры, ожерелья, браслеты были те самые, которые блистали на балах и приемах цариц Елизаветы и Екатерины II.

Интересно, оригинально и дорого было сооружение каждый раз особой столовой для общего ужина. Пролет широкой входной лестницы, на высоте этажа, где происходил бал, перекрывался полом, который затягивался темно-красным ковром. Для ужинающих ставились красиво накрытые столы, рассчитанные на 6-8 человек. У стен и всюду между столами — тропические и другие растения — деревья — в кадках. На полу — целые цветочные клумбы. Все это создавало очаровательный зимний сад. В нем чувствовалась и легкая освежающая сырость, даже как будто ветерок. Многочисленные цветы наполняли волшебный висячий сад нежным букетом запахов, которые соперничали друг с другом.

Деревья смягчали блистание люстр и канделябр; игра света и полутеней придавала уют и романтическое настроение. Невидимый струнный оркестр исполнял легкую, но приятную программу, под которую было удобно разговаривать.

Под конец ужина Государь и Государыня — высокие хозяева — медленно обходили столы, останавливаясь у некоторых и приветливо разговаривая с гостями.

Очень было важно запастись милой дамой для ужина и не остаться в одиночестве. Но я думаю, что это почти никогда не случалось. По крайней мере, в широко и вдруг распахнутые двери зимнего сада шли парами, одна за другой, как в Ноев ковчег. Шли чинно, вереницей, без торопливости, с сознанием, что всем уготовано место.

Снобы считали отличием бывать на « Концертных » балах, так как они не имели такого валового характера, как Большой бал, на который некоторые дамы надевали даже драгоценности второго сорта : трудно и некому было показывать лучшие.

Я регулярно получал от Двора приглашение на один из Малых балов в течение сезона — как бывший камер-паж Императрицы.

. . . .

Как я уже упоминал выше, в Петербурге офицер имел полную возможность « проветривать свои мозги », если в этом у него являлась потребность; по военной специальности народилось и прочно стало на ноги в те годы Общество ревнителей военных знаний.

Насколько мне известно, ни в одной из европейских армий не существовало такого добровольного общества с таким духом свободного обмена мнений и широтой серьезно-научного и вместе с тем совершенно доступного характера, благодаря популярности трактовки тем.

Несомненно под влиянием этой открытой для обсуждения военных вопросов арены вынесен был наружу загоревшийся тогда принципиальный спор о больших крепостях и о смене их системой малых фортов и полевых позиций. Публичные диспуты на эту тему были введены в правильное русло Военно-инженерной Академии как то и следовало, происходили в ее помещении в Михайловском Инженерном Замке и привлекли горячий интерес всего военного Петербурга. На кафедре сменялись докладчики, один другого авторитетнее, даровитее или, хотя бы, звонче. В большом, битком набитом зале среди офицеров всех родов войск сидели в первых рядах разные государственные мужи, в которых едва ли до того времени можно было подозревать интерес к чисто военным делам.

В общем, за неимением парламента, все как будто обрадовались возможности присутствовать, под крылом казенного учреждения, на открытом словесном состязании; кипело оно между инженерами старой и новой школы и офицерами Генерального штаба, из которых одни поддерживали стариков, а другие — новаторов.

Маститый инженерный генерал Рерберг (помнивший, кстати, и чтивший деда) превосходно председательствовал на этих собраниях и тактично руководил прениями.

Слушателей привлекала исключительно умственная пища, так как во время десятиминутного перерыва нельзя было получить даже стакан « пустого » чая, то есть без бутерброда или куска хлеба.

Как все такие теоретические споры, диспут в Инженерном Замке в конце концов уперся в тупик. Стороны исчерпывающе оформили свои положения, прибавить к ним было нечего. Если бы диспуту позволили

после этого продолжаться, он вступил бы в бесконечную фазу « стриженое-бритое ».

Мне неизвестно, каково было практическое влияние диспута на перемену инженерно-тактической доктрины укрепления наших границ. Но выше говорилось, что в 1910 году Сухомлинов решил одним росчерком пера упразднить наши крепости на западе и едва не привел это в исполнение. Не запомнил ли он кое-чего из доводов революционной инженерной доктрины, прогремевшей на публичном диспуте больше десяти лет перед тем?

. . . .

По мере того как изнашивались первые увлечения танцами и ночными выездами в « свет », вступали в свои права, им на смену, умственные удовольствия — все смелее и решительнее. Очень кстати, примерно в это время меня выбрали в заведующие полковой библиотекой, которым я оставался вплоть до поступления в Академию в 1901 г. Я стал следить за книжными новинками и с выбором читать то, что было хорошего в библиотеке, большой, но собравшейся случайно. Уже после двух танцевальных сезонов явилась у меня потребность сократить число знакомых домов и не набирать новых. Настоящих знакомств не завязывалось, так как в большинстве случаев на эту офицерскую молодежь смотрели как на рабочую танцевальную силу, почему она получила даже кличку « полотеров ». Между тем, принято было ездить по всем приглашавшим домам с визитами, благодарственными, новогодними и пасхальными. Это бесполезное расточение вежливости, соединенное с расходами на извозчиков и на чаевые всевозможной прислуге, надоело мне и предстало в своем настоящем свете пустоты и ненужности.

Взмолились также мои мундир, сюртуки и белье. Усердный танцор возвращался изо дня в день, вернее — из утра в утро, мокрехоньким после нескольких часов паркетных упражнений. Платье теряло форму, канты тускнели; требовались обновление и утюжка. О бесчисленных парах белых перчаток, отправлявшихся в чистку, и говорить нечего.

Помню, как в одно прекрасное новогоднее утро,

когда столичные кавалеры отправлялись в визитное путешествие по городу, я ощутил вражду к длинному листу предстоявших мне визитов и принял крупное решение. Взяв жирный карандаш, я вычеркнул три четверти моих « знакомых » по названию, оставив лишь те немногие семейства, с которыми более или менее сблизился. Вскоре, однако, настала и их очередь, и я легко вздохнул, когда совершенно освободился от своих поверхностных светских уз.

Товарищество в Егерском полку было, как я уже говорил, хорошее, и офицеры жили дружно. Конечно, у каждого образовались свои симпатии и антипатии, ведь приходилось иметь дело с 69 офицерами, считая себя 70-ым; появлялись кружки, в чем играл роль естественный подбор; но это не вело ни к ссорам, ни к расколу. Люди же, совершенно не подходившие к среде, выбрасывались ею рано или поздно.

Офицерский состав полка можно было назвать умственно способным. Большой процент шел регулярно в Академию и попадал в Генеральный штаб. Из оставшихся в строю полка выходили впоследствии недурные, а иногда и выдающиеся старшие начальники и администраторы. Всегда среди офицеров находились те или другие таланты. В 80-ые и 90-е годы к таким талантам принадлежали : замечательный акварелист Макаров, упоминавшийся выше художник Наркиз Бунин (хотя и не яркий), Рейнголь Рейнтал, сделавший копию портрета Александра III во весь рост для офицерского собрания. Петр Андреевич Тихонович (или « жук », прозванный так за черноту своих густых волос) — гениальный чертежник, работы которого посылались на всемирные выставки и который постоянно имел заказы на чертежи и модели от министерства земледелия и государственных имуществ.

Петр Александрович Риттих, окончив Академию без перевода в Генеральный штаб, проявил себя, оставаясь в полку, на научно-литературном поприще; уезжал заграницу в те края, где решались какие-нибудь злободневные вопросы, изучал их и потом писал на эти темы. Так побывал он на Балканах и в Персии в связи

с постройкой русскими железной дороги. Помню, какое сильное впечатление произвел превосходный доклад Риттиха в офицерском собрании по этому вопросу.

Я близко сошелся с милейшим и добрейшим « Петей » Риттихом, и наша дружба продолжалась вплоть до моего исхода из России в 1919 году.

Это был необыкновенно живой человек, даже несколько суетливый, на все откликавшийся и всем интересовавшийся. Женился он на не менее милой Нине Константиновне Черемисиновой, разводке, урожденной Плещеевой. Женитьба принесла ему большие средства (Плещеевы были крупные землевладельцы, владели всей округой Лигова под Петербургом). Но хлопотливый Петя не сложил рук и не оставлял своих исследований и компиляций. Продолжал писать и издавать.

Во время войны 1914-17 гг., его причислили, из отставки, к военной цензуре в Петербурге. Я был на фронте, но Риттих не терял меня из виду; когда я, в мае 1915 года, приехал в столицу после назначения командиром лейб-гвардии Измайловского полка, он первым примчался поздравить меня. Я только что, по приезде, сел в давно желанную ванну, как ко мне, сметая прислугу, ворвался восторженный Петя! Он обнял своего мокрого « Бобочку », как он не переставал меня называть до седых волос, и затем мы с ним имели длинное и оживленное военное собеседование по всем текущим вопросам.

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ

Хотя я поступал в Академию осенью 1901 г., но слышал о ней много с осени 1895 г., так как примерно с этого времени с Академией был связан мой брат. На год больше, чем другие, из-за неудачи при переходе на старший курс и вторичного поступления на младший. Когда же брат проходил в 1898 году третий курс, называвшийся дополнительным, я много ему помогал вычерчиванием стенных карт и схем, нужных для трех научных этюдов, которые требовались на этом курсе и именовались « темами ». Помню, что военно-исторической темой у него была афганская кампания Робертса, и я начертил большую карту Афганистана, изобразив эффектно, посредством коричневого карандашного порошка и ваты вместо растушевки, сложный горный рельеф театра войны. Работать приходилось на полу в неудобном положении, но процесс трактовки меня занимал и я удовлетворил заказчика тщательностью исполнения. На старшем же (втором) курсе я « поднял »брату карты западных границ России. Поднятие карты состояло в кропотливом повторении географических предметов и рубежей, имевших стратегическое значение, яркими материалами и красками по бледному оттиску плана. Работа эта имела в виду подкрепить изучение военной географии и статистики России использованием зрительной памяти студента. Смысл этот терялся, если чертил не он сам, с книжкой в руке, а кто-нибудь другой. Не знаю поэтому, принесла ли сделанная мною карта пользу моему брату, но им было сбережено много скучных часов, и в ознаменование этого он преподнес мне золотой жетон, изображавший эту карту. Однако лучше жетона было то, что я хорошо усвоил воен-

ную географию западной России. Это пригодилось мне через три года при поступлении в Академию, когда по этой географии меня экзаменовал грозный профессор Золотарев, изобретатель « подъема » карты. Пригодилась потом и сама карта на старшем курсе.

При моем брате в Академии еще царил дух двух выдающихся ее начальников, М. И. Драгомирова и Г. А. Леера. Последний доживал в этой роли свои последние годы. Это был небольшого роста старик с квадратной головой и фигурой, с копной седых волос, обрамлявших со всех сторон лицо с несколько тяжелыми чертами. Из-под густых бровей смотрели проницательные и умные глаза. Он уже стал сдавать физически и передвигался на согнутых ногах. Но ум его был свеж и остр по-прежнему. Говорил он превосходно. Его резюме и критика блистали сжатостью и выразительностью. Позже его приводили под руки на собрания, где ожидали от него слова. И при виде этой процессии говорили : « Вот несут голову Леера ».

Когда мой брат устно защищал свою последнюю, третью, тему, на защиту пришел Леер. После того как высказались три оппонента, он поднял толстую рукопись темы, потряс ею, как бы взвешивая, и сказал : « Это напоминает мне письмо, в котором писавший извиняется перед другом : « Прости, что пишу тебе длинное письмо; не было времени написать короткое ». Так оно и было на самом деле в случае этой работы брата. Он, что называется, прогулял отпущенное ему щедро время и состряпал тему второпях и кое-как.

Прощаясь с офицерами, кончающими Академию и выпускаемыми на службу в Генеральном штабе, Леер обычно их напутствовал и, между прочим, говорил : « Академия дала вам знания и метод, но помните, что метод важнее знания ».

Г. А. Леер создал кафедру стратегии в Академии и оставил капитальный и классический свой труд по этому основному предмету военного искусства. Но подбор профессоров при нем не отвечал тем высоким требованиям, которые Леер ставил самому себе. Другой крупной фигурой являлся только Д. Ф. Масловский, создавший новую кафедру русского военного искусства. Это был фанатик, с головой ушедший в нетронутые до него архивы и на ходу лепивший свой курс. Он так за-

работался, что надорвался и умер рано, не успев привести его в порядок. Главным и более законченным его напечатанным исследованием является участие Елизаветинской русской армии в Семилетней войне. Масловский имел достойного преемника в лице А. З. Мышлаевского, разработавшего по первоисточникам эпоху Петра Великого, и сына, который оказался яблоком, далеко упавшим от дерева. Этот молодой человек был назначен в память покойного профессора библиотекарем Академии. Но под покровом этой смирной должности он вел подпольную революционную работу. Когда грянула революция 1917 года, этот Масловский, или Мстиславский по своей подпольной кличке, оказался в первых ее рядах.

Я не застал в Академии отца, но с сыном имел дело и в бытность мою слушателем Академии, и потом ее профессором. Это был неглупый молодой человек, энергичный и ловкий, казавшийся мягким и довольным своей судьбой. Его двуличность, когда она открылась, изумила всех знавших его и многих огорчила.

Как я уже упомянул раньше, пошел я в Академию с большим запозданием, на шестом году службы, когда нормально можно было держать испытание на третьем. Я не жалел об этом. Я успел прожить свою первую молодость и созреть для серьезной работы. Шел я в Академию не для карьеры. Меня толкнуло сознание, что, оставаясь в стороне, я буду умственно топтаться на месте или даже идти назад. Было желание попробовать свои силы на другом поле, открывавшем новый интерес и новые возможности. Больше того : я боялся опуститься.

Взяв себя после такого внутреннего обзора в руки, я усердно и систематично принялся за подготовку. Распределил остававшийся до экзаменов год по месяцам, неделям и часам, переехал из казенной квартиры в Рузовских казармах, где я жил с П. А. Московым *) и братом, на частную, поселившись с П. П. Гарновским **),

*) В 1914-17 гг. полковник лейб-гвардии Егерского полка. Женат на моей псевдо-кузине Лизе Брант. Умер в Советской России в 20-х г.

**) В 1900 г. служил в Главном Штабе. Одноклассник моего брата по Первому кад. корпусу, сидел с ним на одной скамейке.

и повесил там на стене расписание моих занятий по подготовке в Академию. Переезд на Невский близ Знаменской приближал меня к квартире матери на улице Жуковского, где я мог ежедневно обедать, и отдалял от разорительного офицерского собрания. За год перед этим я был выбран в полку заведующим библиотекой. Это давало мне некоторые привилегии и больше свободы в распоряжении своим временем.

Для математики, которая включала арифметику, алгебру с логарифмами и геометрию, я нанял себе, как уже упомянул выше, репетитора.

На три летних месяца я был, как полагалось по закону, освобожден от лагерей и получил отпуск. В это время мой отец был уже наконец произведен в генерал-маиоры и занимал должность начальника Минской местной бригады. Таким образом, я провел свой отпуск в Минске. Занятия мои приняли строгий характер, и я не давал себе никаких послаблений и отступлений от расписания. С другой стороны, я и не пересаливал, держась 8-часового рабочего дня, чего по моему расчету должно было хватить — и даже с запасом. Действительно, мне удалось воспользоваться приглашением родителей моей будущей жены Гильхен и, сопровождая моего отца, вместе с ним провести в «Абелях», ковенском имении брата госпожи Гильхен, несколько дней. Это был полезный перерыв, примерно посредине моего курса.

Мой рабочий день начинался в 8 часов, до утреннего чая. На свежую голову я решал математические задачи по заранее себе намеченной программе. Постоянное упражнение это привело к тому, что эти задачи и манипуляции с вычислениями перестали быть для меня пугалом. Во мне поселилась уверенность, что я не потеряюсь в этой области и справлюсь с любым заданием.

Все остальные предметы — уставы, история, география — не представляли трудностей. По русскому языку я не готовился вовсе, полагаясь на себя. Немного читал по-французски, знакомство с этим языком у меня к то-

---

В 1909 г. служил по министерству иностр. дел — по консульскому отделу. Был где-то в Италии консулом. В эмиграции был в Париже. Видел его в Лондоне в 1921 г. В Париже он одно время жил черным трудом сборщика мусора.

му времени было удовлетворительным, и подтягивал себя по немецкому языку; он мне не нравился и упрямо не давался.

Экзамены состоялись в августе и кончились для меня более чем благополучно. Из сотни принятых, при большем в пять раз числе кандидатов, я поступил седьмым.

Предсказание генерала Куропаткина, поддерживавшееся моей теткой Анной Юрьевной, что « из Бобки ничего не выйдет » начинало терпеть поражение.

Начальниками Академии моего времени, после Г. А. Леера, были короткое время, до 1901 г., года моего поступления, грозный и неуравновешенный профессор Н. И. Сухотин, про выходки которого знал весь Петербург; потом — до 1904 г., года моего выпуска, В. Г. Глазов, до того не имевший никакого отношения к военно-научному делу и незадолго перед назначением командовавший лейб-гвардии Московским полком; и, наконец, в 1904 году — преемник Г. А. Леера по кафедре стратегии — Н. П. Михневич.

Н. И. Сухотина я застал только на приемных экзаменах. Он уже получил назначение Командующим войсками Сибирского военного округа. Это был строгий, не всегда и не всем приятный человек, но живой и талантливый. За 2-3 года своего управления Академией он успел ее разбудить от самодовольной спячки, в которую этот питомник « мозга » армии впал при Г. А. Леере. Был обновлен и омоложен учебный состав, введены кое-какие перемены программ и курсов. Между прочим, на выпускном курсе для так называемой « стратегической задачи » был введен прикладной метод, вносивший в нее больше жизни и правдоподобия. Отодвинуты на второй план и сокращены математические предметы, астрономия и геодезия, камень преткновения для многих слушателей, обладавших хорошей, но не математической головой! Сколько таких офицеров « срезалось » в Академии на замысловатых формулах и теориях солнечной системы, как будто знание их могло когда-нибудь пригодиться офицеру Генерального штаба. Некоторые формулы требовали знания высшей математики, ин-

тегрального и диференциального счисления, что не было включено в приемную программу — и не могло быть, так как эти науки проходились только в специальных военных училищах — артиллерийских и инженерном. Этот нажим на астрономию и высшую геодезию был тем более лишним, что при Академии существовало особое геодезическое отделение, подготавливавшее специалистов съемочного дела.

Постановка этих математических предметов наряду с главными была обязана чистой случайности : одним из первых начальников Академии Генерального штаба, основанной в 1832 году, был астроном, артиллерийский генерал и изобретатель геодезических инструментов — Г. Ф. Стефан (1848-57 гг.). Он, по понятному пристрастию к этим наукам, ввел их в программу в широком размере. Его преемники и конференция профессоров Академии инертно оставляли эту ненормальность в курсе Академии в том же виде на протяжении пяти десятков лет. Окончательно астрономия была отменена в 1910 году при решительном пересмотре академического курса. Осталась одна геодезия, высшая топография, действительно полезная и нужная для офицера Генерального штаба.

При Сухотине же состоялось переименование Николаевской Академии « Генерального штаба » в « Императорскую Николаевскую Военную » что расширяло ее цель : не только готовить офицеров Генерального штаба, но и распространять высшее военное образование во всей толще армии. Как раз в год моего поступления была закончена постройка нового здания Академии на Суворовском проспекте. Экзамены мы сдавали еще в старом, на Английской набережной, в темноватых и тесных аудиториях. Но учебный год начался в новом помещении, обширном и светлом, построенном на прекрасном участке земли, со своими надворными постройками, манежем и только что разбитым молодым садом.

Во всем этом была видна энергичная воля и сильная рука Н. И. Сухотина. При Академии появилась и своя церковь — суворовская, перевезенная из села Кончанского. Эта операция требовала большого искусства архитекторов. Деревянная деревенская церковь была заключена потом в каменный футляр. Неподалеку, на Кирочной улице, был построен Суворовский музей, где

собрали многое еще уцелевшее для увековечения памяти великого русского полководца.

Получился свой академический городок в лучшей части квартала «Песков», как назывался этот городской район.

Творцу этих широких квартир Академии довелось дожить до посрамления его детища в 1918 году. Большевики в начале своей разрушительной деятельности как-то забыли об Академии и в ней по инерции еще мерцала прежняя жизнь. Но в феврале 18-го года им бросился в глаза этот уцелевший островок старого режима и было решено с ним покончить.

Из Крыма возвращался после совершенного там массового избиения офицеров карательный отряд матросов. Палачам этим отвели для постоя Академию. По ней точно пронесся ураган. Все, что имело ценность, вроде золотого фельдмаршальского жезла Н. А. Милютина и некоторых других вещей музея его имени, было разграблено. Все портреты начальников Академии, профессоров и других деятелей были вынуты из рам и сожжены. Портреты масляными красками, висевшие в конференц-зале, были вырезаны из рам и разрезаны на куски. На этих кусках, разложенных на длинном столе зала вместо скатертей, закусывала наглая и разухабистая матросня, явившаяся в столицу с ореолом севастопольских убийств. На клочке полотна с головой Г. А. Леера валялась краюха белого хлеба, недоступная рядовому населению, и таяло недоеденное масло, кусками прилипшее к холсту.

Погиб хорошего письма портрет во весь рост герцога Евгения Лейхтенбергского.

Как болезненно должен был переживать известия о разгроме Академии Н. И. Сухотин! Но он пережил ее недолго. Осенью того же 1918 года я присутствовал на скромной панихиде у его гроба в частной квартире у Таврического сада, в 15 минутах ходьбы от созданного им академического городка.

Грустно было это отдание последнего долга покойному. Немногие смогли прийти. В их числе, помню, находился Н. П. Михневич, один из преемников Сухотина по возглавлению Академии.

Хоронили и отпевали старое. Ненавистное новое смотрело на нас со стороны своим злобным взглядом,

обещая дальнейшее попрание прежних идеалов и традиций.

Во все два с половиной года моего пребывания слушателем Академии начальствовал ею В. Г. Глазов. Лишь весной 1904 года, перед самым выпуском, он был назначен министром народного просвещения и его сменил Н . П. Михневич.

Глазов был грузный, уравновешенный человек. Он ничего не вводил и ничего не выводил. Его нейтральность и добродушное спокойствие были причиной, быть может, его назначения, столь неожиданного для всех и для него самого, министром. Университеты вели себя беспокойно. Перепробовав разные меры и разных по типу министров, обратились к военным. Однако и Глазову эта должность очень скоро стала невмоготу, и он через год отпросился от нее.

Н. П. Михневича мы хорошо знали и ценили как профессора стратегии и руководителя тактических занятий. Печатные труды его не отличались лееровской глубиной и логической отделкой; на них лежал отпечаток компилятивности. Но он умел живо и увлекательно прочесть лекцию, и его слушали с интересом. Рассказывая, Михневич входил в роль изображаемых им персонажей и армий и, подчас, взяв деревянную указку на плечо, как ружье, обозначал между кафедрой и повешенным планом сражения, как именно « маршировал » корпус Альвенслебена под Мецем!... Живописность и образность лекций Михневича были обязаны между прочим тому, что он обладал воображением и вкусом художника : он недурно писал масляными красками. Многочисленные пейзажи, все одного размера его этюдики, все в одинаковых рамках, сплошь покрывали впоследствии стены приемной начальника Главного Штаба, когда Михневич занял эту должность.

Серьезным научным работником и талантливым профессором в 1900-4 гг. являлся А. З. Мышлаевский. Он был преемником фанатика Д. Ф. Масловского по кафедре истории русского военного искусства. Продолжая его традицию архивных изысканий и построения исследований на основе первоисточников, Мышлаев-

ский пересоздал историю эпохи Петра I, превратив схематическое о ней представление в капитальный склад документальных данных, освещенных всесторонней и тонкой критикой. Понятно, что он знал свой предмет глубоко. Обладая счастливым даром слова, чего не хватало его предшественнику, Мышлаевский читал захватывающе. То, что он говорил нам с кафедры, не было стереотипным пересказом устоявшегося учебника; его лекции всегда заключали в себе нечто новое, только что добытое, а речь отличалась силой и изобретательностью. Эти лекции имело смысл записывать, и я, между прочим, составил себе к экзаменам и нарядно отпечатал на машинке весь прочитанный им курс. Мышлаевский считался также способным и живым руководителем практических занятий по тактике и интересным оппонентом на «темах» (самостоятельных письменных работах) последнего курса, так называемого «дополнительного» *).

Мышлаевский совмещал профессуру с удобной для его научных занятий должностью начальника военно-ученого архива, а потом — начальника Главного Штаба. На войне, однако, этот успешный в мирное время и умный генерал оказался не на высоте. В первые же дни войны с Турцией, зимою 1914 г., в должности помощника Наместника на Кавказе, престарелого графа Воронцова-Дашкова, Мышлаевский совершенно потерял голову, когда Энвер-паша со своими полчищами обрушился на наш корпус под Сарыкамышом. Если бы управление, выпавшее из рук Мышлаевского, не было подхвачено твердым начальником штаба армии Юденичем, обстановка для нас на Кавказском театре сложилась бы крайне неудачно.

Так, хороший профессор и талантливый военный мыслитель обманул ожидания и лишний раз доказал, что знать и даже творить теорию — одно, а применять ее на практике — другое. Объяснить это можно тем, что вплоть до самых высших должностей вся его служба прошла в кабинете. Мышлаевский не получил освежа-

*) Название «дополнительный» объясняется тем, что окончание двух первых курсов давало диплом окончания и академический значок на грудь. Но для перевода в Генеральный штаб надо было успешно пройти «дополнительный» курс.

ющего волю воспитания, которое дается командованием строевыми частями. Другой военный философ, Г. А. Леер, понимал, что без предварительного строевого, если не боевого, опыта сразу брать на себя начальствование армией нельзя. Когда под конец его ученой карьеры зашла речь о назначении его командующим армией на маневрах Петербургского округа, он отклонил это назначение. « Я теоретик », сказал он. « Это не значит, что я могу командовать войсками ». Леера назначили тогда старшим посредником — судьей на эти маневры, и в этой умозрительной профессорской роли он оказался на месте.

Здесь кстати сказать о другом военно-научном работнике и профессоре моего времени, М. В. Алексееве. В наружности у него ничего не было от Марса. Косой, в очках, небольшого роста. В лице что-то монгольское, почему его иногда звали « японцем ». Он тоже провел всю свою службу Генерального штаба в кабинете, занимая ответственные должности в Главном Управлении Генерального штаба, а в Академии работая по кафедре русского военного искусства. Таким образом, Алексеев был коллегой Мышлаевского и читал курс, относившийся к эпохам Елизаветы и Екатерины II. Лектор он был плохой, привести в законченный вид и напечатать свой курс не имел времени, но практическими занятиями руководил превосходно, а на войне показал себя недюжинным стратегом. Алексеев занимал должность начальника штаба сначала — Юго-Западного фронта и потом — Верховного Главнокомандующего, когда, в 1915 г., таковым стал сам Государь. К сожалению, руководя высшей стратегией, он проявил отсутствие настойчивости в проведении хорошо задуманных операций, вследствие чего, например, Галицийская победа 1914 года принесла не такие решительные результаты, какие эта победа обещала.

Строевой стаж Алексеева относился к его молодым годам. Он пошел в академию поздно, на десятом году службы, и был участником войны 1877-78 гг. в составе Казанского пехотного полка. Перед самой войной 1914 года он короткое время командовал 13-м армейским корпусом. Во время революции в Алексееве взяли верх его скромное демократическое происхождение (его отец был из крестьян) и либеральный, близорукий уклон его

политических мыслей и он не сделал того, что мог по своему положению для спасения Государя и монархии. Напротив, он дал ей рухнуть. Формирование им затем, в 1918 году, Добровольческой Армии и почин Белого Похода (с генералом Корниловым) против большевиков не искупают этой его исторической вины перед Россией.

После Мышлаевского и Алексеева, как-никак крупных лиц и деятелей, следующим интересным профессором моего времени был Б. М. Колюбакин.

Высокий, худощавый, с пенснэ на большом и красноватом носу, с высоким, точно сплюснутым с боков лбом, уходящим в лысину, и с длинными бакенбардами типа сказочного царя Берендея, Колюбакин представлял удобную тему для карикатуриста. С целью скрыть величину своих непропорционально больших и плоских ступней, он носил брюки длиннее положенного, и они спадали широкой складкой на подъем ступни.

Читал он при мне « прикладную тактику » (в отличие от « элементарной », которая была поручена профессору Н. А. Орлову). Впоследствии — историю военного искусства древних и средних веков. Основной его чертой была леность. Он приходил на лекцию с опозданием на 15-20 минут и норовил уйти минут за 10 до конца. В те полчаса, которые ему оставались, он отрывисто « бросал в аудиторию идеи », справляясь с какими-то записками, которые он клал перед собой на стол и на которые время от времени почти ложился лицом, ища своими близорукими глазами нужное место.

Но Колюбакину следовало отдать справедливость — « бросаемые » им идеи носили глубоко продуманный и философский характер, не лишенный свежести после хорошо нам известных и заезженных положений учебников. Лекторам и профессорам свойственно и простительно иметь так называемые « коньки » в читаемом ими курсе. Курс Колюбакина состоял сплошь из « коньков », и Боже сохрани было обмолвиться и вместо « рода войск » сказать « род оружия ». « Родов войск несколько », недовольно поправлял Колюбакин, раздвигая свои длинные бакенбарды, — « а родов оружия только два : холодное и огнестрельное! ».

Сноровистые слушатели составили список колюбакинских коньков в форме катехизиса — вопросов и ответов — и окрестили эти ответы « рыбьими словами ».

« Одолжи мне, пожалуйста, — говорил один офицер другому, — рыбьи слова, у меня экзамен Колюбакина на носу ».

Были у Бориса Михайловича и любимцы в ряде военно-исторических примеров. На первом месте стоял Бауцен, на следующем — Прейсиш — Эйлау. Потом к ним, в год столетнего юбилея Отечественной войны, прибавилась эта война — ее стратегия — и Бородинское сражение. Любил он также войну 1877-78 гг. на Малоазиатском театре. В ней он сам участвовал молодым артиллерийским офицером.

Военно-исторический анализ Колюбакина всегда был интересен; в старых примерах он находил нечто новое, другими незамеченное; умел держаться сути, оставляя, таким образом, в представлении и памяти слушателя четкий силуэт операции или сражения. Идейная сторона в его изложении выступала ярко и запоминалась. От слушателей Колюбакин требовал не запоминания фактов и частностей, а их понимания и способности главное отделять от второстепенного. Когда один из юрких офицеров, некий С., желая показать свое усердие, спросил Колюбакина, какими карандашами лучше расцвечивать план при решении задачи, тот сердито буркнул ему в ответ : « Это все равно, какой карандаш, лишь бы была идея ».

У Колюбакина проступали задатки хорошего лектора, педагога и мыслителя, но природная лень мешала ему развернуться. В очень редких случаях он раскачивался, побуждаемый тем или иным обстоятельством, и выступал с публичным докладом после тщательной подготовки. Тогда он поражал свою аудиторию. Но после такого усилия Колюбакин снова засыпал, и надолго. В результате, комическая слава « рыбьих слов » заслонила настоящую скрытую цену Бориса Михайловича как военного ученого и философа.

Печатные труды его, тоже немногочисленные, отличались тяжелым языком и нагромождением бесполезных вводных предложений и определительных прилагательных. Казалось, что автор боялся быть непонятым и обеспечивал себя с этой стороны исчерпывающим набором определений и оговорок.

Профессорская служба в Академии вполне удовлетворяла Колюбакина, и он никуда оттуда не стремился.

Он как бы прирос к Петербургу, к своей полухолостой квартире на Никольской площади (теоретически Борис Михайлович был женат, но никто не видел его жены), к своему большому и неряшливому кабинету, завешанному и заставленному его собраниями картин, рисунков и редких книг. Оставаясь в Академии, Колюбакин дослужился до почетного и пожизненного звания « заслуженного профессора » и до чина генерал-лейтенанта.

Меня лично судьба свела с Борисом Михайловичем в Академии дважды : когда я был слушателем дополнительного курса и когда сам защищал, через шесть лет, профессорскую диссертацию. В обоих случаях Колюбакин был моим оппонентом и в обоих случаях, благодаря высокой оценке им моих работ, я пожал лавры.

На дополнительном курсе самым страшным испытанием считалась так называемая « третья тема ». Она была и последней и состояла в решении большой задачи на действия армейского корпуса при обороне и при наступлении. В задаче было три отдела : стратегическо-технический, статистический и административный. По каждому отделу полагался отдельный руководитель — оппонент.

Руководство, впрочем, ограничивалось введением изредка дополнительных заданий по первому, основному, отделу и просмотром работ офицеров. Таким образом, труд их был вполне самостоятелен, требовал больших изысканий по отделу географии и статистики заданного района операции и известного творчества во всех трех отделах.

Триумвират оппонентов обыкновенно имел группу в 6-7 офицеров; для индивидуальных заданий каждому из них выбирался какой-нибудь один театр возможных действий. Колюбакин, как старый кавказец и автор двух книг по войне 1877-78 гг. на этом театре, тяготел к нему; поэтому он всегда оказывался оппонентом кавказско-турецкой партии.

На первые две темы дополнительного курса, по военной истории и по военному искусству, полагалось по 6 недель на каждую. На стратегическую тему — 3 месяца, примерно по месяцу на каждый отдел.

Мне попался район Северного Кавказа — между Ставрополем и Новороссийской бухтой. Я с увлечением

принялся за изучение этого театра, не похожего, с его горами и разнообразным населением, на другие театры России. Увлечение это отразилось на характере работы и заслужило самую лестную оценку моего оппонента А. К. Байова. В общем его заключении по статистическо-географическому отделу было сказано приблизительно следующее : « Описание так полно и красочно, что кажется будто автор сам уроженец Кавказа и прожил там всю свою жизнь ».

Еще ярче сказались замечания Колюбакина по стратегическому отделу. При первой же критике задач нашей партии, так сказать на полпути, он оставил меня раз « pour la bonne bouche ». Раскрыв наконец мою рукопись, он заявил, что возражать ему не на что. « У штабс-капитана Геруа все так просто, ясно и вытекает одно из другого. Чтение его работы не представило для меня никакого затруднения ».

Я должен был быть благодарен природной ленце Колюбакина!

Рукописи были нам возвращены для детального развития по дополнительным заданиям. В своей я с приятным чувством прочел замечания оппонента на каждом из моих докладов и приказов, вроде « отлично соображено, продумано и приведено в исполнение », « приведено в исполнение », « стройно, все предусмотрено и взвешено », « превосходно » и т. п. И в общем заключении было написано то, что Колюбакин сказал мне, при всей группе, на устном разборе.

Репутацию свою у Бориса Михайловича я поддержал и во второй половине работы, а также на заданных в самом конце « летучках », которые мы должны были решать в присутствии оппонента в определенное число часов.

На них Колюбакин написал резюме : « Все только подтверждает в высшей степени отличное впечатление о всей работе во всех отношениях ». И прибавил : « Немного таких работ читал в Академии ».

Гладко, хотя и не столь блестяще, прошел и мой административный отдел, заключавшийся в довольно утомительных и сухих расчетах довольствия корпуса всем необходимым, движения поездов и конных транспортов в разные периоды воображаемой операции.

Наступил день устного доклада темы нашей пар-

тии. На доклад каждому полагалось всего 10 минут, не больше, но и не меньше. Надо было сжато изложить суть всех заданий и решений. Вообще требование точно справляться с временем строго проводилось в Академии и имело полезное воспитательное значение.

Когда очередь дошла до меня и, стоя у карты моего района — собственной моей работы, ибо младшего брата у меня не было, — я сделал свой доклад и щелкнул с поклоном, в знак окончания, шпорами, высказались, один за другим, мои критики.

А. К. Байов и затем Колюбакин повторили их лестное мнение о моей работе, причем первый как бы извинялся за несколько сделанных им замечаний. А второй, в заключение и к изумлению присутствовавших офицеров Академии, приподнялся со стула, обозначая вставание, и сказал торжественно :

— От имени кафедры военного искусства приветствую в вашем лице будущего выдающегося военного работника!

После этого неожиданного выступления старшего оппонента, администратору, приглашенному со стороны полковнику Генерального штаба, ничего не оставалось как присоединиться к хвалебному дуэту и, скользнув по недочетам моей работы, признать ее « все же отличной ».

Я получил 12 баллов — высшую отметку — по каждому из трех отделов.

Случалось это в Академии редко и не каждый год.

Это было моим вторым полным баллом за время пребывания в Академии. Первый я получил за русское сочинение при переходе на второй курс. По этому предмету случалось это в Академии тоже не часто.

За мою стратегическую тему мне была присуждена денежная премия имени генерала Леонтьева (начальник Академии 1862-78 гг.) *), кажется, 300 рублей. Благодаря этой теме я кончил Академию очень высоко : четвертым по одному списку, пятым — по другому (не помню, зачем было два разных подсчета), с одинаковыми баллами в среднем. Всего нас на курсе оставалось человек 70.

Интересно, что в этих списках по старшинству бал-

---

*) От Леонтьева принял Академию М. И. Драгомиров.

лов я, как и в Пажеском корпусе, оказался рядом с Шуберским, с которым когда-то составлял камер-пажескую пару при молодой Императрице.

Встретились мы с ним потом и на службе в гвардии.

Мои бумажные ученические победы на Кавказе привели к тому, что, когда я сам стал оппонировать на темах, мне дали для задач Кавказско-Малоазиатский фронт. А. К. Байов был тогда правителем дел Академии и, вспомнив мою премированную тему, счел меня кандидатом в специалисты по этому театру. Это заставило меня снова обратиться к его изучению, хотя бы и попутному, за недостатком времени. Хотелось когда-нибудь иметь случай перейти от теоретического знакомства с нашим интересным и красочным Кавказом к личному и живому. Думалось даже, — возьму какое-нибудь назначение в Кавказский округ, например, командиром полка. Но судьба повернула все так, что мне не пришлось побывать там вовсе; не придется и в коротком моем будущем. Об этом я очень сожалею.

Из других профессоров военных наук в 1901-1904 года нельзя обойти молчанием знаменитую пару, П. А. Гейсмана и В. И. Баскакова. Первый читал курс военного искусства древних греков и римлян и Западной Европы до 17-го века. Второй — Наполеона.

Гейсман написал и отпечатал по своему курсу компилятивный и бездарнейший учебник, служивший офицерам официальным руководством. Можно и должно было ожидать, что сухость и мертвенность этого учебника будут сдобрены и оживлены профессором на лекциях. Но, нет. Гейсман приносил с собой пачку грязных и захватанных листов, очевидно, из рукописи, по которой была напечатана его книга, и без малейшего смущения читал вслух, слово в слово, текст учебника. Бывали случаи, что он перепутывал листы и тогда сбивался и беспомощно рылся в своей пачке, стоя у карты и вызывая улыбки слушателей. Впрочем, слушать было нечего и тем более записывать.

И тем не менее, этот никуда негодный лектор и автор-схоластик, пригибавший факты к своим пунктикам и даже к математическим формулам, поражал своими познаниями, эрудицией и меткой критикой при публичном разборе тем офицеров.

В. И. Баскаков прежде всего обращал на себя вни-

мание наружностью. В противоположность Гейсману, всегда неряшливо одетому, в коротких брюках при непомерно длинных штрипках, Баскаков, с оригинальным именем Вениамина, наряжался тщательно, стараясь быть оригинальным и в другом. Он носил черный сюртук (не темно-зеленый), на котором особенно выделялся белый аксельбант, завязанный неуставным « австрийским » узлом. Руки в белых перчатках, мертвенно-бледное курносое лицо с черными усами, острой бородкой, волосами щеточкой на голове и дымчатое пенснэ под щетинистыми бровями, завершали этот стиль « blanc et noir ». Быть может тут сказывалось то, что Баскаков был старообрядец-член пуританской русской секты. Офицеры сочинили анекдот, что в своем доме на Николаевской улице — Баскаков имел средства и собственный дом — у него один кабинет был черный и в нем хозяин сидел одетый в белое, а другой — светлый, и для него он одевался в черное.

Отличался он от Гейсмана и тем, что не приносил с собою на лекции никаких рукописей или записок и явно рисовался тем, что мог говорить 50 минут, как заведенная машина, без перерыва и не заглядывая ни в какие конспекты.

Но и голос его, хриплый, низкий, неприятный, и монотонность речи были машинными, наводя уныние на аудиторию.

Сходство с Гейсманом было в одном : Баскакова тоже не имело смысла слушать. За сиплой формой его жужжанья не скрывалось никакой сущности, которая могла бы осветить имевшиеся руководства.

Зато он сыпал цифрами, размерами, датами, мелочными описаниями мундиров, штанов, штиблет каких-нибудь французских вольтижеров, щеголяя своей памятью и засоряя содержание лекции и без того построенной дурно, по-казенному.

Руководя практическими занятиями по тактике, Баскаков заваливал офицеров работой, исходя из своего убеждения, что в основе службы Генерального штаба должна лежать двужильность его личного состава.

Это испытание выпало и на мою долю, когда при переходе со второго курса на третий на полевых тактических поездках я был в числе 8 офицеров назначен в партию Баскакова. Мы все знали, что нас ожидает, и

содрогнулись. Район нам был отведен вокруг Царского Села, в котором мы и поместились. Работа заключалась в том, чтобы, получив наши индивидуальные задания, выехать верхом на указанный в нем участок местности и решить задачу за начальника дивизии или командира корпуса; в дополнение к имевшейся карте надо было попутно произвести летучие съемки нужных участков и составить приказания, которые были бы отданы в данном случае. По возвращении на нашу временную квартиру после дня, проведенного в поле и на коне, оставалось еще привести весь материал в порядок, четко вычертить кроки, ясно и даже нарядно переписать воображаемые распоряжения старшего начальника и некоторых других. На другой день рано утром приезжал руководитель и отправлялся со всей партией на поверку наших решений. Она состояла в обзоре участков задач и в критическом разборе на месте. Эти поездки продолжались в таком порядке в течение недель трех.

Нарочито большой объем Баскаковских заданий превышал наши возможности справиться со временем и вместе с тем исполнить работу добросовестно. Поневоле приходилось пользоваться, главным образом, картой и вместо настоящих кроки деталей местности, что должно было составлять центр тяжести упражнений, довольствоваться более или менее изобретательным увеличением и развитием нашей «верстовки» (карты в масштабе одной версты в дм.). И при таком упражнении мы возвращались с поля гораздо позже своих товарищей, находившихся в других партиях, и заканчивали свои переписку и черчение уже ночью. После короткого сна надо было снова садиться на лошадь и провести в седле часов 9-10.

Помню, у меня была одна задача, для решения которой мне нужно было объехать в один день по крайней мере 40 верст. Это не было слишком много для простого кавалерийского перехода, но при необходимости еще останавливаться, соображать и чертить представлялось невыполнимым. Должна была выручать все та же многострадальная карта!

В последний день решались «летучие задачи». Предполагалась имитация коротких разведок в поле, какие могут быть поручены офицеру Генерального штаба в бою, на походе, вообще в разных условиях так-

тической обстановки. Баскаков и задал нам короткие на этот раз задания, но число их было вдвое больше, чем в других партиях, а время, один день, то же самое. В результате снова должна была быть применена изобретенная нами техника решения задач, при которой офицеры воспитывались в духе того, что называлось в строю « очковтирательством ».

Руководитель не мог не отдавать себе отчета в том, что в наших упражнениях был обман в той или иной пропорции и этим соответственно уменьшалась их польза. Но Баскаков нес эту нашу полуподделку дальше, на горделивый показ начальству : смотрите на горы этих рукописей, планов, кроки! Вот как, в пример другим, работает партия полковника Баскакова!

Партия выглядела похудевшей, сиденья и спины наши побаливали, но экзамен двужильности она выдержала. Получили мы и хорошие баллы.

Но бедный конский состав, назначенные нам от академического полуэскадрона лошади, не имели и этого утешения. Они были так заезжены, что отказывались от корма, и командир полуэскадрона пришел в ужас от их подтянутых в конце поездок тел. Он донес об этом старшему руководителю генералу Колюбакину, и тот подал соответствующий рапорт начальнику Академии.

На следующий год летом не удалось, однако, наблюсти за ведением полевых занятий В. И. Баскаковым. Он поехал на японскую войну. Там, в роли начальника штаба казачьей дивизии, он отличился главным образом тем, что носил в маньчжурскую летнюю жару белый шлем, принятый в английских колониях.

Об участии Баскакова в Великой мировой войне 1914-17 гг. ничего не было слышно. Но он оказался жив и здоров, несмотря на свои преклонные тогда годы, в эмиграции. В 1929 году мне случилось встретиться с ним в Белграде.

П. А. Гейсман во время большой войны командовал корпусом, но выше не поднялся, по крайней мере — на боевом фронте, и даже, если не ошибаюсь, побывал в « резерве чинов », этом печальном складе неудачных старших начальников времени войны.

На второй моей теме дополнительного курса (« Действия артиллерии под Горным Дубняком и Телишем

12-16 октября 1877 г.») моими оппонентами были оба эти профессора, Гейсман и Баскаков.

Офицеры вообще не радовались, когда попадали к этой паре, считая, что и одного из них было бы достаточно в качестве дурного предзнаменования.

Но моя тема прошла более чем благополучно. Заключение было «отлично», после чего я ожидал 12 баллов, но получил 11. Однако сказал себе с облегчением: пронесло!

Темы мои поднимались вверх хронологически. За первую, военно-историческую, мне досталось 10 1/2 баллов. Я считал эту оценку недостаточной, так как для моего исследования кампании 1787 года второй екатерининской турецкой войны я, за недостатком печатных источников, обратился к архивам Главного Штаба. В результате, мое освещение стратегии Румянцева в начале этой войны являлось первым и выходило за пределы компилятивной ученической работы. Беда заключалась в том, что мои оппоненты, Мышлаевский и Алексеев, сами были незнакомы с этой частью кампании и, скользнув по ней, как лишенной ярких мест, судили меня только за изобретенную историками суворовскую Кинбурнскую операцию. Между тем, документальная разработка бледной, по отсутствию событий, части кампании давала лучший случай, думал я, для критики способностей офицера разобраться в историческом материале и превращать сырье в законченное произведение.

Став сам профессором, я все собирался вернуться к этой теме и, углубив ее, напечатать свой этюд о стратегии Румянцева в закатные дни старика-фельдмаршала.

Война и революция помешали этому.

Характерной частью академической учебной программы были топографические съемки.

Производились они оба раза при переходе на следующий курс летом и занимали по два месяца. В первый год делали точную инструментальную съемку, вооружившись арсеналом алидад, теодолитов, реек и т. п. и манипулируя ими на и вокруг треноги с планшетом. Надо было сначала сделать триангуляцию участка, то есть нанести основную сетку по странам света и местным предметам. Затем вычертить данный район во всех подробностях и рельеф — в горизонталях. Между по-

следними, в заключение, положить « штрихи », что придавало плану впечатление выпуклости. Искусство это носило у офицеров название « штрихоблудия » и для многих представляло изрядный камень преткновения. Требовались и твердая рука, и верный глаз, и неисчерпаемое терпение. После всего этого план, вычерченный черною тушью и пером, раскрашивался водяными красками. В этом выигрывал тот, кто хорошо владел кистью.

Вторая съемка первого года была глазомерная. Она требовала, кроме носимой в руках папки, только компас, дюймовую линейку и карандаш.

Второе место посвящалось полуинструментальной съемке, самое название которой показывает, что она представляла середину между астрономически точной съемкой и беглой глазомерной. Эта последняя еще раз производилась и на старшем курсе.

Проверять съемки приезжали руководители. Их на каждую партию было двое, и они обыкновенно путешествовали в тележке или легкой местной бричке, куда сажали и проверяемых. Судили строго, и сделать работу спустя рукава и наспех значило получить низкую отметку.

Эти месяцы жизни где-нибудь в деревне, часто далеко от Петербурга (были, например, районы в Псковской губернии), пребывание целыми днями в поле, на свежем воздухе ,непрерывный моцион, молоко и яйца в утомительном изобилии и вообще импровизированная деревенская еда были полезны и как нельзя лучше способствовали укреплению здоровья офицеров. Большинство нуждалось в этом после напряженной и сидячей работы во время подготовки к экзаменам. Жили маленькими, дружными группами, вполне самостоятельно и приятно, в сельских условиях и избах, среди природы, часто очень живописной.

Первый опыт пейзажа маслом я написал во время одной из академических съемок.

Загорелые, пополневшие и бодрые возвращались мы после полевых летних занятий в Академию, чтобы зимой постепенно растратить этот запас здоровья, который набрали летом.

Главными пружинами съемочного дела, столь широко и основательно поставленного, были в мое время

профессора Шарнгорст, фон-Штубендорф и Витковский. За ними шел знаменитый Зейфарт — великий инквизитор « штрихоблудия ». Все эти лица имели генеральский чин, причем маститый старик А. А. Зейфарт, в конце концов генерал-лейтенант, заработал этот высокий ранг всецело одними штрихами. Всю свою жизнь после выхода в Генеральный штаб он состоял преподавателем черчения в Академии. Это был маленький человек с длинной апостольской седой бородой почти до пояса, лысый и в очках. В этой фигуре не было ничего военного *). В России, заметил кто-то из иностранцев, слишком много генералов. Это было верно в том отношении, что в военном ведомстве существовали должности больше чем нестроевые, — совершенно штатские, на которых можно было « досидеться » до генеральского чина. Так терпеливо досиделся до него, не выходя из Академии, пожизненный апостол черчения Зейфарт. В области съемки и штрихов он священнодействовал. Но, кроме того, он и рисовал недурно, хоть его рисунки, пером и акварелью, и носили замученный, скорее чертежный характер. Представить себе Академию без этого старика было так же трудно, как Пажеский корпус без Кирилла Ивановича Вавенко.

Из трех профессоров-астрономов живым человеком был только более молодой Витковский. Он, между прочим, издал превосходно и популярно написанную книжку о своем путешествии по Европе и Америке. Книга эта имела заслуженный успех. Шарнгорст и Штубендорф казались далекими небожителями, спускавшимися с облаков лишь для того, чтобы « провалить » известный постоянный процент офицеров, не ладивших с математикой и планетами.

Срезался у Шарнгорста и я при переходе со второго курса на дополнительный и спасся лишь тем, что балл за астрономию складывался с баллом за геодезию (высшую топографию). Крах этот произошел по моей собственной вине. Я имел неосторожность отступить от правила, которого всегда держался на экзаменах : не заниматься по ночам и в особенности накануне экзамена. Желая еще раз проникнуться, так сказать наверняка,

*) Начал он службу лейб-гвардии в Егерском полку.

проблемами планетной системы, я просидел полночи и даже больше над разбором чудесной теории, по которой к настоящему солнцу щедро добавлялось, ради его торжества, еще два воображаемых солнца, и все три производили математический менуэт в беспредельных небесных пространствах.

На утро, будучи вызван к доске и получив свой билет, хороший, как я думал, знакомый, я вдруг почувствовал, что ничего не помню! В голове совершенно пусто! Шарнгорст начинает спрашивать. Мне предлагают присесть и выпить стакан воды. Выхожу снова, и снова та же история. Говорят : « Садитесь, довольно ». С ужасом понял, что не выдержал экзамена...

Оставалась надежда на второй билет по геодезии, отвечать по которому я должен был после перерыва и завтрака. Завтрак меня совершенно подправил, кровь снова прилила к мозгу, умственная усталость от плохой ночи исчезла. Ответил я Витковскому бодро и гладко. Присутствовавший на экзамене академический штаб-офицер, или, как их шутя называли, « классная дама », поймав меня потом в коридоре, успокоил : « Все благополучно, не тревожьтесь ».

Действительно, шестерка от Шарнгорста (неудовлетворительная отметка) и одиннадцать от Витковского дали в среднем сносное и пропускное $8\,{}^{1}/_{2}$.

Дал себе слово никогда более не повторять сделанной ошибки : лишать себя сна накануне испытания. Старался даже не работать последний день перед экзаменом, чтобы явиться на него отдохнувшим и свежим.

Офицеры, имевшие в окончательном среднем за военные науки 10 баллов и больше, получали свидетельство на право преподавания этих наук в военных училищах. Заработал я это право по всем военным предметам, кроме топографии. Но и не сокрушался об этом. Пройти Академию было нелегко. Требовались не только усердие и известный запас способностей, но и прочное здоровье. Не давалось никаких послаблений. Заболеть в Академии было страшнее, чем попасть к строгому или взбалмошному профессору на экзамены или практические занятия. Запущенные по болезни работы надо было сдать по выздоровлении во что бы то ни стало. Выйти из Академии по болезни на время и вернуться на прежний курс было нельзя. Надо было начинать сызно-

ва с самого начала и держать вступительные экзамены. Тот, кто имел несчастье часто заболевать, превращался в неоплатного должника и падал под бременем своих нараставших схоластических долгов.

С другой стороны, и здоровому нужно было так пользоваться своим временем, чтобы не надорваться и оставаться свежим. На моем курсе симпатичный драгун В., боясь за участь своей третьей темы, работал над ней день и ночь. У него начались головные боли. Он клал на лоб ледяные компрессы и продолжал сочинять диспозиции, доклады и делать всевозможные вычисления. Предупреждения друзей не помогали. Кончилось это печально, внезапной смертью труженика.

Наш выпуск 1904 года из Академии назвали « японским ». Шла война в далекой Маньчжурии с японцами, и было вызвано из выпуска 30 желающих ехать на театр войны в качестве причисленных к Генеральному штабу. Желающими оказались все, почему назначены были первые 30 по старшинству баллов.

Последний экзамен, экзамен верховой езды, был и такой, — я держал 27 апреля.

Эту дату помню очень хорошо потому, что на другой день я женился. Вскоре были вывешены списки окончивших по старшинству отметок. Я был в первом десятке! Началась подготовка к отъезду в Маньчжурию.

В ГЕНЕРАЛЬНОМ ШТАБЕ

Служить в Генеральном штабе считалось в армии завидной долей. Действительно, офицер, благополучно взявший все академические барьеры и зачисленный в Генеральный штаб, попадал в верную служебную колею с ускоренным и регулярным производством и на лестницу назначений, приводивших его к заветному генеральству в кратчайший срок. Затем перед ним автоматически открывались должности начальника дивизии и командира корпуса. Наиболее выдающиеся, а иногда наиболее удачливые, получали более редкие назначения вроде начальников штабов военных округов (которых было всего 13) или поднимались до командования этими округами и генерал-губернаторства.

Отлично аттестованный строевой офицер, но без этого диплома, раз и навсегда обеспечивавшего служебное движение вверх, до высших ступеней, заметно отставал от своего ученого собрата, даже если этот собрат не прилагал особых усилий, чтобы отличиться.

Случись война, разница могла быть сглажена. Однако с наступлением мирного времени Генеральный штаб снова опережал сверстников.

Была открыта дорога для офицеров Генерального штаба и вне военного ведомства. Сплошь и рядом они назначались на военно-административные должности в других министерствах, например — губернаторами по министерству внутренних дел. При этом они не снимали своего мундира Генерального штаба и продолжали оставаться на учете военного министерства. Губернатор мог получить потом дивизию или корпус (Граф Келлер).

Для всех этих преимуществ были основания: гор-

нило Академии обеспечивало в значительной степени наличие способностей, образования, и, в еще большей степени, умения работать. С другой стороны, преимущества службы в корпусе Генерального штаба привлекали к конкурсу выдающихся офицеров, самолюбивых, способных и энергичных.

Но в автоматическое выдвижение их после выхода в Генеральный штаб следовало бы внести поправки, чтобы сблизить их со строем и заставить каждого офицера Генерального штаба следить за собой, чтобы не отстать в военном деле и не оказаться, как это случалось у нас очень часто, позади своего академического патента.

Такие поправки и поверки существовали в корпусе Генерального штаба в Германии и Франции.

Как привилегии, так и особый мундир, кстати, довольно эффектный (черный бархат, серебро, аксельбанты), создавали из русского Генерального штаба касту, крепко стоявшую за сохранение своих привилегий. Поэтому проведение даже умеренного закона, грозившего обособленному положению этого корпуса ученых офицеров, было чрезвычайно трудно; тем труднее, что все должности, с высот которых должна была исходить инициатива такого закона, были заняты неизменно представителями этой касты-недотроги.

В строю не любили офицеров Генерального штаба. Помимо ревности, вызываемой быстротой и блеском их карьеры, в толще армии сравнивали этих « счастливцев » с учеными офицерами в других специальностях, например — в артиллерии и в инженерных войсках. Преимущества у этих академиков тоже были, но умереннее, и ученые артиллеристы и военные инженеры не бросались в глаза как каста.

В этой неприязни к Генеральному штабу, ведшей к отчуждению от него строя, серьезную роль играло наличие в среде первого заносчивых людей, считавших себя после получения значка и аксельбантов, непогрешимыми. Я помню слова одного капитана, только что надевшего желанный мундир : « Как приятно сознавать, что не скажешь глупости! ».

Офицеры этого типа держали себя самоуверенно, высокомерно и наставительно даже со старшими стро-

евыми начальниками, а с младшей братией обращались небрежно, бестактно и даже грубо.

Тип этот получил кличку « моментов ». Существовала легенда, что молодой офицер Генерального штаба на маневрах доложил лихо своему начальнику, что « пора поймать момент » и поскакал, чтобы передать нужное приказание. Но тут же, попав на кочку, свалился с лошади, или, как у нас говорили кавалеристы, « закопал редьку ».

— Вот и поймал момент, — будто бы сказал начальник.

Существуй у нас меч усекновения для всезнаек и нахалов, а также будь офицеры Генерального штаба не одной, а обеими ногами в строю, ненавистные строевикам « моменты », вероятно, вывелись бы сами собой.

В военной литературе 90-х годов много спорили о том, сколько лет или месяцев офицер Генерального штаба должен прослужить в строю, командуя ротой, эскадроном или батальоном, и сколько у офицера должно остаться времени для штабной службы.

Эта последняя протекала нормально, до получения полка, в штабах дивизий и корпуса, для меньшинства — могла быть в штабе округа. Только это меньшинство делало настоящую работу Генерального штаба. Ближе к ней был начальник штаба дивизии — полковник, ожидавший затем назначения командиром полка. Научиться на « текущей » переписке, как водить войска, хотя бы мелкие, было трудно. Даже летом, в лагере, когда шло полевое обучение войск, капитан Генерального штаба корпел за своим письменным столом в штабе, составляя какие-нибудь « срочные » ведомости и донесения или ответы на пустяковые будничные запросы. Со всем этим мог справиться любой штабной офицер без высшего образования. А между тем несколько лет такого бумажного опыта постепенно превращали офицера, который готовился принадлежать к « мозгу армии », в рядового канцеляриста. Знания утрачивались, ум обращался к мелочам, к форме и казуистике.

Очевидно тут надо было говорить не о продолжительности таких командований, а о коренном пересмотре круга обязанностей младших должностей Генерального штаба. Несомненно, многие из них нужно было просто упразднить, поставив молодежь подальше от

бумаги, поближе к жизни, и в такое положение, при котором она могла бы быть непрерывно полезной войскам, а также совершенствоваться в службе « колонновожатых », как образно именовались офицеры русского Генерального штаба в начале 19-го века.

Вопрос этот был практически и лучше разрешен в армиях Западной Европы.

На старших должностях в русском Генеральном штабе было возможно совершенно избежать строя. Не переводились примеры, в которых генералы достигали высших административных, ответственных постов, имея за собой какие-нибудь полтора года командования в строю только ротой и батальоном. Ни рыхлый Н. Н. Янушкевич, начальник Генерального штаба, ни сухой педант М. А. Беляев, начальник отдела по устройству войск, потом военный министр *), не командовали ни полком, ни бригадой, ни дивизией. Они успели за время своей почти непрерывной канцелярской службы после академической школьной скамьи совершенно потерять пульс войсковой жизни.

Лица эти и им подобные умели стоять близко к петербургскому « солнцу » и составить себе репутацию « незаменимых » администраторов. Принципа незаменимости на военной службе существовать не должно. В особенности на нестроевых должностях. Скорее он понятен в строю, где смена даровитого, вдохновенного начальника, владеющего массой, подчас бывает досадна и вызывает неблагоприятные сравнения с преемником. Эти условия чисто психологического характера отсутствуют в канцеляриях. На место одного бумажного организатора всегда можно найти другого.

К числу захваченных Генеральным штабом должностей у самого « солнца » принадлежал, например, пост начальника канцелярии военного министерства, через которую проводились военные законопроекты, а также помощника начальника канцелярии. Посты эти когда-то занимались чиновниками-кодификаторами с юридическим образованием. В руках Генерального штаба они превратились в источник власти и личного влияния. В мое время должность начальника канцелярии занима-

---

*) Оба были убиты большевиками в 1917 году.

ли : ловкий карьерист Н. А. Данилов (в то время профессор военного искусства в Академии), приятный во всех отношениях Н. Н. Янушкевич (тоже профессор в Академии по кафедре администрации), наконец, мой знакомый по службе в Киеве А. С. Лукомский (креатура военного министра В. А. Сухомлинова).

Недостатки организации службы Генерального штаба в России были легко устранимы, найдись только разумный и смелый реформатор, но корпус офицеров Генерального штаба устоял, взяв его в целом, на должной высоте. Благодаря своему интеллекту, образованию и уменью работать, он представлял собою большую полезную силу не только в армии, но и вообще в России. Доказывалось это спросом на офицеров Генерального штаба во всех областях государственной и военной деятельности. За время существования этого ученого корпуса, считая со времени учреждения Академии, то есть с 1832 года, он выдвинул из своей среды длинный и непрерывный ряд выдающихся боевых начальников, блестящих администраторов и военных ученых.

В войсковом быту ценность офицера Генерального штаба сказывалась немедленно во время серьезных испытаний и на войне. Жаловались, если их не хватало, и цеплялись за них именно те военные недоросли и невежды, которые в спокойные времена относились к ним особенно критически и насмешливо.

Что касается до неприятного, заносчивого типа штабного офицера, то тип этот хорошо известен и в других армиях. Судить по досадным исключениям этого рода обо всей корпорации было бы несправедливо.

Офицеры русского Генерального штаба могли с основанием считать честью принадлежать к этому корпусу, и в генеральских чинах, начиная с должности начальника дивизии, иметь пожизненное право на ношение мундира Генерального штаба.

ЯПОНСКАЯ ВОЙНА

Поехав сразу по окончании Академии на войну в далекую Маньчжурию, мы, офицеры, причисленные к Генеральному штабу, осели вначале в Мукдене при штабе Наместника Дальнего Востока. Это было в июле 1904 года. К этому времени роль Наместника, который должен был объединять действия сухопутной армии Куропаткина, флота и крепости Порт-Артур, окончилась. Крепость и флот были отрезаны японцами от полевой Маньчжурской армии. Над одной этой армией получалось два командира. Владивосток, будучи на отлете, не играл роли. Назревала операция к югу от Ляояна, где был штаб Куропаткина. Наместник — адмирал Алексеев — ждал со дня на день разрешения Государя покинуть театр военных действий, предоставив их ведение « единому полководцу ».

Вскоре после нашего приезда в Мукден нас решили распределить по разным штабам и предложили тянуть жребий. Большинству хотелось попасть в действующую армию к Куропаткину. К моему ужасу я вытянул билетик « Владивосток », мертвый угол театра войны в русском Приамурье и оперативное захолустье, где можно было просидеть годы, не услышав свиста снаряда. Но тут, на мою удачу, нашелся охотник поменяться жребием. Ему попался « Мукден ». Таким образом я остался в Маньчжурии и мог, со временем, рассчитывать из пассивного зрителя событий превратиться в участника их.

Мой отец распек меня за эту добровольность, напи-

сав : « Не следует испытывать судьбу, и нужно помнить мудрое правило — от службы не отказывайся, на службу не напрашивайся ».

Наступил август. Загорелись Ляоянские бои. С горячим интересом мы следили за их развитием и выходили встречать санитарные поезда, привозившие раненых на север. В одном из таких поездов я встретил товарища по Первому кадетскому корпусу Христофора Бойе, потом семеновца, пошедшего добровольно воевать в рядах сибирских стрелков. Он был ранен осколком шрапнели в бою под Хайченом. Тяжелая рана требовала остановки Бойе в Мукдене Его выгрузили и вручную, на носилках, понесли в госпиталь. Во всех этих хлопотах я принял участие и проводил раненого до самого госпиталя. Надо было пройти по плохой, ухабистой дороге версты две от станции. Неловкие санитары умудрились по пути опрокинуть носилки и вывалить из них несчастного Бойе! Но зато госпиталь, устроенный в стильном загородном доме зажиточного китайца, оказался превосходным. Вокруг стояла тропическая жара, а внутри и на дворе, где между двумя каменными плитами цвели яркие непахнущие цветы, напоминающие китайские вышивки, была прохлада. Снежная белизна халатов сестер милосердия, кроватей и строгой больничной мебели помогали этому впечатлению. Бойе попал в хорошие руки и, как я слышал потом, стал быстро поправляться.

17-го, в день полкового праздника родного лейб-гвардии Егерского полка, форму которого я еще продолжал носить, артиллерийский огонь под Ляояном достиг такой силы, что канонада была отлично слышна в Мукдене, за 60 верст. Стояла обычная жара, но сотрясение небес привело к грозе, которая освежила. Сведения с боевой линии были тоже освежающие : все атаки японцев отбиты и, вероятно, перейдем завтра в наступление. Все говорило о большом сражении, которое должно было решиться в нашу пользу и решить участь войны. На юг, в поездах, проследовала 54-я пехотная дивизия, которой командовал бывший профессор Академии генерал Н. А. Орлов. Мы думали : вот резерв, вот дополнительные свежие батальоны на весы боевого счастья.

Но прошло 18 и 19 августа — бой все еще шел и решения не было. Стало известно, что Куропаткин от-

вел армию на линию ляоянских фортов, полукольцом защищавших город Ляоян и мосты через реку Тайцзыхе. Это сокращало длину позиций и позволяло освободить значительные силы для контрманевра против одного из флангов атакующих японцев. Мукденская молодежь Генерального штаба, узнав об этом плане, восторгалась и говорила : « Наконец-то! Так поступил бы Наполеон ». Недавно с академической скамьи, мы хорошо помнили исторические примеры. Говорили также : план этот не Куропаткина, а Сахарова, его способного начальника штаба.

Через Мукден проходили непрестанной чередой санитарные поезда с ранеными. Они выказывали чрезвычайный подъем духа. « Наложили японцу », уверяли стрелки : « не отделается дешево ». Рассказывали чудеса, которые делала наша артиллерия. Она подучилась. Урок Тюренчена *) не прошел даром. Раненые были уверены в близкой победе.

20-го в Мукдене, узнали, что Куропаткин перевел свои вновь образованные резервы, или, как было принято говорить, свой ударный кулак на северный берег р. Тайцзыхе и собрал корпуса два уступом на левом фланге. Оттуда, ожидали все, этот кулак тяжело опустится на охватывающие нас слева части армии Куроки.

Велико было общее разочарование, когда на следующее утро дошла весть об общем отступлении Куропаткина и оставлении им Ляояна.

Впоследствии, когда открылись и японские карты, стало известно, что не менее велико в тот августовский день было изумление нашего противника, начинавшего считать себя побежденным. Но его изумление было радостным : Куроки, вместо готовившегося приказания отходить снова на южный берег р. Тайцзыхе после неудавшегося охвата и выхода в тыл нашего левого фланга, теперь мог отдать приказ о преследовании!...

В провале « наполеоновского » маневра искали виновных. Куропаткин в своем решении отступить сослался на неустойку войск, выделенных им для парализования обхода Куроки, назвав ее « печальной ».

---

*) Первое сражение войны на р. Ялу, на корейской границе, в котором мы применяли устарелую тактику открытых артиллерийских позиций.

Больше всего досталось репутации той 54-ой пехотной дивизии, эшелоны которой мы так недавно и с такими надеждами провожали с мукденской станции на юг. Необстрелянных и немолодых резервистов этой дивизии прямо из поездов направили от станции Янтай для контратаки обходивших японцев в лес гаоляна*); здесь наши пензенские бородачи, дети открытых полей и широкого обзора, совершенно потерялись и дрогнули при первых японских шрапнелях. Дивизия рассеялась и с трудом собралась позже к Янтаю. Любители острого словца, зацепившись за фамилию начальника дивизии Орлова, пустили в ход для незадачливой дивизии кличку « Орловских рысаков » **).

Неустойки в войсках были, но они могли быть также и у японцев. Главная неустойка этой операции, так красиво для нас развивавшейся, заключалась в характере полководца. Там, где требовались железная воля и настойчивость, уменье бороться с препятствиями и поднимать дух войск, Куропаткин неизменно сдавал. Лично храбрый, он не заразился этими необходимыми качествами боевого вождя от своего учителя Скобелева, молодым начальником штаба которого был в войне 1877-78 гг., свыше четверти века тому назад!

Маньчжурская армия отступила на позиции между Ляояном и Мукденом в полосе между реками Хуньхе и Шахэ. Штаб Куропаткина перешел в Мукден. Наместник со своим штабом уступил ему место и уехал в Петербург.

Японцы удовлетворились, после месяца жестоких боев, занятием Ляояна и очищенной нами территории к северу от него.

Наступила подготовка к новому бою.

Для праздной мукденской группы причисленных к штабу академистов наступила, наконец, возможность

---

*) Злак, достигающий к концу лета высоты, закрывающей всадника.

**) По имени знаменитых конюшен Орловской губернии, выводивших быстроходные породы упряжных лошадей.

принять участие в общей работе. Мы оказались автоматически включенными в штаб армии Куропаткина. Армия нуждалась в топографах: за время русской оккупации Маньчжурии с 1901 года мы успели сделать подробные топографические съемки южной ее части, от южного берега до ляоянского района, и издать отличные карты в верстовом масштабе. Но для местности, на которой предстояло действовать после боя под Ляояном, не было ничего, кроме схематических карт маршрутного характера, с огромными белыми пустырями между нанесенными главными дорогами.

Надо было спешно, хотя бы тоже схематично, заполнить эти слепые места и, во всяком случае, нанести дополнительные пути в районе будущих операций к югу от реки Хуньхэ.

К этим съемкам нас и привлекли.

Чтобы решить, кому из офицеров дать тот или другой маршрут, снова прибегли к жребию. Некоторые съемки предстояли в полосе, где можно было встретиться с японскими разъездами. Я вытянул именно такой маршрут, и потому в мое распоряжение был назначен довольно сильный разъезд от одного из Забайкальских казачьих полков.

Путь наш пролегал в восточной, гористой части театра военных действий, к югу от реки Хуньхе. Из Мукдена нужно было сначала выдвинуться сильно на восток, вверх по течению этой реки, примерно до с. Киузань (получившего известность во время Мукденского сражения в конце февраля 1905 г.). Оттуда круто спуститься на юг и нанести на белом месте карты пути, идущие в район с. Баньяпуза, к югу от р. Шахе. Здесь остановился в конце августа 1904 г. крайний правый фланг японцев после занятия Ляояна и выдвижения на север от него.

Начиная с Киузаня, разъезд должен был следовать с мерами охранения, прикрываясь дозорами. Работа была интересной и приятной. Осенняя погода была как на заказ — сухая, солнечная и умеренно теплая. Я имел возможность испробовать своего коня — кабардинца, купленного при отъезде на войну. Лошадь оказалась превосходной, крепкой и выносливой. Внешняя статность и видность моего гнедого коня согласовались с его выездкой и характером. В этом последнем скоро обна-

ружилась привитая ему преданность своему новому хозяину. На одном из первых ночлегов, рано утром, перед выступлением, моего кабардинца начал седлать один из казаков разъезда в моем отсутствии. На дворе китайской фанзы поднялись возня и шум, среди которых я услышал призывное ржанье моей лошади. Я поспешил на двор и увидел ее в состоянии открытого бунта: кабардинец то стоял на задних ногах, то лягался ими, отбрасывая казаков в стороны; седло болталось на животе; казак с трудом удерживал повод, танцуя вокруг головы лошади!

Но стоило мне подойти к ней и взять повод от казака, как лошадь сразу успокоилась и, доверчиво скосив на меня свой красивый выпуклый глаз, позволила замундштучить себя и оседлать.

По-видимому, прежний хозяин-казак выучил лошадь противиться седловке незнакомого лица, имея в виду конокрадов. В разъездах со мной не было обычного вестового, который за ней ухаживал и которого она хорошо знала; появление чужого человека вызвало этот сигнал « S.O.S. » со стороны умного животного!

Постепенно мой кабардинец привык, с моего видимого поощрения, и к своему новому временному вестовому. Но только этот один казак или я сам могли беспрепятственно седлать моего мерина.

Местность, по которой я вел свой разъезд, была живописная. Шли обыкновенно долинами, вьющимися между маньчжурскими сопками, время от времени переваливая через них из одной долины в другую. Горы в этой части Маньчжурии часто покрыты густыми зарослями, чем она резко отличается от плоской западной половины театра, совершенно голой, если не считать бесконечных полей гаоляна, вырастающего к осени в трудно проходимые « леса ».

Некоторые сопки были покрыты высокою и сочною девственною травой с массою цветов — тоже редкость в Маньчжурии; над одним таким лугом вился несметный рой бабочек. Я никогда и нигде не видел такого их числа, соперничавшего с числом цветов, а также такого разнообразия раскраски и рисунка. Я понял источник вдохновения для тех вышивок, на которых китайцы-вышивальщики (обыкновенно мужчины) изображают роскошных бабочек. Я думал, что это была богатая фан-



Лейб-гвардии Измайловский полк
Командир полка Свиты Е. И. В.
генерал-маиор Киселевский

тазия. Перед мной теперь открылось доказательство, что эти бабочки списывались с натуры.

В кобуре седла я возил свой « кодак » и за время этой поездки сделал много интересных и декоративных снимков. Впоследствии они проявлялись и печатались фирмой « Кодак » в Петербурге; изумляли своей четкостью и ясностью виды горных далей. Объяснялось это чрезвычайною прозрачностью воздуха в тех местах.

Питались мы мясными консервами, взятыми с собой, и дополняли их свининой, которая получалась из покупавшейся на местах « чушки », на казачьем наречии, которая иногда совершала переход еще в живом виде, притороченная к вьюку казака-повара. Кроме того, пекли отличные лепешки из местной « чумизы » (хлебное зерно вроде пшена) и пили в изобилии чай.

С японцами встретиться не привелось. Один раз, под вечер, когда мы приближались к очередной ночной стоянке, казак из головного дозора прискакал с вытаращенными глазами и без фуражки к голове разъезда с криком : « Японцы! Пуля ударила в лоб! ».

Казак этот оказался не из храбрых : лбом своим он задел телефонную проволоку, проведенную нашими передовыми частями. Незаметная в сумерках, она сбила фуражку казака и в его перепуге превратилась в пулю. На участке, где мы тогда шли, не могло быть речи о присутствии противника.

Другой раз, когда мы действительно вступили в полосу местности, где могли бродить японские разъезды, проводник-китаец заставил нас вскарабкаться на довольно крутой хребет, покрытый лесной чащей, и повел в нужном нам направлении по этому хребту. Пришлось вести коней в поводу. Потом дело объяснилось : китаец, или « ходя » на солдатском жаргоне, знал о появлении японского разъезда в соседней долине и взял на себя избавить наш разъезд от боевого с ним столкновения. Инициатива проводника была удачна, ибо моя задача заключалась в маршрутной съемке путей, а не в сражениях с японскими разъездами.

Поездка, занявшая несколько дней, кончилась, как мне казалось, слишком скоро. Здоровая жизнь в поле и в движении, строго рассчитанные переходы верхом, прекрасный воздух и красивые места, примитивные ночлеги в китайских деревушках (« пузах », по-китай-

ски), полная служебная самостоятельность и отсутствие письменного стола, все эти радости прекратились. Нужно было возвращаться и сдать свою работу в картографическое отделение штаба армии.

Вообще, в течение службы в Генеральном штабе лучшим временем я считал полевые поездки, как в строю — маневры, и сожалел только, что эти здоровые, интересные и полезные занятия не распространялись на большую часть служебного времени.

Что касается до использования исполненной мною работы, то по нанесенным мною путям наступали и отступали два левофланговых корпуса во время нашей сентябрьской операции.

Ближайшею целью ее являлось отражение японцев за реку Тайцзыхе и обратное овладение Ляояном. План наступления приурочивался к предвзятой идее, что противник примет бой на линии своих передовых частей, примерно на полпути между рр. Шахе и Тайцзыхе. Имелось в виду охватить правый фланг японцев (армию Куроки), который считали прочно укрепившимся на позиции у с. Баньяпуза. На самом деле ее занимал лишь авангард, который, как только стало очевидно наше общее наступление, был оттянут на переход назад, ближе к р. Тайцзыхе и к району Бенсиху, где были удачные для обороны естественные позиции в горах.

Таким образом, задуманный нами удар — охват пришелся впустую. Промаха этого мы не исправили и в дальнейшем. Вместо того, чтобы расширить охватывающий маневр и обойти отнесенную назад фланговую позицию Куроки, наши корпуса завязли здесь в бесполезном фронтальном бою, растратив в нем свои силы и наступательную энергию. Лишь конница обошла эту позицию и, переправившись через Тайцзыхе, вышла даже в тыл японцам. Но Куропаткин не поддержал этого маневра, не поняв «подсказа» снизу и будучи к этому времени всецело поглощен ликвидацией японского маневра — обозначавшегося прорыва нашего центра.

Маньчжурская армия начала свое наступление 23 (?) сентября, а 4 октября все было кончено. Мы были оттеснены к линии р. Шахе, на которой удержались и которую затем укрепили. Японцы остановились в тесном с нами соприкосновении и тоже закопались в зем-

лю *). Это был прообраз долгих позиционных стояний, ставших характерной чертой следующей европейской войны 1914-18 гг.

Во время Шахейского сражения группа причисленных к Генеральному штабу молодых офицеров, перешедшая по наследству от мукденского штаба Наместника к штабу Куропаткина, состояла в распоряжении его генерал-квартирмейстера генерал-маиора Харкевича. Никто из нас не получил постоянного назначения. Нами пользовались, главным образом, для связи и для передачи ответственных приказаний. Для этой роли нас было слишком много, и потому сплошь и рядом для отдельных офицеров не находилось дела; они или сидели в тылу, в ожидании задачи, наряду с обыкновенными ординарцами, взятыми из строя, или находились при самом Куропаткине, который всегда держался с передовым штабом впереди, в сфере огня, наблюдая непосредственно за ходом боя с той или другой удобной сопки.

Тут же он иногда и отдыхал, укладываясь в тени какого-нибудь камня на вершине и накрываясь буркой.

Развитие проволочной связи было тогда слабым и связь преимущественно опиралась на старомодное средство — конных ординарцев. Телефоны бойко работали, пока армия стояла на месте, но в движении и в бою еще не научились сохранять и поддерживать эту связь на широком фронте. Донесения с отдаленных участков опаздывали, так же как и отданные приказания не поспевали за быстро меняющейся обстановкой.

В этих приемах армейского управления и в желании Куропаткина лично участвовать в бою, полагаясь на свои собственные глаза, которые могли охватить лишь весьма ограниченный участок, чувствовалась традиция русско-турецкой войны 1877-78 гг.; автор труда « Ловча и Шейново » и участник этих скобелевских боев не мог еще отделаться от тогдашнего опыта; лишь в Мукденской операции в феврале 1905 года мы видим применение густой и более эластичной проволочной связи и отказ Куропаткина от примитивных способов управления. Правда, он уже тогда Главнокомандующий

---

*) Шахейская операция вошла как отрицательный пример в мою книгу « Маневр », 1912. СПБ.

над двумя армиями, и бессмысленность выездов на тот или другой участок боя была слишком очевидна.

Куропаткин « выезжал в бой » верхом, сопровождаемый довольно многолюдной свитой и конвоем, разделенными обыкновенно на три группы, чтобы не привлекать внимания и огня неприятеля. За исключением казаков конвоя, одетых однообразно и по форме, все остальные поражали пестротой одежды, в основе которой лежала личная импровизация. Сам командующий армией был неизменно одет в генеральскую серую « тужурку », подпоясанную серебряным шарфом, что представляло неожиданное сочетание домашней, внеслужебной формы с парадной. В свите мелькали сюртуки, кожаные куртки разных оттенков, кителя, рубахи. Долговязый полковник Н. А. Данилов, так называемый « рыжий », занимавший в штабе самую небоевую должность начальника полевой канцелярии, облекался в мундир со всеми орденами. Казалось, он воображал себя одним из героев батальной картины эпохи 1812 года.

Нужно отдать должное Куропаткину : он, несмотря на плохой оборот сражения, оставался всегда невозмутимым, ничем не выказывая беспокойства и присутствия нервов. Это хорошо действовало на окружавших и отражалось на всем управлении. Творчество хромало, но дух всегда и везде оставался на высоте, часто исправляя ошибки командования.

В последние дни операции нажим японцев в центре привел было к неустойке на фронте одного полка; тогда Куропаткин двинул в угрожаемом направлении свежий полк из остававшегося небольшого резерва и сам, спешившись, лично повел этот полк вперед. Вечерело. На фоне потухающих красок силуэт фигуры Куропаткина неторопливо покачивался на слегка согнутых немолодых ногах, ступавших по кочкам и жестким торчкам стеблей убранного гаоляна; посвистывали ружейные пули и рвались то шрапнели над головой, то так называемые « шимозы » (гранаты) по полю, поднимая клубы черного дыма и земли. Невольно на память приходило описание Львом Толстым в « Войне и мире » Шенграбенского сражения и то место в нем, где картинно изображен Багратион, ведший по пахоти пехотный полк в атаку « неловкой походкой кавалериста ».

Так как Куропаткин не мог лично быть всюду, где,

думал он, нужен был хозяйский глаз, он держал при штабе двух-трех штаб-офицеров Генерального штаба на случай необходимости « заглянуть » на тревожный участок и направить там боевое дело. Он говорил про этих посланников : « Это надежный офицер » — и, действительно, храбрый полковник Запольский или расторопный Линда седлали своих коней и отправлялись командовать — на день, на два, на несколько часов — какимнибудь временным отрядом.

Образование таких случайных соединений тоже являлось печальным наследством русско-турецкой войны 1877-78 гг. и еще более — наших среднеазиатских походов. И чем сложнее была обстановка, тем чаще прибегал к этому средству Куропаткин, распространяя сложность и запутанность на весь механизм управления.

В критические дни Мукденского сражения, когда обнаружилось обходное движение армии генерала Ноги, угрожавшего выйти в глубокий тыл нашего правого фланга, все внимание Куропаткина обратилось на пассивную оборону этого участка фронта. Сюда по приказанию Главнокомандующего, нервно менявшего одно за другим свои распоряжения, направлялись не крупные войсковые соединения, сплоченные еще в мирных условиях, а надерганные отовсюду не только отдельные полки, но и батальоны. Из них составлялись случайные отряды, носившие наименования по фамилиям их начальников, и этим совершенно нарушалась вся стройность войсковой организации. Часто в диспозициях и в других распоряжениях распределение, состав и расположение этих случайных отрядов вовсе не соответствовали действительности.

В эти дни 17-22 февраля 1905 года исчезли растворенные в различных отрядах не только корпуса, но и дивизии нашей 2-й армии. В группировке наших войск справа налево они были заменены временными соединениями следующих наименований : отряд Запольского (6 батальонов), отряд Бригера (8 батальонов), отряд Де-Витта, Отряд Топорнина, отряд Чурина, отряд генерал-лейтенанта Русакова (121-й, 54-й и 56-й пехотные полки), отряд генерал-маиора Гершельмана (33-й, 122-й, 241-й пехотные, 8-й стрелковый полки, 1 батальон 60-го пехотного полка), отряд Голембатовского, отряд полков-

ника Кузнецова (59-й пехотный, 3-й и 4-й стрелковые полки), отряд Лисовского, отряд Петерова и другие.

На этом фронте неразрозненными крупными соединениями оставались лишь 1-й Сибирский корпус и 25-я пехотная дивизия.

Как на пример дезорганизации, можно указать на состав сводной дивизии Гершельмана, в которую были включены части трех корпусов и пяти дивизий.

Не только нормальное управление и использование, но и снабжение этих сборных отрядов было совершенно невозможно.

. . . .

Из личного моего участия в Шахейской операции урывками вспоминаются вперемешку с бездействием поездки с разными поручениями на боевой фронт и производство летучей съемки в районе наших передовых войск. Некоторые из этих задач исполнялись под огнем, почему я начинал чувствовать себя если не обстрелянным, то все же получившим уже « боевое крещение ». Оно было обозначено впоследствии вещественным доказательством на шашке — анненским красным темляком, известным под коротким именем « клюквы ». Темляк сопровождался орденским крестиком и надписью « за храбрость » на эфесе. Обыкновенно это было первою боевою наградою.

Вспоминаю, что и я удостоился однажды получить от Куропаткина поощрительный титул « надежного офицера ». Под самый конец операции обе стороны стремились посредством мелких взаимных толчков установить выгодное для себя заключительное равновесие; нужно было срочно передать инструкцию одному из наших правофланговых корпусов для атаки на рассвете высоты, которой мы придавали значение и которою успели завладеть японцы. Для передачи этой инструкции назначили меня и вызвали поздно вечером к самому командующему армией. Объяснив, что требовалось, Куропаткин вручил мне, кроме того, письменное приказание и, обращаясь к присутствовавшим чинам штаба, сказал своим медленным, сдобным баском : « Это надежный офицер ». Надежному офицеру оставалось щелкнуть благодарно шпорами и отправиться в путь.

До штаба корпуса было 20 верст. Темнота безлунной ночи увеличивалась еще тем, что небо было затянуто тучами. По временам нас с моим казаком — ординарцем поливал дождь. Времени в моем распоряжении было в обрез : идя, без остановок, переменным аллюром, ночью, по незнакомой местности, мы должны были затратить на пробег не менее трех часов. Выступили мы примерно в полночь. После прибытия в штаб корпуса около трех часов ночи до начала предполагавшейся атаки оставалось всего часа три.

В штабе корпуса все крепко спали, и прошло некоторое время, пока начальство было готово к восприятию задачи. Но едва приступили к обсуждению мер, на которых настаивал Куропаткин, как от него же пришла — по проволоке — отмена атаки.

Так неожиданно быстро закончилась миссия « надежного офицера », и он, на законном основании, мог, одновременно с чинами потревоженного было штаба корпуса, лечь спать на ближайшем « кане » *) командирской фанзы.

Больше всего досталось нашим лошадям : в короткий срок они сделали туда и обратно 40 верст с небольшим отдыхом.

Вспоминаю еще поездки, тоже в темноте, для установления связи с войсковыми частями, отступавшими после неудачного сражения на северный берег р. Шахе. Тут, среди войсковой колонны, черной змеей взбиравшейся на высокую сопку Эрдагоу, нашел я « пропавшего » начальника 37-й пехотной дивизии генерала Чекмарева, которого мне было приказано отыскать. Это был мой бывший командир полка. В привычной мне егерской форме сидел он в знакомой грузной позе на своем вороном коне; на лице его были написаны волнение, непонимание обстановки и растерянность. После Шахейского боя он « заболел » и покинул театр войны. Уехал с ним и другой старый егерь С. И. Щербинский, командовавший в той же дивизии полком. Этот образцовый в мирное время офицер тоже не выдержал боевого экзамена.

---

*) Род кирпичной скамейки, или полатей, согреваемых горячим паром изнутри. Своего рода центральное паровое отопление!

Возвращаясь с Эрдагоу в штаб армии, в с. Хуаньшань, по дороге я едва не утонул с лошадью в грязи. Превосходная в начале операции погода испортилась в первых числах октября. Шли дожди и привели маньчжурскую глинистую почву в буквально невылазное состояние. Немощеные дороги в высоких берегах между холмами превратились в глубокие канавы, наполненные жидкою грязью. Тянувшиеся по ним отступавшие обозы и китайские двухколесные арбы — наемные транспорты — вязли по ступицу, застревали и загораживали всякое другое движение. Моя лошадь, обходя повозки сбоку, не раз проваливалась в месиво из глины по брюхо. Была к тому же кромешная тьма, оглашаемая гортанным понуканьем китайцами своих мулов и площадною руганью русских обозных.

Ночевать приходилось как попало. О младшей братии Генерального штаба не заботились, и подчас нас набивали до краев в какую-нибудь глинобитную фанзу с зияющими дырами вместо окон и дверей и с продавленной крышей. В октябре по ночам стало холодно. Раздеваться было нельзя. От пыли и грязи одного такого помещения и долгого нераздевания мы сделались жертвами вшей.

Трудно было и с устройством лошадей и их кормом. В результате неудачной временной конюшни погиб мой милый кабардинец. Ему попалась в корму какая-то ядовитая солома. Отрава выразилась в желваках, которые пошли по всему телу. Поднялась температура; он « слег ». Ветеринар приговорил коня к смерти. Бедное животное вывели с трудом на задворки селения и там, в моем присутствии, пристрелили. Это было тяжело.

У меня была другая лошадь, вьючная. Вскоре мне удалось купить на место кабардинца молодого « сибиряка », принадлежавшего раньше Великому Князю Борису Владимировичу, покинувшему армию. Вероятно потому, что Великий Князь служил в лейб-гусарах, и лошадь была гусарской масти, — серая в яблоках.

Статьи его не могли сравниться с предшественником, но, будучи грубее, коренастый конь этот переносил легко и большие пробеги, и непогоду, и не всегда изысканный корм. А по сопкам он карабкался, как коза, соперничая в этом с моей второй лошадью. Эта последняя — малорослая забайкалка, с лохматою шерстью, имела

манеру : стоило всаднику сесть в седло, как она норовила укусить его за правое колено!

Когда, в начале октября, операция постепенно замерла с явным намерением сторон передохнуть и устроиться на зимовку, штаб Куропаткина не вернулся в Мукден, а осел в Хуаньшане, где застала его остановка. Селение это лежало в складках, спадающих от отдельной сопки, на лысой вершине которой возвышалась кумирня в обществе нескольких низких, узловатых деревьев. Как-то зимой, среди боевого затишья, я застал на этой сопке академика-баталиста Н. С. Самокиша за мольбертом. Он набрасывал солнечный этюд кумирни на выгодном фоне голубого неба, подчеркивая желтизну крепкой от мороза, но бесснежной земли и холодные, синеватые тени.

Штаб находился в расстоянии верст 5-6 от наших позиций, для армейского штаба — близко, но вне сферы артиллерийского обстрела. Шрапнели и гранаты японцев рвались иногда на линии войсковых резервов и тылов. Эти резервы были наблюдаемы из Хуаньшаня, но самое селение не обстреливалось.

Довольно скоро штаб устроился здесь с относительным удобством. Комендант главной квартиры, находчивый и энергичный Сапфирский, разгрузил стоянку, оставив в селении только наиболее важные учреждения штаба; остальные были отодвинуты дальше в тыл. Затем началось украшение Хуаньшаня на русский лагерный лад. Появилось нечто вроде « линеек », а щедро расходуемая белая известка покрыла некоторые архитектурные линии фанз, столбы, стволы редких деревьев и даже камни. В особенности камни, которые своей белизной должны были помогать в темноте разбираться в плане селения.

У чинов штаба появилось свое офицерское собрание. На приведенных в порядок фанзах красовались дощечки с надписями : « генерал-квартирмейстер », « дежурный генерал » и т. п. Перед фанзой командующего армией, у двери стоял и шевелился на ветру своим желто-черным полосатым полотнищем Георгиевский зна-

чок; он сопровождал Куропаткина, когда совершался выезд в поле с конвоем.

Рядом поместились адъютанты и ординарцы, а еще ближе, в самом доме командующего армией, Володичка Остен-Сакен, муж кузины Нины, и мажордом Куропаткина.

Разбили большой шатер, который служил столовой для командующего и его ближайшей свиты.

Налаживалась регулярная и спокойная штабная жизнь.

Получили постоянные назначения и мы, молодые офицеры, причисленные к Генеральному штабу. Кое-кто уехал на фронт, в войсковые штабы; остальные остались в штабе армии, в том числе и я. Меня взял к себе помощником начальник разведывательного отделения подполковник барон А. Г. Винекен. Дело было живое, интересное, а мой начальник — симпатичный, бодрый, жизнерадостный и работящий человек, с которым у меня сразу установились отличные отношения.

Он имел университетское образование, частью полученное в Германии (кажется в Лейпциге), но его потянуло на военную службу. Винекен, отбыв положенный год воинской повинности лейб-гвардии в Гусарском Его Величества полку, держал экзамены и был произведен в офицеры в тот же полк. Для службы в нем требовались немалые средства; Винекен располагал хорошим состоянием сам; женился впоследствии на О. Н. Логиновой, богатой пензенской помещице. Материальная независимость эта могла исключить ту или другую служебную лямку, но Винекен любил труд и обладал полезным запасом честолюбия. Пошел в Академию, по окончании которой сделал заметную карьеру. Мне пришлось быть его сослуживцем после русско-японской войны еще два раза : в Главном Управлении Генерального штаба (1910-11 гг.) и в Особой армии (1916 г.). Случилось так, что я немного опередил своего бывшего начальника и первого наставника по службе Генерального штаба старшинством в чине генерал-маиора — за боевое отличие — и в конце 1916 года оказался даже его начальником по своей должности генерал-квартирмейстера штаба армии. Винекен, откомандовав лейб-гвардии Гродненским полком, был в то время начальником штаба Гвардейского кавалерийского корпуса, входивше-

го в состав армии. Тут и закончилась трагически его карьера, к чему я вернусь в своем месте.

В Винекене были приятны его безукоризненное воспитание, манеры, выдержка и скромность. Он, конечно, совершенно не подходил под тот чванный тип офицера Генерального штаба, который так не любили в строю.

Он свободно владел немецким, французским и английским языками; даже, пожалуй, свободнее, чем русским. В Главном Управлении Генерального штаба Винекен заведовал « франко-английским », то есть союзным отделением, а мировая война застала его в должности военного агента в Вене. Гродненскими гусарами он командовал во время войны год или полтора (1915-16) и по сдаче полка был зачислен в его списки.

В мирное время он перевел и издал два труда о войне 1904-5 гг., вышедшие на английском языке.

По своей должности во время войны 1904-05 гг. Винекен постоянно имел дело с представителями иностранных армий и корреспондентами печати. В круг ведения нашего отделения входила также и военная цензура.

Главная же наша задача заключалась в сборе, систематизации и синтезе сведений о противнике. Самым ненадежным и противоречивым источником этих сведений были китайцы-лазутчики, которыми ведали два офицера, владевшие китайским языком. Самым верным и несомненным — пленные, для допроса которых в нашем распоряжении был Тихай, переводчик-японец из Владивостока. Существенным являлись также письма и знаки мундирных отличий, которые находили на убитых и на пленных.

После боя, если это было относительно недалеко от штаба армии, кто-нибудь из офицеров разведывательного отделения выезжал с незаменимым Тихаем на место боя для скорейшего сбора сведений и так называвшихся « документальных » данных — в отличие от « вероятных » или только « предположительных ».

Последняя свирепая схватка Шахейского сражения прошла на сопке « с отдельным деревом » в центре той линии, на которой мы решили окончательно задержаться. Японцы было ею завладели, и Куропаткин, по своему обыкновению, наскоро сформировал сборный от-

ряд под начальством одного из бригадных командиров генерал-маиора Путилова для отобрания сопки. Оставить ее в руках противника значило бы подать нашу линию еще дальше назад, так как японцы получали бы отличный обзор и, следовательно, обстрел в глубину наших позиций. Пришлось бы и штабу армии уходить из Хуаньшаня.

Японцам не дали времени устроиться на захваченных горках и ночной атакой, в штыки, мы выбили их с этой позиции.

Сопка была официально переименована в Путиловскую, а соседняя, тоже атакованная нами и возвращенная, — в Новгородскую, так как штурмовали ее части, пополнявшиеся уроженцами, главным образом, Новгородской губернии.

Победа эта была одним из редких случаев в течение отступательной Маньчжурской кампании, когда поле сражения осталось за нами и когда чины разведывательного отделения могли пожать ее лавры; можно было точно определить по убитым и пленным японцам и захваченным документам состав войск противника на этом участке.

Я тогда еще не принадлежал к разведке, но выехал с некоторыми другими офицерами штаба на Путиловскую сопку на другое утро после ночного боя, всего через несколько часов.

Это было зрелище, подобное которому мне довелось увидеть еще только однажды, в ноябре 1914 года под Краковом: поле сражения, густо, точно в боевом порядке, усыпанное трупами, своими и чужими. Наших — меньше, отчасти потому, что многих успели убрать. По расположению и позам тел можно было дорисовать картину отдельных эпизодов жестокого рукопашного боя. Маленькие японцы, уже одетые по-зимнему, с желтыми околышками своих фуражек, на подкладке которых разведчик найдет нужный ему номер полка, лежали то группами, то поодиночке, иногда еще продолжая сжимать ружье с примкнутым штыком-ножом. На мертвенной бледности монгольских лиц застыло выражение то озабоченности, то удивления, иногда — неожиданно полного спокойствия крепко спящего человека...

Вокруг кипела жизнь : наши стрелки рыли подмерзлую твердую землю, укрепляя склоны сопки, обращен-

ные к японцам, устраивая блиндажи в тылу, трасируя ходы сообщения; убирая валявшиеся предметы снаряжения и трупы.

Через день-другой, думалось, от только что пережитой драмы не останется и следа.

Разведывательное отделение делило в Хуаньшане фанзу с картографическим. Кроме нас с Винекеном в ней поместились Сергей Алексеевич Кузнецов, начальник этого отделения, и его помощник В. В. Сахаров, мой однополчанин и друг, с которым я жил однажды в Академии во время съемок, а затем на петербургской квартире в течение последних восьми месяцев академического курса. Жил с нами еще и другой мой старый товарищ по корпусу и Академии — А. Н. Шуберский *), тоже оставшийся при штабе армии. Так как и С. А. Кузнецов оказался очень милым человеком и приятным компаньоном, то наша группа зажила дружно; мы и при дальнейших переездах продолжали держаться вместе, как семья. Нашему сближению помогло то, что все мы были из гвардии, — говорили на одном языке **).

В этих условиях и работа шла гладко, без трений. На мою долю выпала задача критического анализа всех сведений, поступавших о противнике, и составление ежедневных сводок, которые представлялись командующему армией и рассылались во все старшие штабы. Я использовал свою привычку прибегать к чертежу для пояснения идеи и ввел в сводки схемы и диаграммы; благодаря им текст наших доказательств и выводов терял свою сухость, а читатель мог одним взглядом обнять существенные черты сводки. Схемы эти приобрели в армии популярность, а в Петербурге, как я узнал после войны, обратили на себя внимание вновь образованного Главного Управления Генерального штаба.

---

*) Коренной офицер гвардейской конно-артиллерийской бригады. Для ценза командовал ротой лейб-гвардии в Егерском полку.

**) С. А. Кузнецов был офицер лейб-гвардии Литовского полка. В войну 1914-17 гг. командовал одно время лейб-гвардии Кексгольмским полком в своей родной дивизии. Я встретился с ним в декабре 1918 г. в Москве. Кузнецов был вынужден поступить на службу в Главный Штаб Красной армии и погиб впоследствии как скрытый « белогвардеец » и « контрреволюционер ».

Кроме этой работы, приходилось регулярно шифровать и расшифровывать телеграммы, что равномерно распределялось между всеми младшими чинами штаба.

Когда приводили пленных, надо было присутствовать при их допросе и направлять его.

Документы, которые находили на пленных и убитых, могли разобрать только наши переводчики — штабс-капитан Блонский и « чиновник » Тихай. Частные письма, получавшиеся японскими солдатами, часто давали ценные указания, — военная цензура корреспонденции того времени еще не достигла полноты и совершенства даже у более осторожных и хитрых японцев. Характерно было нередкое наличие среди этих документов неприличных эротических рисунков, иногда искусно исполненных в стилизованном японском духе.

Наступила зима, почти бесснежная, с заморозками и, подчас, свирепыми холодными ветрами; но небо обыкновенно было голубым, дни — солнечными, а ночи — ярко звездными. Выходили перед отходом ко сну посмотреть на созвездия и, найдя Большую Медведицу и Полярную звезду, думали : « Вот в какой стороне наш далекий Петербург ».

Когда выдавалось свободное время, совершали небольшие поездки верхом, чтобы промять своих лошадей. Ближе всего к штабу была Путиловская сопка, куда ездили, чтобы посмотреть с нее, как живут и что делают японцы. От штаба к этой горке проложили прямую, как стрела, дорогу. Она несомненно была хорошо видна в ясный день с японских наблюдательных пунктов и обстреливалась артиллерийским огнем, если замечалось по ней движение.

Как-то раз, возвращаясь с Путиловской сопки с моим конным ординарцем, попали и мы под этот обстрел. На дороге в то время не было никого, кроме нас, но японцам, вероятно, почудилось, что едет какой-нибудь начальник и они выпустили 2-3 гранаты по двум всадникам. Гранаты дали недолеты, но упали они на самой дороге, а последняя всего в шагах 15-20 позади нас. Надо было подавить желание прибавить ходу и заставить себя, наоборот, скорее его сдержать.

Подобной-же стрельбе « из пушек по воробьям » подвергся я еще раз в Галиции в 1915 году, когда командовал 123 пехотным Козловским полком. Австрийцы

заметили двух всадников при их приезде на позиции и, очевидно, решили проследить возвращение в тыл, видимо, начальника. Когда мы с ординарцем шли рысью по той же дороге, долиною между холмами, довольно далеко впереди нас разорвалась одинокая пристрелочная шрапнель. А когда мы достигли этой дистанции, другая (и последняя) разорвалась буквально перед головой моей лошади! Хорошо, что на этот раз был перелет, а не недолет: как известно, пули шрапнели летят снопом вперед.

Моя лошадь, я сам и мой ординарец отделались легким потрясением. Лошадь рванулась в сторону, и с австрийского наблюдательного пункта наверно представилось, что снаряд сделал свое дело.

Мы переждали в стороне от дороги с полчаса и только тогда вернулись на нее продолжать свой путь в штаб полка. Офицер из резерва видел, как розовый дым разрыва окутал нашу конную группу, и прибежал справиться — благополучны ли мы. В штаб же полка передали по телефону, что « кажется, убит или ранен командир полка ».

Надо было отдать справедливость австрийскому орудию — оно ударило почти в яблоко движущейся мишени, — и затратило всего два снаряда!

Но вернемся на десять лет назад в Маньчжурскую армию, в Хуаньшань. В бытовом отношении мы жили хорошо, даже не без удобства, как и вообще вся армия. Куропаткин проявил себя заботливым хозяином; интендантство и военные сообщения у него работали успешно, несмотря на то, что почти все, за немногими исключениями — вроде мяса, доставлявшегося из Монголии, надо было привозить из Европейской России по одной железнодорожной колее. Война заставила приступить к постройке второй колеи, но успели увеличить только число разъездов. Преодоление без заминок 8.000 — верстного расстояния от нашей основной базы, причем все время подвозили еще войска и пополнения, было видным административным достижением. Это была наша первая война, которая не вызвала нападок на интендантскую часть и жалоб на злоупотребления по довольствию войск *).

---

*) Добром, в этом смысле, поминает Куропаткина в своих

Так же хорошо была поставлена санитарная часть, и армия не знала эпидемий, которые в прежние войны косили боевой состав больше, чем самые кровопролитные сражения. Здоровым, по-видимому, оказался и воздух Маньчжурии. На этом воздухе и на сытных харчах вид солдат был цветущим.

Для офицеров пооткрывались в районе армии подвижные отделения офицерских экономических обществ, приславших своих представителей из России. В этих « лавочках » можно было купить не только все необходимое, но и кое-что сверх того. Когда в декабре 1904 г. в Хуаньшане случился пожар в нашей фанзе разведывательного отделения и сгорели все мои вещи, составлявшие « вьюк » и полевой багаж, я смог немедленно пополнить их из ближайшей « экономки ».

Время от времени Куропаткин приглашал к себе на обед чинов разных управлений штаба, квартировавших в Хуаньшане. Бывало это обыкновенно вечером в его шатре-столовой и скорее подходило под термин « ужина ». Столы накрывались « покоем », в форме буквы « П ». Куропаткин ,сидя в центре, был окружен своими старшими помощниками и адъютантами. Гости, по чинам, занимали места по обе стороны этого ядра, младшие по концам.

Мы, молодежь, ходили выполнять эту повинность гостей командующего армией без особого удовольствия. Куропаткин в течение всего обеда повествовал о своих достижениях, взвешивая каждое слово и слушая самого себя. Но его должны были слушать в почтительном молчании и гости, и церемонию эту мы считали скучной и слишком длинной.

Вскоре после того, как армия осела на Шахейских позициях и наступило зимнее затишье, было решено сформировать вторую и третью армии, частью из корпусов и частей, уже присланных, и частью — из продолжающих прибывать из Европейской России. В декабре 1904 г. это сформирование состоялось. Новые армии по-

---

мемуарах Ю. Данилов, об окопном соседстве 1915 г., и мой брат-по службе на Северном фронте в 1916 г.

лучили название «второй» и «третьей Маньчжурской», а наша «Первой», причем в ней остались 2-й, 3-й и 4-й Сибирские корпуса (за исключением первого, который был назначен в стратегический резерв) и Петербургский 1-й армейский корпус, который успел принять участие в сентябрьском бою на р. Шахе. Первая армия обороняла восточную, горную, половину фронта, вторая — западную, плоскую, тянувшуюся к долине р. Ляохе и монгольской границе. Центр заняла третья армия.

При трех единицах боевого управления Куропаткин сделался настоящим Главнокомандующим.

Штаб Куропаткина отодвинулся из Хуаньшаня несколько назад, в район с. Чансумутунь, где он и чины штаба поместились в поезде, поставленном на одной из веток полевой железной дороги.

Штаб первой армии остался сначала в Хуаньшане, а затем перешел в горный район, к востоку от Эрдагоу, в с. Кхамаин *).

Неизбежны были перемены в личном составе штабов. От нас уехал с Куропаткиным генерал Харкевич, а на его место генерал-квартирмейстера штаба первой армии приехал генерал Орановский **) с новым командующим армией — Линевичем ***).

Н. П. Линевич, как и Куропаткин, был старый туркестанец и составил себе боевую репутацию в Азии. За Туркестан он имел Георгия 4 ст., а за командование русским отрядом в Китае в 1900 г. и взятие Пекина — Георгия 3 ст.

Седой как лунь, с короткой бородой и длинными подусниками, лысый, Линевич соединял в выражении своего рта, своих глаз, когда-то подчеркнутых черными нависшими бровями, а теперь белыми, добродушие с упрямством. Он имел давнее образование самого элементарного порядка и фельдфебельские взгляды, но обла-

---

*) Вскоре штаб вернулся обратно в Хуаньшань.

**) Паж, офицер гвардейской конно-артиллерийской бригады. Моложавый, высокий и стройный блондин с мягкими манерами. Во время войны 1914-17 гг. командовал кавалерийской дивизией и потом конным корпусом.

***) Генерал Орановский был женат на его дочери и служебно сопровождал своего старика-тестя в Маньчжурию.

дал крепким здравым смыслом, военным чутьем и знанием русского солдата. В войсках он был популярен и имел ласкательное прозвище « Папашки ».

« Папашка », однако, был способен вспылить и стукнуть кулаком по столу, когда шла речь о проведении в жизнь его воли. Вояка старой школы, не старавшийся понять разные технические новшества и ухищрения и едва ли слыхавший о Шопенгауере, Линевич казался нам более на месте, как командующий армией, чем Куропаткин. Впоследствии он доказал это во время трудного Мукденского сражения.

Ходившие про « Папашку » послеобеденные рассказы никогда не иссякали. Вспоминаю один из них из области si non est vero, — e ben trovato.

Склонный к семейной обстановке, Линевич держал при себе на войне, кроме зятя Орановского, еще и своего сына, офицера гвардейской конной артиллерии, в качестве ординарца.

Как-то после окончания рабочего дня « Папашка » зевнул, потянулся и объявил сыну : « Ну, теперь пора броситься в объятия Нептуна! »

— Не Нептуна, а Морфея, папа, — поправил сын.

— Это все равно! Из одной минералогии!

После Мукденского боя Линевич и Куропаткин поменялись местами : первый стал Главнокомандующим, а второй вернулся в свою первую Маньчжурскую армию. Линевич был пожалован генерал-адъютантом, но показать себя в новой роли стратега ему не привелось. Война решилась на море Цусимой. Известно только, что « Папашка » в период нашего стояния на новых, Сыпингайских позициях непрестанно и сердито бормотал себе в усы : « Сыпингая не отдам! ».

С водворением в Хуаньшане этого старого солдата в роли командующего армией исчезли в ближайшем его окружении и в штабном обиходе некоторые торжественность и церемониальность, к которым был склонен Куропаткин. Все стало проще и естественнее.

Вновь образованную 2-ю армию получил в командование генерал Гриппенберг — бывший начальником 1-ой гвардейской пехотной дивизии в конце 90-х годов,

когда я служил лейб-гвардии в Егерском полку*). Он имел репутацию боевого генерала, твердого и хладнокровного.

После трехмесячного стояния на позициях, было решено повторить наступательную попытку против японцев и поручить нанесение главного удара 2-й армии; она составляла наше правое крыло, и план заключался на этот раз в охвате левого фланга противника.

Наступление началось 12 января (ст. ст.) и вылилось в операцию Сандепу-Хейгоутай. Основная ее идея, как и в операциях под Ляояном и потом на реке Шахе, была хороша и обещала успех. Недурно было выбрано и время — через три недели после падения Порт-Артура, о сдаче которого мы узнали под Рождество. Осаждавшая Порт-Артур армия Ноги за этот короткий срок едва ли могла считаться свободной и способной к переброске на север. Потери ее были огромны. Она нуждалась в отдыхе и пополнении. Но основная мысль плана оказалась, как и в предыдущих армейских операциях, утраченной при исполнении; мелочи засорили сущность и невзятие нами селения Сандепу было достаточно для Куропаткина, чтобы отказаться от всего наступления. Несомненная доблесть войск и понесенные ими потери пропали даром.

В Шахейской операции была, по крайней мере, действительная угроза нашему центру и перегруппировка к стороне колонн, обходивших восточный фланг японцев, могла казаться сложной и рискованной; в резервах мог чувствоваться недостаток.

Но под Сандепу дралась одна 2-я армия. Ничто не угрожало 1-й армии; эта последняя в начале операции только симулировала активность, стоя на месте и ведя бесцельный артиллерийский огонь. Ничего не предпринимали на этом фронте и японцы. Куропаткин мог свободно выделить отсюда резервы для поддержания и развития атаки на правом фланге. Поэтому приказ отступить после четырехдневного боя был встречен в войсках с недоумением, а Гриппенбергом и его штабом — с возмущением. Считавшийся уравновешенным швед

---

*) Во время войны 1877-78 гг. командовал лейб-гвардии Московским полком и имел Георгиевский крест 3 ст. Происходил из финляндских шведов — дворян.

Гриппенберг потерял самообладание и совершил антидисциплинарный поступок: самовольно сложил с себя командование армией и уехал в Петербург.

Куропаткин еще раз обнаружил непонимание им техники охватывающего маневра; того, что успех его обеспечивается постепенным развитием охвата из глубины; что, если он задержан в одном месте, другие части, еще не скованные боем, должны забирать дальше в сторону, угрожая тылу противника. Именно таким движением, благодаря чутью командира 1-го Сибирского корпуса барона Штакельберга, самодеятельности войск, был наш выход к Хейгоутаю. Штакельберг был отрешен Куропаткиным за эту инициативу от командования!...

Характерно, что японские историки назвали сражение по имени Хейгоутая, считая именно эту фазу боя решительной. Мы окрестили бой именем Сандепу, первого селения, не давшегося нам в руки и против которого мы, так сказать, « застряли ».

Урока, данного Куропаткину маршалом Оямой и генералом Куроки под Ляояном, оказалось недостаточно. Нашему полководцу предстояло через месяц получить под Мукденом второй, и более наглядный.

Бесполезное кровопускание под Сандепу вызвало в армии естественные толки. В особенности горячо и критически эта операция обсуждалась в среде молодых офицеров Генерального штаба.

Ляоян Куропаткину простили с готовностью, поверив его донесению на Высочайшее имя, что он « вывел армию из тяжелого положения » и совершил аккуратное отступление, без оставления противнику трофеев. Простили и мертворожденное сентябрьское наступление на р. Шахе в надежде на будущее и на подходившие подкрепления.

Теперь доверие к талантам Главнокомандующего было подорвано серьезно.

Под живым впечатлением операции, за которой мы в штабе следили с лихорадочным интересом (и ожидали, что наступит и наш черед), я тогда же составил ее описание с критическими выводами. Получилась довольно объемистая рукопись. Построение моего этюда пригодилось мне впоследствии, когда я служи́л в Киеве в 1907 году. Мне было поручено сделать сообщение офи-

церам киевского гарнизона на ту или иную тему из войны 1904-5 гг. Я выбрал сражение Сандепу-Хейгоутай. Твердо стоявшую в моей памяти канву операции я должен был, конечно, углубить и развить. Доклад — мое первое ответственное выступление перед критической аудиторией — оказался удачным, и я собирался потом привести в порядок мои записки и напечатать это исследование. Но так и не собрался. Не хватило свободного времени.

---

12 февраля 1905 г. началось большое Мукденское сражение. Большое — по числу сражавшихся и по упорству, проявленному обеими сторонами. В первый раз в истории войн на одном поле боя встретилось свыше полумиллиона войск. В первый раз одно и то же сражение длилось две недели.

Оно, однако, не решило кампании, хотя фактически оказалось на суше последним.

Японцы давно готовились к общему переходу в наступление и ждали лишь возможности притянуть на Маньчжурский театр порт-артурскую армию Ноги. Кроме того, силы на этом театре должны были быть увеличены посредством сформирования новой, 5-ой армии Кавамуры.

Сдача Порт-Артура состоялась 23 декабря 1904 г. В середине января состоялось наше мертворожденное частное наступление, походившее скорее на усиленную разведку, а 12 февраля армия Кавамуры начала в горах атаку против нашего крайнего левого фланга. Японский план по всем правилам военного искусства заключался в том, чтобы отвлечь сначала внимание русского командования к этому восточному флангу, а затем нанести нам решительный удар в правый фланг посредством глубокого охвата. Для выполнения этой последней задачи была назначена армия Ноги, закаленная в жестоких десятимесячных боях против Порт-Артура.

На этот раз, таким образом, первые бои выпали на долю 1-й Маньчжурской армии, занимавшей левую половину фронта. Войска всюду дрались отлично, и японцы продвигались вперед медленно и с большими усилиями.

Постепенно бой разгорался и вправо, захватывая все новые и новые участки наших позиций. Когда, наконец, весь фронт был втянут в упорный бой, обозначился обход нашего правого фланга. Колонны армии Ноги наступали в промежутках между долиной р. Ляохе (граница с нейтральной Монголией) и укреплениями русского крайнего правого фланга. Местность в этом промежутке была открытая, плоская и неукрепленная. Мы наблюдали этот район одной кавалерией.

На охват японцев мы ответили все большим и большим загибом нашего правого фланга, что вызывало сложные перегруппировки и излюбленное Куропаткиным формирование случайных, недолговечных отрядов.

Все попытки оживить эти чисто пассивные меры частными переходами в наступление и вырвать инициативу из рук неприятеля не увенчались успехом. Едва ли не основной причиной являлось разрушение, по приказам свыше, организации постоянных войсковых соединений — корпусов, дивизий, даже полков. Выше был приведен пример до каких фантастических пределов дошла к концу сражения эта лихорадочная импровизация. Войска сами по себе дрались храбро, но при полной кустарности боевого управления результаты отдельных удачных столкновений сводились на нет, лишь оттягивая конечный отрицательный результат.

Между тем японцы систематической рокировкой войск достигали того, что как только одна их колонна натыкалась на упорное фронтальное сопротивление, другая оказывалась свободной для более глубокого охвата.

В распоряжении Куропаткина оставался для его ликвидации целый, еще нераздерганный корпус — 1-й Сибирский, который после Шахейского боя стал играть роль наполеоновской гвардии. И Куропаткин походил на Наполеона лишь в одном : как его великий предшественник, он тоже берег свой последний резерв.

Положение, однако, со дня на день ухудшалось. Центр, главным образом новая 3-я армия, сохранял свое положение. Наш загнутый правый фланг, в теории — 2-я армия, смотрел уже не на юг, а на запад. Он шел поблизости и параллельно единственной железнодорожной артерии Харбин-Мукден-Ляоян, соединявшей нас

с тылом армий и их базой. Эта линия сделалась уязвимой, и к ней явно тянулись обходившие японцы.

На левом фланге 1-я армия, твердо сдерживая напор двух армий, Кавамуры и Куроки, должна была, в свою очередь, податься на север.

Линевич был уверен, что если бы его усилили одним свежим корпусом, 1-я армия смогла бы разбить Кавамуру и в свою очередь охватить фланг неприятеля, противолежавший тому, на котором развивался главный удар. Куропаткин согласился на просимое усиление и « надежный », по его терминологии, 1-й Сибирский корпус спешными маршами направился в 1-ую армию.

Решение это было встречено в ней с восторгом. Думали, что победа на восточном конце длинного боевого фронта могла решительно изменить положение на западном фланге.

Мне было поручено провести подошедшие колонны 1-го Сибирского корпуса ближайшими путями на участок, откуда предполагалось на следующий день направить корпус для атаки в промежуток между армиями Кавамуры и Куроки. Задача, данная мне, требовала особого внимания, так как дело происходило безлунной ночью.

Но атака не состоялась.

Едва успел штаб армии отдать необходимые распоряжения и, что называется, нацелить корпус, как от Куропаткина пришла отмена. Сибирские стрелки должны были форсированными маршами возвращаться на запад, выручать наш правый фланг.

« Пожарная команда », сказал кто-то в штабе корпуса.

В общем же этот резерв нигде не принес пользы, прогуляв ценные часы с одного фланга на другой, туда и обратно.

Ко времени его прибытия к Мукдену общая обстановка изменилась так, что Куропаткин для сокращения фронта должен был отдать приказ об отходе нашего центра на позиции по р. Хуньхе, а на линии длинного загиба правого фланга, упорно теснимого японцами, отказался от дальнейших попыток к переходу в наступление.

Вечером 24 февраля Куропаткин отдал приказ об отступлении на север.

Последней каплей, переполнившей « чашу потерянной надежды » и повлиявшей на это решение, был никем не предусмотренный прорыв японцев у Киузаня на рассвете 24 февраля. Говорю « никем » потому, что он одинаково был неожидан для обеих сторон. При отходе 1-ой армии на линию реки Хуньхе ей предназначался чрезмерно широкий фронт, далеко не отвечавший силам армии, причем из 4-го Сибирского корпуса, в расположение которого входило селение Киузань, было приказано Куропаткиным выделить значительные силы для усиления пестрых и скороспелых оборонительных отрядов на правом фланге общего фронта. В результате исполнения этого приказа участок по обе стороны Киузаня занимался жидкой цепочкой из нескольких рот. Следовавшие по пятам 4-го Сибирского корпуса части 12-й японской дивизии из армии Куроки не могли встретить на этом ослабленном участке сколько-нибудь серьезного сопротивления. Но, кроме того, им помогла природа. С утра 24 февраля поднялся буран, который дул с юга на север и нес в лицо русским тучи песка с долины р. Хуньхе. Сибиряки, окутанные непроницаемым туманом этой желтой пыли, потерявшие оптическую связь по фронту и в глубину, внезапно обнаружили прямо перед собой силуэты японских пехотинцев. Под прикрытием бурана, переправившись вброд через Хуньхе, их цепи подошли без выстрела вплотную к нашим позициям. Удивляться тому, что фронт наших 12 рот был прорван, не приходилось. Не существовало в распоряжении старших штабов и резерва, чтобы восстановить положение. Оставалось принимать меры в глубине, чтобы японцы, свободно вошедшие в Киузаньскую долину, не продвинулись слишком далеко на север и не расширили бы прорыва по обе ее стороны.

Я чуть не сделался жертвой этого несчастного эпизода у с. Киузань откуда, припомнит читатель, началась четыре месяца перед тем моя активная служба Генерального штаба.

Дело в том, что накануне прорыва, 23 февраля, когда штаб 1-ой армии отошел на север от линии р. Хуньхе, я был послан со срочным наказом на крайний правый фланг армии, в штаб 1-го армейского корпуса. Проволочная связь с ним во время передвижений была утрачена, и я должен был доставить диспозицию по ар-

мии со словесной инструкцией на будущее. Я совершил со своим ординарцем-казаком длинный путь почти к самому Мукдену, исполнил поручение и, после короткого отдыха, утром отправился в обратный путь той же дорогой, вившейся между бесчисленными сопками. При этом я пользовался, кроме несовершенной карты, китайскими проводниками, которые, кстати сказать как правило, оказывались хорошо знавшими местность не только в крупных чертах, но и в мелочах, — до последней тропы. Так же хорошо знали « ходи » и тактическую обстановку вокруг, часто — раньше, чем о ней получались донесения от войск в штабы.

Нам нужно было пересечь Киузаньскую долину, немного севернее селения. Но мой китаец повел нас в какой-то обход и на мои протестующие жесты отвечал упрямым « шанго » и маханием руки в направлении более северном, чем то, которое я предполагал кратчайшим.

Пришлось покориться и послушно следовать за проводником по какой-то тропе и по безлюдной горной местности. Когда при этом явном обходе мы, наконец, пересекали Киузаньскую долину, китаец был взволнован. Песочный туман несся к нам из этой долины, а в нем, в расстоянии каких-нибудь 1000 шагов, виднелся медленно подвигавшийся вдоль долины развернутый кавалерийский строй. Я решил, что это была наша казачья полусотня, возвращавшаяся с разведки, и лишь спрашивал себя : почему такой строй у себя в тылу, а не колонна?

Ответ на этот вопрос я получил по приезде в штаб армии. Рано утром в тот день совершился прорыв у Киузаня, наши части отошли и начальство интересовалось, что и в каком месте я видел в Киузаньской долине.

По сопоставлении времени мне стало ясным, что конный развернутый фронт мог быть только японским. Китаец и песчаная завеса помогли двум изолированным всадникам избежать непосредственной и неприятной встречи с кавалеристами армии Куроки!

Отступление первой Маньчжурской армии Линеви-

ча совершилось в большом порядке, с рядом удачных сдерживающих боев на разных рубежах, и Киузаньский прорыв явился за весь длинный период этой операции единственным печальным обстоятельством.

Однако Мукденское сражение было проиграно до того. В первой же армии нарушившаяся на сутки связь была восстановлена и дальнейший отход продолжался беспрепятственно, « согласно с планом ».

Офицеры Генерального штаба высылались вперед для разведки и выбора позиций, удобных для арьергардных боев. Недостатка в таких рубежах в горной местности не было. Дни нам приходилось проводить в седле, а ночью еще выполнять штабную работу по своим специальностям. Для отдыха оставалось мало времени, но постоянное движение на чистом зимнем воздухе было приятно, все мы втянулись в эту жизнь и не чувствовали утомления.

Не помню, с каким поручением послали меня в Телин, следующий большой, после Мукдена, город к северу, во время общего отхода, но сохранилась в памяти мрачная картина в духе верещагинских полотен: серый день, пыль, большая площадь у серой железнодорожной станции, на которой аккуратными рядами сложены солдатские трупы в серых шинелях — сотни их — и снующая мимо безучастная, ко всему привыкшая толпа в таких же серых шинелях...

На этот раз Куропаткину удалось опять вывести армии « из тяжелого положения », но с большими усилиями и с большими потерями. Среди последних было много людей, попавших в плен вследствие наступившей в последние дни организационной неразберихи под Мукденом. Те выпавшие из управления части, которые мудро взяли направление по Полярной звезде на север, ускользнули и собрались потом на наших колонных путях отступления. Но отдельные группы блуждали на поле сражения, пока их не окружили и не забрали японцы. Оставили мы им и некоторое, мало заметное число орудий.

В общем же могло быть гораздо хуже, будь у про-

тивника свежие резервы и, в особенности, кавалерия *). Упорным боем мы успели измотать и истощить силы японцев. Они удовлетворились достигнутым успехом и серьезно не преследовали.

Это позволило нам, прикрываясь арьергардами, благополучно отойти на новые позиции, Сыпингайские, названные так по имени железнодорожной станции, где расположился штаб Главнокомандующего.

Впечатление от Мукденского поражения, при всей относительности его, было тяжелое; в Петербурге оно выразилось в том, что Куропаткин был отозван, а на его место назначен наш Линевич.

Совершенно понятно, что Куропаткину не хотелось возвращаться ни с чем и предстать на суд Государя и страны до окончания войны. Он «бил челом», прося оставить его в армии на любой должности. Государь дал ему в командование первую армию, главным образом те самые войска, с которыми он начал Маньчжурскую кампанию в 1904 году.

Таким образом, Линевич с частью своего штаба и с неразлучным Орановским отправился на запад, а Куропаткин приехал к нам в горы, на восток, захватив с собой своих преданных приближенных и адъютантов, в том числе Володичку Остен-Сакена.

В качестве генерал-квартирмейстера у нас появился новый человек, генерал-маиор Эверт *).

Долго служить под его руководством мне не пришлось. Орановский, уезжая в Сыпингай, взял с собой барона Винекена на должность начальника разведки, а тот спустя некоторое время выхлопотал и мой перевод помощником к себе.

---

*) Их слабая дивизионная конница представляла ничто в сравнении с числом сотен и эскадронов, которые мы собрали в Маньчжурии. Нельзя сказать, что мы сумели искусно распорядиться этим превосходством. Организованный нами зимой 1904 г. набег на Инкоу не принес никакий пользы и получил остроумное прозвище «наполза». Другое дело, если бы наша конная масса произвела переполох в тылу левого фланга японцев непосредственно перед нашим январским наступлением и в связи с ним (Сандепу).

*) После войны — командующий войсками в Забайкалье, а в войну 1914-17 гг. командующий армией и Западным Фронтом. Кавалер Георгия 3 ст. и генерал адъютант.

Тем не менее я успел пробыть недели три-четыре в штабе 1-ой армии при Куропаткине. Офицеры Генерального штаба были представлены ему с церемониалом. Их построили в шеренгу на дворе усадьбы, где помещался командующий армией и генерал-квартирмейстерская часть. У дверей дома Куропаткина стояли парные часовые. После некоторого ожидания в дверях появился « Володичка » и возгласил : « Командующий! »

Вышел Куропаткин и медленным шагом обошел всех нас, подавая руку и задавая вопросы. Мне он сказал : « А вас таки задело в бою, я слышал ». Это было первое известие, полученное мною о ранении брата. Куропаткин знал, что ранен Геруа, но забыл, который.

С водворением на позициях так называемого « мирного времени » части и штабы начали снова прочно устраиваться. В штабе армии открылась церковь, столовая, лавочки. Появился спутник Куропаткина Сапфирский со своей белой краской, желтым песком и воткнутыми вдоль дорожек деревцами.

Офицеров начали отпускать по очереди в тыл, в Харбин, на короткий отдых и « проветривание ».

Попросился и я в Харбин, где жили вместе моя жена и сестра Ольга.

Вскоре по возвращении состоялся мой перевод в штаб Главнокомандующего.

В штабе Линевича собралась вся наша старая хуаньшаньская компания : Винекен, Кузнецов, Шуберский, Сахаров, милый усатый Вахрушев *), ведавший личным составом Генерального штаба, и еще несколько других.

Но жили мы уже не в фанзах, на горячих канах с походными на них кроватями или спальными мешками, под мелкорешетчатыми окнами во всю стену с бумагой вместо стекол; поместились мы в пульмановских вагонах поезда Главнокомандующего, поставленного в

---

*) Во время войны 1914 г. командовал своим родным Пермским полком и водил его в контратаку верхом. Умер в Сербии в 30-х годах. Это был симпатичный, умный и очень скромный человек, образец для корпуса офицеров Генерального штаба.

открытом поле на специальной ветке недалеко от ст. Сыпингай.

Вагоны были комфортабельные, и обедали мы все вместе в вагоне-столовой. У Винекена было в распоряжении 4-местное отделение, а у меня, рядом, двухместное.

Тут составлялись, вычерчивались и утверждались разведывательные сводки, велись частные беседы на всевозможные темы, включая родственные; писались письма и шифровались телеграммы. В окна поезда часто стучал и мрачно гудел вокруг маньчжурский ветер. В свободное время, лежа на своем узком диване, я читал « Шерлока Холмса » Конан-Дойля в грубом русском переводе и многого не понимал в английской жизни. Что такое, например, Сити?

Испытали мы здесь и настоящий период дождей, напоминавший библейский рассказ о 40 днях и 40 ночах и превративший глинистую почву в хлюпающую трясину.

Мы деятельно готовились к новому бою (« Сыпингая не отдам! »); 3-я армия ген. Батьянова была оттянута в общий резерв и усилена.

Отдыхая от Мукденской встряски и залечивая раны, мы хорошо укрепились и получили значительный приток людей, орудий и материальной части.

На фронте царило полное затишье.

Оказалось оно дурным предзнаменованием: 14-го мая, как удар грома, пришло известие об уничтожении эскадры Рожественского в Цусимском проливе.

Затем начались переговоры о мире. Защищать Сыпингайские позиции или наступать от них так и не пришлось. Война была кончена.

Все же армии продолжали стоять на своих местах в готовности, на случай, если переговоры оборвутся.

Мы следили за ними скорее с надеждой на продолжение войны, а я, имея больше свободного времени, взялся за карикатуры и изображал, к удовольствию генерал-квартирмейстерской части, как Витте в Вашингтоне укладывает и снова раскладывает свои чемоданы в зависимости от хода переговоров.

Нужно было отдать должное Витте: он держал себя с японцами с достоинством и даже победителем! Без сильной и бодрой армии, стоявшей в готовности там,

далеко, на Сыпингайских позициях, это было бы невозможно.

Во время нашего штабного сыпингайского сидения в вагонах было приятно иногда сесть верхом и совершить хорошую проездку. Нас время от времени посылали на разведку. Выпало и на мою долю такое поручение и я с удовольствием, в обществе другого, старшего офицера Генерального штаба, казачьего разъезда и при отличной погоде совершил разведку путей большого района, не лишенного живописности. Удовольствие, однако, было отравлено тем, что мой компаньон, подполковник и бывший казак, настаивал на сбережении наших коней и заставлял нас идти почти все время шагом!

Я впервые понял, что этот спокойный аллюр в чрезмерной пропорции может утомить гораздо больше, чем любой другой.

Как-то Сахаров, Шуберский и я получили приглашение от наших бывших сослуживцев в штабе первой армии и отпросились у начальства на 3-4 дня « в отпуск » в первую армию. Получилась длинная поездка верхом и приятная перемена обстановки. В штабах первой армии и 4-го Сибирского корпуса мы встретились с несколькими товарищами, которые наладили ряд развлечений, включая « скачки » на приз! С благословения старика Зарубаева *), выдающегося во время войны командира 4-го корпуса, капитаны Крымов и Марушевский **) успешно играли роль хозяев, принимая гостей из штабов Главнокомандующего и первой армии. Представителями штаба Куропаткина были наши однокурсники по Академии гродненский гусар Половцев и ахтырский драгун Голеевский ***), которые давали кавалерийские советы.

---

*) После войны генерал-адъютант и Инспектор пехоты. Знавал в молодости в Сибири семью Пелино и, может быть, моего отца.

**) Крымов в 1917 г. командир конного корпуса. Застрелился в Санкт-Петербурге после столкновения с Керенским. В. В. Марушевский — начальник генерального штаба перед большевистским переворотом 1917 г., а в 1919 — командовал русским отрядом в Архангельске против большевиков.

***) П. А. Половцев после войны скоро вышел в отставку, а в 1914 г. поступил на службу, командовал Татарским полком

Когда на фронте было заключено наконец официальное перемирие, штаб Главнокомандующего приступил к постепенной ликвидации дел. Винекен командировал меня в Харбин для напечатания типографским способом, в форме книги, всех изданных нами разведывательных сводок с их схемами. Работа эта была медленная, и я фактически расстался с поездом, переселившись в Харбин, где соединился со своей женой.

Там прошла вся осень 1905 года. Сначала мы жили с относительным комфортом, в одном из русских правительственных домов, построенных в качестве квартир для служащих и имевших вид дач. Но вернулся хозяин квартиры (военный инженер Симановский) и нам, под конец, нужно было переселиться в гостиницу. Моя сестра Леля уехала в Россию раньше.

Одновременно подступили зима и революция. В Харбине стало опасно ночью переходить пустыри русской части города без оружия. В гостинице было грязно, неуютно; выдавленное стекло в окне заткнули подушкой и никто не заботился о том, чтобы вставить новое.

Мы были рады, когда закончилась и была благополучно сдана моя работа. Это обозначало мое освобождение из штаба и возвращение в Петербург. В качестве последнего « прости » мне повесили на шею Станислава с мечами (минуя орден св. Анны 3 ст.). Еще раньше, в течение лета, меня в числе других офицеров нашего выпуска из Академии перевели в Генеральный штаб; я надел его форму и сделался капитаном (переименован из штабс-капитанов гвардии). Винекен остался на некоторое время в армии, заканчивая дела, и вернулся лишь в начале 1906 года.

в так называемой Дикой дивизии, а в 1917 г. коротко командовал войсками в Петрограде у Керенского. В 1941 г. — живет у себя в именье в Монте-Карло и состоит одним из директоров знаменитого игорного дома. Напечатал свои мемуары на английском языке, исторически интересные только в отношении описания хаоса в дни его командования петроградскими войсками. Керенский произвел его в генерал-лейтенанты. Бежал затем с женой через Кавказ и Персию.

Н. Л. Голеевский — был впоследствии помощником военного агента в Лондоне и затем в Вашингтоне, где, кажется, оставался во время войны 1914-17 гг. Способный и культурный человек. В эмиграции как-то бесследно потерялся.

Путешествие наше в декабре в Россию заняло вместо прежней недели около трех. Всюду по линии бушевали революционные толпы; они останавливали поезда, которые простаивали часами и днями на пустынных разъездах. В Иркутске мы переселились на несколько дней в гостиницу, пока революционный комитет решал, пропустить ли дальше « буржуазный » поезд, давно потерявший свой титул « экспресса ».

Но были и удовольствия : мы обогнули Байкальское озеро по выстроенной во время войны у подножия скал железной дороге (прежде надо было переправляться либо на пароходе, либо по льду озера). Путь этот мы совершили на рассвете, в меняющихся красках которого грозные горы, теснящиеся к озеру, представляли незабываемую панораму. Мы с женой простояли полночи на площадке вагона, любуясь игрой красок мрачного пейзажа, в котором лиловые и синие тона постепенно изгонялись зловеще-красными, оранжевыми и нежно-розовыми, предвещавшими восход золотого солнца, и угловатыми линиями суровых скал, подчеркнутыми кружевом снежного узора.

Поезд местами, где не надеялись на прочность пути и побаивались обвалов, шел медленно, еле-еле, и можно было смотреть на эту декорацию, как из ложи театра.

Красив было также Иркутск зимой, в 40-градусный мороз, тихий, весь в искрах и бриллиантах на солнце, с деревьями, убранными снегом, на фоне глубоко-синего неба и с величественной Ангарой. Какая разница с летним Иркутском, жарким, пыльным, душным и бесцветным.

В общем, переезд сошел благополучно, если не считать, что в нашем отделении лопнула водопроводная труба и на ковре нарядного « международного вагона » получился непредусмотренный и не просыхавший узор от наводнения. Кроме того, на одной из бесконечных ночных остановок у нас украли корзину из сетки в коридоре. Там находились только кое-какие китайские вещи, купленные нами на « память », вазы и т. п., не имевшие особой художественной или материальной ценности.

Достигнув, наконец, Москвы, пересели с облегченным вздохом в поезд Николаевской железной дороги. И

это была большая удача : движение по этой линии революционеры остановили на следующий день!

В Петербурге предстояло решить, где взять службу и стараться ли остаться в столице (Сахаров и Шуберский, кончившие Академию выше меня, уже предназначались в штабы Петербургского округа, а я был следующим кандидатом). Но Петербург со своим чиновничьим, чернильным людом произвел на меня гнетущее впечатление. Хотелось из него уехать и освежиться. Привлекал меня Киев, которого до того я никогда не видал. Без труда я был назначен на первую открывшуюся там вакансию, — в штаб 42-ой пехотной дивизии.

Взяв затем двухмесячный отпуск, я уехал с женой заграницу, в круговую поездку с билетами Кука : Берлин, Франкфурт на Майне, Люцерн-Лугано, Генуя, Сан-Ремо — французская ривьера, и обратно, через Мюнхен и Вену.

Несмотря на то, что мой опыт в кампании 1904-5 гг. ограничивался работою в штабе армии, все же он принес мне новые знания и практическое понимание военных проблем. Обстановка была настоящая, условия конкретные, люди и характеры живые. Происходившее там становилось известно не только в крупном армейском масштабе; мы знали в достаточных деталях и боевую работу корпусов и дивизий. На наших глазах — недавних школьников — рос боевой опыт армии, исправлялись ошибки мирного воспитания и намечались основы новой тактической доктрины — на основании уроков русско-японской войны.

Само собой разумеется, что я хорошо познакомился и с вопросами постановки в армии разведки.

СЛУЖБА ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ШТАБУ В КИЕВЕ

Службу свою в Киеве я начал в марте 1906 года. Приехал я один, имея в виду выписать жену, остановившуюся в Петербурге у родителей, после того как будет подыскана подходящая квартира. Взял я, в конце концов, недурную квартиру в пять комнат в доме Ганке, № 3 по Круглой Университетской, на краю лучшей и « барской » части города, — в Липках. В двухэтажном доме было всего четыре квартиры и при нем довольно большой, заросший и тенистый сад. Кончался сад на обрыве, с которого открывался вид на низменную и захудалую часть Киева, — Лыбедь. Другой плоской частью был знаменитый торговый квартал Подол, распластавшийся на самом берегу Днепра. Это было еврейским царством.

Остальной Киев устроился на холмах — пяти или может быть семи — не могу утверждать, но твердо помню три горы : две по обе стороны Крещатика; по одной мне нужно было взбираться, чтобы попасть в штаб дивизии, мимо стоявшего на вершине древнего Софиевского собора; по другой и очень крутой — чтобы попасть обратно в Липки и домой. Наконец, на третьей, с которой мне регулярно приходилось иметь дело, находилось предместье Печерск с его Лаврой, катакомбами и военным училищем, где я преподавал.

Киев сразу произвел приятное впечатление своим живописным расположением на берегу Днепра, бульварами, садами и заметной после Петербурга мягкостью климата. Приехал я раннею весною. На севере еще не сошел снег, на Неве прочно стоял лед, а в Киеве распускались почки и деревья покрывались легкою, све-

жею зеленью. Теплый ветер, тополя и каштановые деревья на бульварах напоминали о юге.

С крутых скатов Царского сада и с вершины, на которой стоял бронзовый св. Владимир с торжественно поднятым крестом, открывался чудесный вид на разлившийся Днепр. Вода далеко заливала низменный противоположный берег, Черниговской уже губернии, до самого горизонта и казалось тогда, что Киев был расположен на берегу моря.

Если впечатление о Киеве создавалось приятное, то этого нельзя сказать про мою первую штабную службу мирного времени. В подчинении у начальника штаба дивизии, полковника, полагалось два помощника — один по хозяйственной, другой — по строевой части, этот последний — Генерального штаба. Кроме того, обыкновенно состоял в прикомандировании отдельный офицер из строя для заведования мобилизационной частью.

Хозяйственно-мобилизационная часть требовала особой тренировки и возможного постоянства лиц, ведавших ими. На этих помощниках лежала львиная доля существенных и ответственных вопросов, с которыми приходилось иметь дело штабу дивизии. Все остальное относилось на долю « строевой » части. В громадном большинстве это была пестрая переписка вверх и вниз по командной лестнице по самым разнообразным вопросам. Лишь изредка перепадало что-нибудь из области обучения и воспитания войск, что требовало некоторого размышления и точно подходило под рубрику « строевой части ». И в каждую данную минуту в русской армии на этой бесхарактерной бумажной работе, носившей образное название « текущей », сидела сотня капитанов Генерального штаба, примерно по числу пехотных и кавалерийских дивизий.

Начальником штаба оказался у меня Александр Петрович Карцев, как нельзя лучше подходивший для демонстрации того, во что может обратиться офицер Генерального штаба, прошедший аккуратно через все бумажные этапы его карьеры. Бумага, или, ласкательно, « бумажка », приобрела для него, независимо от сюжета, священное значение. Чем больше тем лучше! После окончания официальных штабных часов Карцев, задержав нас, помощников, на лишние полчаса, сам оставал-

ся в штабе еще на другие полчаса в обществе дежурного писаря, на случай прихода новой « почты ». Принося в жертву без всякой нужды свое свободное время, он искренно и без рисовки думал, что приносит пользу делу.

Когда же наступали лагери и дивизионные маневры и необходимо было составлять боевые приказы и диспозиции, Карцев становился мучеником. Он запирался в кабинете на часы, окружал себя уставами и справочными книжками по тактике и таким образом, в поте лица своего, « высиживал » требуемые распоряжения. Своему помощнику по « строевой » части он не доверял этой работы, которой сам боялся, и младший офицер Генерального штаба, в памяти которого еще были свежи нужные шаблоны, к ней почти не привлекался, продолжая никогда не перестававшую « течь » рядовую переписку.

При всем том не уважать Карцева было не за что. Это был человек так же крепко сшитый морально, как и физически. Честный, упрямый и тупо добросовестный, он мог развить воловью работоспособность. Другой вопрос — было ли достаточно только этих качеств для хорошего офицера Генерального штаба.

Интереснее и живее был начальник дивизии генерал Мартсон, тоже Генерального штаба. Умный и спокойный, он смотрел в суть военного дела, которое понимал и за которым следил. Будучи холостым и со спартанскими привычками, Мартсон отдавал этому делу много времени. Особенно чувствовалось его руководство в лагере под Киевом, на р. Сырце, среди войск и их тактических упражнений в поле.

Между прочим Мартсон организовал и успешно провел дивизионный маневр, главным эпизодом в котором являлась переправа, в боевых условиях, дивизии через реку с наведением понтонного моста. Это отличалось от обычных трафаретных маневренных сражений и было встречено войсками с увлечением.

Моим постоянным канцелярским компаньоном и соседом был « хозяйственный » адъютант штаба Сергей Александрович Тюменев. Он совершенно искренно любил эту свою штабную работу, не считал служебных часов и сделался виртуозом по нахождению всевозможных справок в законах и в массе разных « руководя-

щих» приказов. Часто его изыскания походили на решение сложной задачи при помощи логарифмических таблиц.

Его канцелярские таланты не засушили его, однако, и не убили милых человечных черт, благодаря которым он привлекал к себе людей. Сошелся с Тюменевым и я. Это был очень неглупый, во всех отношениях порядочный человек, добродушный и обладавший приятным запасом хохлацкого юмора.

Свою скромность и житейскую мудрость он доказал, когда в 1906 году тогдашний командир лейб-гвардии Преображенского полка В. М. Драгомиров*), помнивший и знавший Тюменева по прежней службе в Киеве, предложил ему перейти в Преображенский полк, сразу ротным командиром. Небывалое предложение это было следствием возмущения 1-го батальона преображенцев в лагере под Красным Селом, поднятого при первом глупом предлоге агитаторами со стороны. От революции 1905 года, к тому времени почти подавленной и шедшей на убыль, все еще расходились круги, главным образом в форме отдельных последних попыток взбунтовать армию.

Виновный батальон в полном составе был раскассирован, офицеры переведены в армию. На его место формировали новый и набирали офицеров из армейской пехоты. Старались, конечно, выбрать лучших, и Драгомиров вспомнил о Тюменеве.

Как ни льстило ему это предложение, свалившееся так неожиданно с неба, Сергей Александрович отказался; в этот отказ не входили материальные соображения, так как ему было обещано необходимое в полку существенное добавление к жалованью. Тюменев понимал, что армейскому офицеру было не так легко войти в гвардейскую среду и тем более сразу в командной должности ротного командира.

К сожалению, после моего перевода в Петербург я скоро потерял Тюменева из виду. Сейчас вспоминается

---

*) Сын Михаила Ивановича. В кампанию 1914-15 гг. начальник штаба 3-й армии и затем Юго-Западного фронта. Командир 8-го корпуса в 1916 г. Умер в эмиграции в 20-х гг. Издал том своих воспоминаний о войне.

он мне таким, каким я его знал в 1906-9 гг., его слегка сутулая фигура, природные выдержанные и мягкие манеры, негромкий голос, а, главное, его речь по образцу выработавшейся на юге России и в которую прочно вошли некоторые хохлацкие слова и обороты. Он говорил, например, « я думал за вас », что означало « я думал о вас »!...

Пробыл я в штабе 42-й пехотной дивизии при Карцеве всего около полугода. Осенью 1906 г. я начал отбывать полагавшийся по закону годичный срок командования ротой, выбрав 168 пехотный Миргородский полк той же дивизии. С удовольствием простился я на время со своим канцелярским столом и с текущей перепиской!

КОМАНДОВАНИЕ РОТОЙ В 168-м ПЕХОТНОМ МИРГОРОДСКОМ ПОЛКУ

Вступая в командование ротой в Киеве и в ряды армейского пехотного полка я, естественно, задавал себе вопрос, в какой мере поразит меня разница со службой в гвардии. Очень скоро я убедился, что различия были чисто внешние и несущественные. Почти полное отсутствие караулов и, следовательно, практики в несении гарнизонной службы; никаких больших военных церемоний и потому ничтожный процент плац-парадной тренировки; ограниченное число старшего начальства, даже в столице военного округа, и, как следствие, меньшее напряжение внутренней жизни полков.

Офицерский состав беднее и проще, но по своему среднему культурному уровню едва ли заметно ниже офицерства гвардейского полка, подбиравшегося в большинстве из тех же военных училищ. Запущенность и отсталость офицеров зависела главным образом от стоянки. В глухих местах без « отдушин » бывало, что они постепенно опускались. Но Киев был большой университетский город, третья столица Империи.

Наконец, солдаты казались после гвардии карликами, « крупой », употребляя военный жаргон. Но недохват вершков, разумеется, не отражался на служебных качествах людей и, как показала вскоре война, на их боевой крепости.

Кроме своего Миргородского полка, я мог искоса наблюдать еще два полка той же 42-ой дивизии, стоявших в Киеве. Существо всех трех было ровное : выдержанное, достаточно подтянутое, самолюбивое и надежное.

Как раз в тот год, 1906-1907, войска подверглись

испытанию в их надежности. Вспышка революции 1905 г. еще не вполне улеглась. Будучи подавлена, она в течение еще двух лет пробовала из своего подполья пробиться наверх. Правда, попытки делались все более и более разрозненными и единичными, но все же в казармы подбрасывались революционные летучки, призывавшие к вооруженному восстанию, и нет-нет ловились за устной пропагандой какие-то темные личности, которые проникали в ротные помещения.

Офицерству приходилось быть очень на-чеку, вести с людьми постоянные беседы и прибегать к усиленной охране винтовочных стоек по правилу « береженого и Бог бережет ».

Но киевский гарнизон, за исключением одной саперной роты, на революцию не откликнулся; солдаты сами помогали офицерам, представляя по начальству найденные прокламации и задерживая агитаторов.

Моя 6-я рота только раз была вызвана как-то зимой по тревоге для « усмирения беспорядков », как это называлось на офицерском языке.

Было получено сообщение, что толпа рабочих собралась в предместье Киева и угрожающе двигается на город. Задача вызванной роты заключалась в том, чтобы выйти навстречу толпе, остановить ее и рассеять. Задача во всех отношениях неприятная, так как в случае упорства рабочих и неуспеха предварительных уговоров и предупреждений рота должна была открыть огонь.

На мое счастье, в последнюю минуту, когда я уже готовился выводить роту из казарм, раздав людям боевые патроны и тщательно, испытующе посмотрев каждому солдату в глаза, пришла отмена приказания. Толпа разошлась после давления, оказанного одной полицией.

Гора свалилась с плеч! Как приятно было отобрать от солдат боевые патроны!

Летом 1907 года роту командировали в местечко Шостку, Черниговской губернии, для поддержания порядка в этом районе с господствующим рабочим населением. В Шостке находился один из важнейших пороховых заводов.

Я сменил там роту другого полка и пробыл на своем дежурстве всю вторую половину лета. Повезло и в

этом случае : рабочие сидели смирно и ничем не проявляли своих революционных настроений. Быть может, однако, что самое присутствие роты, в виде молчаливой угрозы, оказывало свое влияние на заводскую массу.

В результате, получилось скорее приятное времяпровождение. Оставляя всегда одну полуроту в местечке на случай волнений, я уходил с другой в поле и там, среди колосившейся ржи, упражнял своих миргородцев в тактике. Погода все время была превосходная. Возвращались весело, с красивыми песнями, которые в роте пели очень хорошо.

Начальства у меня, не считая артиллерийского ученого генерала-начальника порохового завода, никакого в Шостке не было. Совершенно самостоятельно я составлял расписание занятий и вел их.

Один из двух субалтернов роты, Кононович-Горбацкий (женатый на дочери генерала Куна, тульского приятеля отца), представлял для меня приятную компанию.

Офицеры роты, квартировавшей в Шостке, приглашались на разные собрания и увеселения, которые устраивались дружным личным составом завода. Все это были люди с высшим техническим образованием, милые и интересные. Среди них оказались недурные певцы и музыканты, а среди их жен — певицы, декламаторши и любительницы-актрисы.

Чрезвычайный интерес представлял собою самый завод. Нам любезно показали производство порохов во всех его стадиях, а начальник завода прочел мне ясную лекцию о новой пуле и о новом роде бездымного пороха, который только что был введен. Сведения эти мне пригодились для лекций юнкерам военного училища, где я преподавал тактику. Нужно сказать, что эти данные, технические и баллистические, оказались там откровением, так как никто из преподавателей ничего не знал на эту специальную тему.

Зловещий вид имел деревянный барак, в легких стенах которого начинялись динамитом капсюли и производились другие работы с сильными взрывчатыми веществами. При входе в этот барак посетитель должен был надевать войлочные туфли; в такой же мягкой обуви были и все рабочие, среди которых, между прочим, едва ли не большинство были молодые женщины. Мне объяснили, что деликатные пальцы женщин бо-

лее подходили к мелким и точным манипуляциям, требовавшимся в этой опасной работе. Она велась маленькими группами, достаточно удаленными друг от друга, а одна девица, помню, сидела посередине помещения в самостоятельной будке, вроде телефонной, в «одиночном заключении». Предполагалось, что в случае взрыва в этой будке погибнет или пострадает только ее обитательница.

В одном из отделений, где был склад взрывчатых веществ, постройка позволяла рассчитывать, что при взрыве газы, следуя в сторону наименьшего сопротивления, вышибут целиком одну стену, которая нарочно была сделана слабой; это должно было спасти остальные части барака.

За год или два перед тем такой взрыв и случился. К счастью, кажется, в такое время, когда никого в бараке не было.

Из воспоминаний о пребывании в Шостке стоит еще упомянуть о примере жестокого крестьянского самосуда, на который пришлось натолкнуться роте во время наших полевых занятий. Мы нашли во ржи, около межи, труп крестьянского парня с разбитой головой — от очевидных палочных ударов. Впоследствии нам объяснили, что это был известный в округе конокрад и что у крестьян установился обычай расправляться с конокрадами таким решительным и упрощенным способом. Виновного подстерегали несколько человек и избивали палками до смерти. Полиция и суд смотрели на этот вид расправы сквозь пальцы, и все дело оканчивалось казенным протоколом. Все равно крестьяне ни за что не выдали бы виновников.

Мое командование ротой и общение с ней в Шостке, незадолго до конца строевого ценза, были приятны еще потому, что только к этому времени я справился со многими затруднениями, которые навалились на меня с самого начала. Порученная мне 6-я рота числилась одной из самых слабых в полку; даже, может быть, она определенно стояла по службе последней из 16 рот. Ротный командир, М. Квятковский, милый, воспитанный и мягкий человек, не был способен на какие-либо крутые меры, чтобы поддерживать внутренний порядок, дисциплину и бодрость в роте. При любом кризисе он терялся и стремился лишь к одному: чтобы проступки

и промахи не доходили до начальства. Легко можно себе представить получавшийся плачевный результат. Постоянно покрываемые солдаты получали совершенно превратное представление об основах воинского воспитания.

Правая рука Квятковского, фельдфебель, стареющий, многосемейный и вялый, тоже боялся начальства как огня и углублял систему своего ротного командира. В то время как последний замалчивал прорехи перед батальонным и полковым командиром, фельдфебель скрывал мелкие проступки солдат от ротного командира!

Командир полка — умница Николай Фердинандович фон-Стааль отлично знал, что придумать худшую комбинацию, чем Квятковский и его фельдфебель, было трудно. Тем не менее он жалел последнего и ограничивался только тем, что открыто возмущался регулярным приростом фельдфебельской семьи. Называл он его не иначе как «шляпа», про себя употребляя, наверное, более сильное, но непечатное слово.

Нелегко мне было начать свою деятельность с перевоспитания пожилого фельдфебеля. Прежде всего предстояло вывести из нормального обычая роты самовольные отлучки солдат, этот главный признак внутреннего расстройства воинской части. Помимо бесед с солдатами и начальствующими нижними чинами на эту тему, я из-за каждой уловленной отлучки (ибо вначале их продолжали скрывать) поднимал шум, доводя случай до строгих взысканий властью командира полка. Раз как-то, по другому поводу, мне стоило немалого труда убедить добродушного и ленивого хохла, батальонного командира Басанько, вмешаться в дело и разнести роту, начиная с меня самого, что называется, «в пух и прах». Рота была специально для этого построена, и Басанько исполнил мою просьбу более или менее удовлетворительно, если и без особой искренности и охоты.

Прошло не менее трех-четырех месяцев, прежде чем в роте, потревоженной от многолетнего сна, сказались положительные результаты принятых мер. Процент самовольных отлучек стал заметно сокращаться и довольно скоро превратился в нуль. Я вздохнул с облегчением.

Должен сказать, что лучшими моими помощниками оказались унтер-офицеры. Когда от этих молодых и способных людей потребовалась энергия и им была предоставлена полагавшаяся по закону власть, до того искусственно сокращенная, они горячо взялись за дело. Взводы стали соперничать в дисциплине и выправке, лица солдат из пассивных и безучастных постепенно превращались в живые и осмысленные; в роте становилось чище и наряднее.

Фельдфебелю оставалось плыть по новому течению.

Из взводных унтер-офицеров я очень хорошо помню уравновешенного, прямого и умело требовательного Чехова, из которого мог бы выработаться полезный организатор в любой области; быстрого Кочеткова, с живой искрой в глазах, и талантливого Белобородова.

Этот солдат был особенно интересным типом. Схватывавший все на лету, честный, понимавший приказания с полуслова, хорошо грамотный, Белобородов быстро выдвинулся в унтер-офицеры в начале второго года своей службы. Происходил он из зажиточной купеческой семьи Пермской губернии и имел повадку человека независимого.

Я готовил его во взводные командиры. Как вдруг, в один несчастный вечер он напился и, ворвавшись в чью-то фельдфебельскую квартиру, произвел буйство. Случай был таков, что даже Квятковский не решился бы свести его на нет.

Белобородова пришлось немедленно разжаловать в рядовые. Но я чувствовал, что этот самолюбивый и умный солдат может вернуть свои нашивки, если обратиться к этим его качествам. Я позвал Белобородова в ротную канцелярию, запер дверь и в присутствии одного только бесполезного фельдфебеля произнес короткую речь. В ней я, в заключение, дал ему обещание, что сделаю его не только снова унтер-офицером, но и взводным, если он даст мне честное слово, что до конца службы не возьмет в рот водки. Помню, я сам был взволнован, в моем голосе должны были звучать душевные ноты. Белобородов, этот здоровяга и силач, прослезился; торжественно, перед образом, висевшим в канцелярии, он дал мне обещание.

Я его обнял дружески, и Белобородов вышел из

комнаты, в которой не знал сначала, что именно его ожидает, другим человеком.

Он сдержал свое слово, а я свое: я быстро провел его через одну нашивку, потом через две и, наконец, он получил взвод и третью нашивку.

Но я подверг Белобородова и рискованному испытанию. После того как он снова сделался ефрейтором, пришло приказание командировать от роты расторопного и, конечно, трезвого унтер-офицера для сопровождения партии новобранцев. Командировки эти были совершенно самостоятельны, путешествие — долгим и сложным, по железным дорогам через всю Россию; в руках унтер-офицера находились довольно значительные суммы.

Я решил послать Белобородова и только спросил его, может ли он хорошо выполнить ответственное поручение и оправдать мое доверие. Получив твердый утвердительный ответ, я командировал Белобородова. Он вернулся после продолжительного отсутствия со свидетельствами разных местных воинских властей, с которыми ему приходилось иметь дело, об образцовом порядке как в его партии, так и в отчетных ведомостях о деньгах, израсходованных на довольствие и другие нужды.

Об этом было отдано даже в приказе по полку, что немедленно и окончательно восстановило авторитет Белобородова.

На моих младших офицеров в деле воспитания людей опереться было труднее. Вообще, субалтерны приходили в роту только на занятия и, отбыв этот долг, исчезали. К тому же только Кононович-Горбацкий представлял собою охочего и приятного помощника. Другой офицер на мое открытое и доброе к нему отношение ответил, как это скоро определилось, недобросовестным исполнением своих несложных обязанностей и лживостью. При этом он много воображал о своих способностях и докучал мне запутанными разговорами на разные «умные» темы. Любимым коньком его было превозношение малороссов над великороссами; вторые, по его мнению, были и некультурны и нечистоплотны, тогда как первые отличались всеми совершенствами. Я пробовал возражать, но должен был убедиться, что ему «хоть кол на голове теши».

Почему этот молодой человек с чисто немецкой фамилией вел явно украинскую пропаганду, оставалось непонятным.

В деле обучения роты мне легче всего давалась тактика и рассыпной строй; вторым номером шло сомкнутое ученье, некоторые секреты которого я, пожалуй, так и не постиг. Что касается стрельбы, то в этом отделе я всегда чувствовал себя чужим, прежде всего потому, что сам стрелял плохо. Причиной этого, в значительной степени, мог быть сильный астигматизм моего зрения. Но о существовании этого недостатка я тогда не подозревал и не употреблял исправляющих очков. Как бы то ни было, мне оставалось довольствоваться ролью формального руководителя стрельбы, полагаясь на педагогические приемы лучших стрелков в роте.

На ротном командире лежало еще ведение хозяйства, в котором на первом месте было пищевое довольствие. Хотя в мирное время приходилось кормить всего около ста с небольшим человек и полк доставлял провизию, все же хлопот было достаточно. Расходование продуктов находилось в руках самих солдат, каптенармуса, выборного артельщика и кашевара. Но нужно было их проверять и направлять.

Хозяйственные ведомости и книги никогда не доставляли мне удовольствия. В частной жизни я не вел никаких денежных операций и считать мне было нечего. Отсюда — отсутствие опыта. Но, с другой стороны, у большинства ротных командиров тоже отсутствовал этот опыт в их частной жизни, а в казенной многие из них обнаруживали настоящие хозяйственные таланты. Однако, чтобы новичку войти во вкус даже маленького ротного хозяйства, одного года была мало.

Вообще, когда я расставался со своей 6-ой ротой, — и не без сожаления, так как сошелся с ней, — я отдавал себе отчет, что только на следующий год можно было пожать плоды первого года командования и полученных уроков. Очевидно это сознавалось в армии, ибо вскоре срок цензового командования ротой для офицеров Генерального штаба повысили до двух лет.

Проводила меня рота сердечно, выразив желание сняться в одной группе и подарив, на память, серебряный подстаканник с надписью. Скромный подарок этот особенно тронул меня как составившийся из складчи-

ны солдатских грошей. Я тщательно хранил эту вещь, постоянно напоминавшую мне о хлопотливом, но интересном годе в рядах милых миргородцев.

Унес еще я с собой чувство глубокого уважения и любви к командиру полка того времени. Н. Ф. фон Стааль представлял собою лучший образец строевого начальника из офицеров Генерального штаба. Умный, образованный, внимательный и отзывчивый, в меру требовательный, всегда ровный, Николай Фердинандович умел быть и начальником и другом. В нем совершенно отсутствовали встречавшиеся иногда неприятные черты штабного офицера — академика: самомнение, заносчивость и фокусничество. Он пользовался своею доступностью, чтобы нравственно влиять на офицерскую среду и незаметно, неслышно ее воспитывать.

В этом смысле был похож на фон Стааля мой предшественник по командованию Козловским полком во время войны — А. С. Саввич. Если бы этот тип полкового командира был распространен шире, дух и высокое качество русской армии поднялись бы еще выше.

За год службы в Миргородском полку я не помню ни одной полковой попойки, несмотря на наличие подходящих предлогов, и не помню офицеров, предававшихся алкоголю в маленьких компаниях или — еще того хуже — в одиночку. Даже в лагерях, где случаев больше и офицеры постоянно толкутся в собрании, они пили за стойкой не обычную водку, а... молоко! Привычка эта оказалась заразительной, и я присоединился к молочной диете. Уничтожали мы этот напиток для младенцев ведрами.

Такое хладнокровное отношение к спиртному и даже полный отказ от него незаметно сумел внушить офицерам командир полка, Николай Фердинандович фон Стааль. Поборол он еще у себя в полку и другую нездоровую традицию, существовавшую во всей армии. Как известно, хоровая песня занимала и занимает, вероятно, до сих пор большое место в русском солдатском быту. На походе, идя на ученье и, особенно, возвращаясь с него, люди поют под ногу. Среди солдатских песен было много веселых и залихватских, но совершенно непечатных. К этому явлению все привыкли. Офицеры только улыбались, если слышали какое-ни-

будь новое летучее словечко в развитие известного хлесткого текста.

Стааль нашел между офицерами полка любителя хорового пения. Выписали ноты благопристойных песен, обучили им песенников во всех ротах и изгнали навсегда неприличный репертуар.

Н. Ф. Стааль пользовался в Киевском округе репутацией выдающегося командира и должен был бы, после полка, быстро пойти вверх по служебной лестнице. К сожалению, он тяжко и неизлечимо заболел, вышел в отставку и вскоре скончался.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ШТАБ 42-й ПЕХОТНОЙ ДИВИЗИИ

Когда я вернулся через год, начальником штаба дивизии уже был А. С. Лукомский. Карцев получил полк.

Александр Сергеевич Лукомский, румяный и круглолицый, занимал в военных кругах Киева привилегированное положение. Он был женат на дочери М. И. Драгомирова, имя которого продолжало витать над Киевом и после того, как он в 1903 г. удалился от дел в тишину маленького Конотопа. Продолжало и после его смерти, последовавшей в 1905 году, вскоре после окончания нашей неудачной войны с Японией. От нее осталось нам от Драгомирова меткое замечание в ответ на первое презрительное отношение наше к « япошкам » : « Японцы макаки, а мы кое-каки ».

Командующим войсками и генерал-губернатором Драгомиров оставил после себя, как бы в наследство, своего начальника штаба — В. А. Сухомлинова. Обязанный многим Драгомирову этот заместитель его невольно должен был взять под свое крыло и умную Софию Михайловну с ее мужем. Чувство независимости Лукомского увеличивалось еще тем, что у него были свои личные средства.

Когда Сухомлинов пошел дальше вверх, пошел за ним и Лукомский. А когда Сухомлинов пал во время войны в шуме необычайного скандала *), Лукомский

---

*) Сухомлинов был предан в 1916 г. особому верховному суду в связи со шпионским делом некоего Мясоедова (жандармского офицера), который, до войны был с ним в близких сношениях. Мне случилось присутствовать на одном из открытых заседаний суда в зале Собрания Армии и Флота и видеть быв-

уже так прочно стоял на своих собственных ногах и на служебных верхах, что на нем это совершенно не отразилось.

Вообще это был холодный, размеренный, самодовольный, но серьезный и сноровистый работник, который составил себе репутацию в штабе Киевского округа как знаток мобилизационного дела. Впоследствии (в 1910 г.) он стал во главе его в Главном Управлении Генерального штаба. Об этом вспомнили, когда в 1914 году наша русская сложная мобилизация прошла гладко, и в благодарность Лукомскому создали для него одного новую награду: по представлению Сухомлинова, тогда военного министра, ему заменили владимирскую ленту на ордене св. Владимира 4 ст. — георгиевской лентой (дать орден св. Георгия по статуту было нельзя).

Шутники немедленно на это изобретение откликнулись и назвали новый орден « Владимир Георгиевич ».

Появление Лукомского в 1907 году в штабе 42-й пехотной дивизии ничем особенным не ознаменовалось, однако, отношения у меня с ним без всякой видимой причины установились осторожные и натянутые.

Между тем переменился и начальник дивизии. Мартсон, получив повышение, уехал в Вильну. На его место приехал Н. А. Епанчин, знакомый еще с Пажеского корпуса, где он преподавал мне тактику. С моим братом у него были добрые служебные отношения в штабе 1-й гвардейской пехотной дивизии в 1899-1900 гг. Затем Н. А. Епанчин был директором Пажеского корпуса и в год столетнего юбилея был зачислен в Свиту Его Величества. С этой должности, уже в чине генерал-лейтенанта, он и приехал в Киев командовать дивизией.

Вскоре Епанчин ввел новшество в использовании капитана Генерального штаба у себя в дивизии. Мне было поручено регулярно, раз в неделю, выезжать в поле верхом со старшими офицерами трех полков дивизии, стоявших в Киеве, по очереди, и решать с ними так-

---

шего военного министра на скамье подсудимых. Это было жалкое зрелище. Сухомлинов, однако, оправдался по главным пунктам обвинений, в которые были включены также небрежности по управлению военным министерством и даже взяточничество. Дело ограничилось устранением его от службы.

тические задачи. Занятия эти были интересны, полезны для строевых офицеров и мне по душе. Кроме того, они освобождали меня почти на целый день от канцелярской работы. Затем Епанчин прибавил к этому короткие вечерние лекции, тоже раз в неделю, для офицеров полков. В выборе тем предоставлялась полная свобода лишь бы они были злободневными и спорными, а доклад не должен был занимать больше 20 минут. После доклада происходил обмен мнений, в котором охотно принимали участие и старшие и младшие офицеры. Эти легкие лекции и следовавшие за ними прения были встречены в полках с явной симпатией и носили оживленный характер.

Мне казалось тогда, кажется и теперь, что эти умеренные поправки к бумажной службе офицера Генерального штаба в дивизии шли навстречу пользе дела и делали честь их инициатору.

Но Лукомский посмотрел на эти нововведения иначе. В них он увидел предоставление мне отдельной и заметной роли, в которой я был совершенно самостоятелен и не зависел от начальника штаба. Не смея идти наперекор мысли и приказанию Епанчина, Лукомский, как это мне постепенно становилось понятным, затаил чувство ревности против исполнителя. Быть может, он подозревал, и совершенно неправильно, что я сам устроил себе эти занятия по старому знакомству с Епанчиным.

Как бы то ни было, наши отношения, и без того не отличавшиеся товарищеской теплотой и искренностью, сделались еще более формальными и, вдобавок, под каким-то бессмысленным грозовым облаком.

Затем, летом 1908 года, в лагере, произошел следующий загадочный случай.

Тюменева в штабе при Лукомском уже не было, кажется, он вернулся в свой Луцкий полк командовать ротою. Его место занял некий С., который раньше состоял в прикомандировании к штабу сверх штата, для заведования мобилизационной перепиской. Теперь ею занялся сам начальник штаба — только что с должности заведовавшего этой частью в штабе округа. Но ключ от секретного железного шкафа, где хранились секретные документы, был и у меня, в дубликате.

Как-то, вскоре после получения в штабе нового мо-

билизационного распоряжения, С. попросил меня, в отсутствие Лукомского, дать ему этот документ « до завтрашнего дня » с целью необходимых и срочных выборок для хозяйственной части, которую он вел в штабе.

Так как я знал этого своего сослуживца с 1906 г. и не имел никаких оснований ему не доверять и просьба показалась мне нормальной, я выдал ему на его слово просимый документ.

На « завтрашний день » его потребовал сам Лукомский. Я доложил, что эти бумаги находятся, в доверительном порядке, на руках у С. Позвали его. С. посмотрел на нас обоих изумленными глазами и заявил, что он никакого документа от меня не получал.

Как я ни старался восстановить в его памяти обстоятельства передачи, С. упрямо стоял на своем.

Положение становилось серьезным: пропал важный секретный документ вследствие непростительной небрежности офицера Генерального штаба!

Лукомский доложил об этом небывалом происшествии Епанчину и отправился с таким же докладом к начальнику штаба округа — мрачному генералу Маврину.

Епанчин вызвал меня, и я мог повторить ему только то, что было. Между тем в штабе округа доклад Лукомского произвел « радостное » впечатление скандала на заснувшей зеркальной поверхности штабного быта. Против фамилии капитана Геруа « из пажей и гвардейцев » поставили, вероятно, черную отметку. На меня было приказано наложить взыскание, сравнительно легкое: властью начальника штаба дивизии. Возможно, хотя я этого не знаю, что за меня заступился Епанчин.

Мне был объявлен выговор в приказе по штабу дивизии. Это было достаточно неприятно, но было бы гораздо хуже, если бы этот параграф украсил бы приказ по дивизии, корпусу или по штабу округа! Дурная слава разбежалась бы шире и громче. Приказ же по « штабу » дивизии читало всего с полдюжины людей, причастных к нему. В том числе, конечно, мой « милый » сослуживец С.!

Прошло некоторое время. Я успел, проглотив горькую пилюлю, отодвинуть этот неожиданный эпизод в прошлое, если не в забвение, как С. явился к Луком-

скому с потерянным документом в руках! Он нашел-таки его среди своих бумаг!

Лукомский, однако, не поместил об этом в приказе по штабу. Забывчивый С. не получил никакого возмездия, а я остался « с выговором » *).

Черная отметка у моей фамилии не имела никаких служебных последствий, но мои отношения с Лукомским окончательно испортились — и мои нервы тоже, на время.

К моему счастью и теперь особенно кстати, я получил предложение от инспектора Киевского военного училища, где я начал преподавать с осени 1906 года, занять должность « штатного » преподавателя. Это означало временный переход со службы Генерального штаба, с сохранением его формы, в военно-учебное ведомство. Через какой-нибудь месяц я расставался с канцелярией, вообще со штабными интересами, а главное — с Лукомским.

Замечательно, что последний, узнав на стороне о моем предстоящем назначении, и тут хотел учинить мне неприятность и сделал замечание, что я ему не доложил о предстоящем уходе! Казалось, он досадовал, что жертва для дальнейшего преследования ускользала. Я от-

*) Гораздо позже, в далекой перспективе прошлого, случай этот начал представляться мне в другом виде, а именно — выходящим за пределы мелкой бумажной трагедии маленького штаба и личных отношений. Вспомнилось, что в 1906 г., еще при Карцеве, к штабу был одновременно с С. прикомандирован очень бойкий и гладкий прапорщик М-м, из прибалтийских немцев. В конце года он вышел в запас офицеров и уехал к себе в Ригу. Оттуда он мне написал письмо, весьма меня удивившее. В нем М. просил меня « время от времени » сообщать ему киевские военные новости и, вообще, держать его в курсе наших дел, объясняя это тем, что он сроднился с 42-й дивизией и т. п. Я сухо ответил ему, что он напрасно будет ждать от меня подобных сообщений. На этом дело кончилось. Но кто мог поручиться, пришло мне потом в голову при воспоминании о случае с пропавшим секретным документом, что М. не завязал других отношений в штабе? С. мог передать в чьи-нибудь руки мобилизационную бумагу, например, для сфотографирования, и ему ничего не оставалось, как симулировать потерю памяти. Несмотря на косвенность этих улик, недостаточных для обвинения, сопоставление письма М. с поведением С. вызывало на размышления.

ветил, что дело еще не решено и находится в периоде запросов; так это и было... *).

После моего ухода налаженные Епанчиным летучие тактические занятия со строевыми офицерами дивизии прекратились, так как мой преемник не справился с этой задачей. В начале зимнего периода я получил письмо от Лукомского с просьбой продолжать, в порядке услуги, мои еженедельные доклады в полках дивизии. У меня не было на это времени, а также и желания оказывать одолжение человеку, от которого я только что с удовольствием отделался. Я ответил отказом по недосугу.

Мы встретились с Лукомским, отдохнув друг от друга, через два года, в Петербурге. Несмотря на то, что наше знакомство возобновилось, что мы обменивались редкими визитами, что мы с женой были в числе приглашенных на большой вечерний прием по случаю переезда Лукомского в обширную казенную квартиру в доме военного министерства, несмотря на все эти проявления вежливости, тень киевской тучи нас не покидала. Мы встречались везде и всегда, даже в эмиграции, как люди, держащие камень за пазухой.

---

6 декабря 1909 года я был произведен, наконец, после долгих шести лет в чине капитана, в подполковники и одновременно назначен на службу в Главное Управление Генерального штаба.

Прощался я с военным училищем не без сожаления. Работа меня интересовала и мне удавалась. Культурная среда преподавателей была приятна. Не мешал и большой заработок, равнявшийся, примерно, содержаниию бригадного командира. Переходил я в Петербург на жалованье, которое сравнительно можно было назвать нищенским.

Собственно о Киеве и о жизни в нем я увозил смешанные впечатления.

---

*) Мне предстояло в жизни, во время войны, испытать еще раз такое предвзятое и активное недружелюбие со стороны начальника в лице ген. В. В. фон Нотбека в 1-ой гвардейской пехотной дивизии.

Красивый город, чудесный Днепр, хороший климат; интересные фрески в древних соборах; Васнецов и Нестеров в новом Владимирском соборе; чопорная аристократия Липок; простое и симпатичное офицерство армейских полков; озабоченный, хлопочущий и, подчас, важный Генеральный штаб.

Об этом последнем муравейнике и поговорим теперь.

В Киеве были тогда расположены штабы: округа, 21-го армейского корпуса*), дивизий — 42-ой пехотной и 9-й кавалерийской — и крепости. Общее число нас, офицеров Генерального штаба, достигало, вероятно, сорока, принимая во внимание чинов для поручений при командующем войсками, управления военных сообщений и прикомандированных к военному училищу для преподавания военных наук.

Начальником штаба округа был длинный, мешковатый и угрюмый Маврин. Генерал-квартирмейстером, который ведал службой Генерального штаба и его личным составом, — жизнерадостный и чрезвычайно, до утомительности, говорливый Баланин, бывший семеновец. С ним и с его светской женой мне приходилось встречаться в одном частном доме в Петербурге, где он служил в 90-х годах еще в чине полковника.

Офицеры Генерального штаба больше служили, чем дружили. Сближению мешали и занятость, и разношерстность по воспитанию, и социальное неравенство дам, но, главное, не образовалось центра, вокруг которого могло бы происходить такое сближение.

Дружеские отношения лично у меня установились, кроме моего полкового и пажеского товарища Штубендорфа, приехавшего в штаб 21-го корпуса в 1907 году, только с Н. Н. Духониным.

Это был способный и очень деятельный офицер с открытым, прямым характером. Он начал службу лейбгвардии в Литовском полку, а в Киеве был моим предшественником в штабе 42-й пехотной дивизии, откуда

---

*) Командир корпуса генерал Рузский, командовавший 3-ей армией в 1914 г., Главнокомандующий Северного фронта в 1917 г. генерал адъютант, участвовавший в низложении Государя Николая II в Пскове 3 марта 1917 г. Расстрелян большевиками на Кавказе.

его перевели в штаб округа. Но встретились и сошлись мы с Духониным, главным образом, в военном училище, где оба преподавали.

Так же мила была и его видная и красивая жена, Наталия Владимировна, в пару к своему мужу со своим пылающим румянцем и темными густыми, вьющимися волосами. Николай Николаевич носил бодро, в колечки закрученные кверху усы и маленькую эспаньолку под нижней губой. Если бы не близорукие глаза и вечное пенсне, он походил бы на гидальго из испанской мелодрамы. Не годился бы для этой роли и его певучий голос, тонкий, с наклонностью к дисканту.

Трагическая судьба его хорошо известна. Сделав быструю и выдающуюся карьеру во время войны, Георгиевский кавалер двух степеней за командование полком (что было редкостью), Духонин к 1917 году оказывается начальником штаба Юго-Западного фронта (когда я занимал должность начальника штаба XI армии на том же фронте), а ко времени прихода к власти большевиков начальником штаба Верховного Главнокомандующего и калифом на час — Главнокомандующим в роковой день прибытия большевистской власти в Могилев, где была Ставка. Первое, что сделали большевики, — зверски убили несчастного Духонина и с издевательством выбросили его тело из вагона на рельсы.

Его вдова спаслась из России и была поставлена во главе женского русского института в Белой Церкви, в Югославии. Мой друг А. Я. Бретцен имел случай посетить ее летом 1939 года и написал мне, что Наталия Владимировна ласково вспомнила обо мне и нашем киевском знакомстве.

Служили офицеры Генерального штаба в Киеве усердно и хорошо. Стратегическая подготовка к войне с Австро-Венгрией, против которой географически был расположен Киевский военный округ, стояла на достаточной высоте. Это доказал 1914 год.

Особенно занимались разведкой и в этой трудной области достигали иногда совершенно исключительных результатов. Достали, например, план мобилизации одного из постоянных корпусов австрийской армии. Меж-

ду прочим, Духонин ездил в 1908 году на большие маневры австрийской армии, но не в качестве официального представителя «дружественной» державы, а с фальшивым паспортом австрийского бюргера, в качестве скрытого соглядатая. Я читал секретный отчет Духонина об этой поездке и был поражен богатством собранного им материала. Нечего и говорить, что авантюра заключала в себе ежечасные опасности. Из рассказов Николая Николаевича можно было бы составить столько же глав для книги романтических приключений, сколько было дней в распоряжении Духонина во время его австрийской разведки. В случае, если бы Духонин был схвачен и его деятельность обнаружена, ничто не могло его спасти. Секретные агенты ехали заграницу на свой личный риск.

Подготовка округа в смысле тактической тренировки войск в период, следовавший немедленно за русско-японской войной, находилась на перепутье. До этой войны два пограничных военных округа, Киевский и Варшавский, были ведущими, но каждый из них вырабатывал свою собственную доктрину и свои приемы воспитания войск. В обоих округах дело было поставлено очень строго и серьезно, но по-разному. Объяснялось это тем, что в 80-е и 90-е годы во главе этих округов стояли две яркие и сильные личности — И. В. Гурко в Варшаве, в течение 12 лет, М. И. Драгомиров — в Киеве, в течение 14 лет. Их собственная подготовка, боевой опыт и взгляды были различны, и отпечаток этого различия явственно лежал на образовании и воспитании войск вверенных им военных округов. Отпечаток этот не сразу стерся и после ухода Гурко и Драгомирова со своих постов в преклонном возрасте.

Опыт И. В. Гурко, кавалерийского генерала, был чисто практический и строевой. Во время русско-турецкой войны 1877-78 гг. он провел две крупные операции: под Горным Дубняком и Телишем в октябре 1877 г. и трудный зимний переход через Балканы *). Уроки эти несомненно просвечивали потом в системе тренировки войск, которую установил Гурко в Варшавском округе.

---

*) Красивый набег за Балканы, в Казанлыкскую долину, был чисто кавалерийским опытом.

Горный Дубняк был вопиющим примером неудачного управления и безалаберной траты средств и человеческих жизней. Редут, защищавшийся четырьмя турецкими батальонами с четырьмя орудиями, был взят после кровопролитнейшей бойни в течение целого дня штурмом 24 отборных гвардейских батальонов, поддержанных огнем 48 орудий! И взят под ночь, почти случайно, когда уже отчаялись в успехе. Через четыре дня такое же этапное укрепление под Телишем сдалось после искусно организованной артиллерийской бомбардировки без пехотной атаки и с потерями в 3 человека.

Гурко не мог не запомнить этот пример и требовал в округе разумного управления, благодаря которому могут быть уменьшены потери в людях. На разборе одного из маневров, указав на ошибки какого-то генерала в плане и исполнении задачи, Гурко спросил его : « Если вы действовали так в мирной обстановке, что было бы на войне? » Генерал ответил ходячей военной фразой : « Мы легли бы костьми ». Гурко вспылил и оборвал его : « России нужны не ваши кости, а победа! ». Быть может, вид русской братской могилы под Горным Дубняком пронесся в эту минуту перед его мысленным взором.

Опыт перехода Балкан зимой и воспоминание о тысячах замерзших в их снегах заставили Гурко обратить внимание на приучение войск к действиям в зимнюю стужу и на выработку приемов для борьбы с холодом на марше и на биваках. Введенные им как правило зимние маневры отличали Варшавский округ от других.

Серьезная постановка стратегических вопросов в округе была налажена умным, работящим и требовательным А. К. Пузыревским, бывшим профессором Академии, долго состоявшим в должности начальника штаба у Гурко. Последний, « страстно любивший военное дело » как он сказал о себе, и сам отлично разбирался в вопросах подготовки к войне с Германией, которая смотрела на Гурко с уважением и не без опаски.

Киевский « оракул » и знаменитый острослов М. И. Драгомиров имел сравнительно короткий, но счастливый боевой опыт форсированной переправы через Дунай у Зимницы, в июне 1877 г. После этой классически

удавшейся ему операции Драгомиров со своей 14-ой « железной » дивизией был на Шипке, но в начале августовских боев был ранен и эвакуирован.

Краткость этих испытаний сделала то, что в Драгомирове боевой генерал был побежден профессором и теоретиком. В области умственных построений и придачи им необыкновенно простой и убедительной формы Михаил Иванович не имел себе равных. В основу своего учения он положил вопрос воспитания войск, которые до того больше муштровались, чем нравственно воспитывались. Николаевская жесткая традиция все еще не была изжита, хотя она годилась для тогдашних 25-летних и 15-летних сроков службы и была явно непригодна для 5 — и 3-летних сроков конца 19-го века. В эти сроки солдат мог быть превращен в недурной автомат, но нельзя было ожидать от скороспелых частей того воинского духа, который был свойственен закаленным полупрофессиональным армиям николаевской эпохи. Между тем дух, рассуждал Драгомиров, повторяя древнюю истину, является главным залогом военного успеха. При подготовке войск в новых условиях предстояло справиться с этим вопросом, несмотря на всю его сложность в безграмотной тогда крестьянской России. Драгомиров — философ правильно указал пальцем на наше больное место. Но как учитель он пошел по ложному пути.

Мысль его обратилась к Суворову и его воспитательным заветам. Тут, следуя суворовскому « догони и перегони Цезаря и Аннибала », Драгомиров взялся догнать и перегнать Суворова-педагога.

Но времена и техника были не те. Либеральный культ солдата — трехлетки не делал из него « чудо-богатыря » и воина, « который понимал свой маневр ». Внедрение идеи преимущества штыка перед огнем не уничтожило губительности последнего из скорострельных магазинных винтовок и пулеметов. Логичный Драгомиров даже открыто противился, со всею силою своих авторитета и остроумия, замене в начале 90-х годов в русской армии однозарядных винтовок пятизарядными.

В погоне за « чудо-богатырем » получились непредвиденные результаты : войска Киевского округа прославились своею распущенностью, а среди начальства

расцвела наклонность к вычурным служебным фокусам, считавшимся в духе учения Драгомирова.

После русско-японской войны 1904-5 гг. с ее наставительными и отрезвляющими огневыми уроками, надо было перестраивать наши военные доктрины, и в Киевском округе особенно. Ведущим округом на этот раз сделался Петербургский, где взялись за дело пересмотра энергично и с увлечением.

Заработал по иному, поглядывая на столицу, и наш Киев, сбросив с себя псевдо-суворовскую оболочку. Но наверху стоял беспечный В. А. Сухомлинов. Общего руководства не было.

В разнобое разных новых мелких тактических приемов почти вовсе не уделялось внимания технике управления войсками.

В этой области мог и был должен помочь наш местный Генеральный штаб. Ему следовало разобраться в накопившемся после войны печатном и другом материале; обратиться к живому голосу строевых начальников, получивших боевой опыт в Маньчжурии; расшевелить мозги и энергию в войсках; преподать последним, на основании выводов, обновленную тактику *).

Но во главе нашего Генерального штаба в Киеве стоял Маврин, отставший от военной науки и откровенно к ней безразличный, продукт канцелярской школы мирного времени. Назначение его впоследствии, во время войны, ведать тылами и снабжением Юго-Западного фронта гораздо больше к нему подходило.

Следующей за Мавриным величиной киевского штаба был генерал-квартирмейстер Баланин. Из этого человека, еще молодого, жизнь била ключом, но он успел настолько пропитаться, прослужив долго в Главном Штабе, соками старых методов и приемов, что было трудно ожидать от него инициативы пробуждения к творческой и освежающей деятельности.

Инициатива отсутствовала и дальше, на подчиненных этим двум генералам низах Генерального штаба; да она и не поощрялась, и ее не искали.

---

*) Превосходной ареной для обсуждения злободневных военных вопросов в Петербурге было Общество ревнителей военных знаний, основанное и энергично руководимое полковником Генерального штаба Е. Ф. Новицким.

Максимум военно-научного усилия, проявляемого штабом округа, заключался в организации казенных докладов в его стенах. Доклады эти были чрезвычайно редки, составляли событие, и выбором тем никто не руководил. Из чужих сообщений я помню только одно, — Лукомского о мобилизации, точное, но плоское и бесцветное. Я делал двухчасовое сообщение об операции под Сандепу и старался оттенить вопросы управления, столь плачевные в японскую войну.

Так как все немногие доклады были позитивные и военно-исторического содержания, то обмена мнений по ним не производилось. Если бы штаб округа подхватил идею Епанчина, примененную им в 42-ой пехотной дивизии, и развил бы ее на высотах киевского Генерального штаба, мог бы создаться полезный тактический форум, подобный петербургскому Обществу ревнителей военных знаний.

Но покой status quo был предпочтительнее хлопот и волнений, которые предвещались организацией докладов по спорным текущим вопросам.

Затем существовал институт полевых поездок офицеров Генерального штаба, производившихся не больше раза в год, раннею осенью. За время моей службы в Киеве я участвовал в двух таких поездках. Одна была в Волынской губернии, в живописных окрестностях Дубно, описанных Гоголем в « Тарасе Бульбе »; другая — в Подолии, тоже по-своему характерной и интересной.

В смысле пейзажа, вольного воздуха, случайных стоянок и мимолетных знакомств и верховой езды, эти поездки доставляли большое удовольствие.

Но задачи мы решали по рецептам, внедренным в наших руководителей с академической скамьи; связи между работами отдельных офицеров не было; разборы и выводы тоже носили старомодный и трафаретный характер. Мы не двигали тактику вперед, не развивались сами, топтались на месте.

По возвращении домой в памяти оставались лишь бытовые впечатления, вроде приезжавших на станцию Волочиск, на границе с Австро-Венгрией, офицеров ближайшего австрийского гарнизона со специальною целью « хватить » рюмку русской водки — другую и закусить селедкой или аппетитным горячим пирожком за стойкой вокзального буфета.

Примерно в те же годы (1906-1907) А. Г. Винекен был командирован новым начальником Генерального штаба Ф. Ф. Палицыным в союзную Францию на большую полевую поездку офицеров Генерального штаба.

По его рассказу, эта поездка и наши русские отличались друг от друга как небо и земля. Насколько наши всегда и везде проходили в легкой, безответственной атмосфере, напоминая пикник, настолько французские, под влиянием Фоша, представляли собою скелет настоящей армейской или корпусной операции. В распоряжении руководителей состояли богатые средства связи, позволявшие выполнять задачи с воображаемыми войсками на верных дистанциях и интервалах. Операция разыгрывалась в математически точных координатах пространства и времени, что, разумеется, требовало колоссальной подготовительной работы штаба руководства и продолжения ее в течение всего периода поездки. День каждого офицера был расписан по минутам.

Метод этот приучал к техническому совершенству полевой работы штабов и давал живое представление об условиях, с которыми придется считаться в военное время. Старшее руководство непрерывно вносило поправки и вводные задания, приближая исполнителей к этим условиям.

Нечего и говорить, что любоваться красотами природы и флиртовать под вечер с попутными дачницами было некогда. « Я под конец настоящего трудового дня », говорил Винекен — был так разбит, что немедленно после общего ужина группы валился на кровать, зная, вдобавок, что ровно в 6 ч. утра прозвучит призывная кавалерийская труба и нужно будет начинать следующий день! ».

Французская постановка, разумеется, требовала, кроме кропотливой предварительной разработки военной игры в поле, еще и значительных материальных затрат. Но, казалось бы, для пользы дела лучше редко да метко.

Дешевле должны были обходиться военные игры на карте. И такие игры могли служить существенной подготовкой к полевым поездкам. Но они не производились вовсе : совершенно отсутствовала техника ве-



После традиционного Телишского завтрака в годовщину боя л. -гв. Егерского полка 12 октября 1877 года.

П. К. фон-Герих, В. А. Каменский, Г. В. Голохвастов, Генерал-адъютант В. Н. Данилов, Свиты Его Величества ген. маиор В. А. Яблочкин, Флигель-адъютант Б. И. Квицинский, Н. Л. Сиверс, А. В. Бурман, А. П. Косаговский, камергер А. Н. Панов, Б. В. Геруа, Князь Оболенский, Кузнецов, А. А. Воронов, Н. В. Ротштейн.

дения военных игр не в одном Киеве, а во всей России, и руководство было любительским.

Каждый раз, когда брались где бы то ни было за это занятие, из него ничего не выходило *). Ничего не получилось и из попытки нового начальника Генерального штаба Ф. Ф. Палицына « показать » нам в Киеве « как это делается ».

Палицын был военно-образован, хорошо знаком с методами германского Генерального штаба, справедливо поклонялся им и задался мыслью привить эти методы к русским условиям. К сожалению, эти условия часто оказывались сильнее Палицына, а сам он был, по натуре, большой медлитель и противник порывистых и крутых мер. Но Россия 20-го века не походила на Пруссию середины 19-го, и кандидату в русские Мольтке не было дано, как его прусскому образцу, времени, чтобы исподволь и постепенно переродить наш Генеральный штаб. Палицын получил в свое распоряжение всего три года, после чего начатая им работа была подкошена во младенчестве его преемником, бросившим следить за наукой Сухомлиновым, не любившим кропотливого труда и неспособным вдохновлять на него других.

Хотя Сухомлинов пробыл собственно в должности начальника Генерального штаба меньше года, но он стал потом военным министром и уничтожил самостоятельность начальника Генерального штаба.

В начале 1907 года Палицын приказал Киевскому округу произвести большую военную игру, объявив, что приедет руководить ею сам. Можно себе представить, как вдруг зашевелился наш муравейник в ожидании этого набега « новой метлы » **). Неизвестно почему, всем офицерам Генерального штаба роздали литографированные написанные бисерным почерком А. А. Самойло записки об устройстве австро-венгерской армии с приказом выучить эти сведения наизусть. Несчастный Ба-

---

*) В начале 1911 г. собрали всех крупных начальников в Петербург для военной игры, но в последнюю минуту чего-то испугались и отменили. Слабо была проведена крупная игра в Киеве в начале 1914 г., незадолго до войны, и не дала выводов.

**) Палицын, правда, наезжал уже раза два в округ для руководства полевыми поездками офицеров Генерального штаба, но метла все же оставалась « новой ».

ланин должен был затем проэкзаменовать каждого офицера в усвоении кучи мельчайших справочных данных, секретность которых сильно преувеличивалась. Для производства экзамена генерал-квартирмейстер выбрал неожиданное место, — телефонную будку со стеклянными боками в штабе округа. В полумрак этой коробки заманивался очередной офицер и подвергался, как грешник в католическом конфессионале, подробному допросу. Нужно ли к этому прибавить, что эта зубрежка пропала даром; Палицын не последовал примеру Баланина и не приглашал нас на проверку сведений о числе мотков проволоки, возимых в обозе 2-го разряда гонведного полка.

Как бы то ни было, Палицын наконец приехал; мы были ему представлены в штабе округа в 8 часов темного зимнего утра (намек на цену рабочего времени?), и в тот же день началась игра.

На огромных столах были разложены простыни карт. Стороны разведены по своим залам, а разные « штабы », представленные каждый одним офицером, по своим углам.

Первой вступила в дело конница. Кавалерист Палицын, кавалерист Сухомлинов, кавалеристы помоложе, настоящие и представлявшиеся, погрузились с головой в действия разъездов, разведывательных эскадронов, кавалерийских дивизий. Штабные, покончив со своим « исходным положением », чинили карандаши и держали наготове свои полевые книжки. Прошел день, другой, третий. Может быть больше, даже наверное больше. Военная игра все еще не выходила из авангардного периода и боев охранений и разведки. Главные силы все еще бивакировали и квартировали. Между тем время продолжало идти и календарь с укоризной смотрел на Палицына: намеченный им срок пребывания в Киеве приближался к концу, в Петербурге ждали другие дела.

Если темп игры останется тем же, на окончание бумажной операции, задуманной в широком армейском размахе, понадобится не несколько дней, а месяцы. Скомкать и пройти на полевом галопе все то многое и существенное, что оставалось разыграть? Но против этого должна была восстать сама природа Палицына, которая требовала подробностей, полноты и точности.

Если бы Палицын взялся написать военно-ученый трактат, он, как Клаузевиц, затратил бы на него всю свою жизнь, но не решился бы издать свои десять или больше томов, боясь незаконченности и несовершенства своего труда.

Сочетание условий календаря, недостатка времени и достоинств Палицына решило участь военной игры. Она была остановлена, не достигнув и четверти своего пути. Гора родила мышь. Материала для удовлетворительного разбора не хватало; однако Палицын собрал нас, участников, воевавших и не воевавших, сделал разбор и сказал заключительное слово. Это, как все, что делал Палицын, вышло деловитым, но длинным, медленным, тягучим и без искры. В голове не осело никаких мыслей от этого мягкого и расплывчатого наставления.

После ухода Палицына в 1908 году с должности начальника Генерального штаба мы не видим его больше на видных постах ни до войны, ни во время войны. Можно подозревать в нем поэтому еще одну черту характера: он не любил и избегал слишком крупной и прямой ответственности. Мудрый и осторожный, Палицын предпочитал оставаться в тени, в роли нештатного советчика — философа. Именно в такой роли он состоял при нашей Ставке во время войны. Лишь под конец он принял назначение на должность нашего военного представителя в Париже и надо думать, что этот дипломатический пост был ему по душе. Но проявить себя там ему не удалось: грянула русская революция и смешала все старые карты *).

---

*) Из того, что было слышно о Палицыне во время его безответственного состояния при высших штабах во время войны, можно заключить, что в нем отсутствовало настоящее военное чутье и что он не был военным психологом. Известно, что он был против смелой, но своевременной по обстановке атаки Юденичем Эрзерума и даже не поверил донесению о взятии крепости. Будучи послан в 1915 году в Литву наладить отношения между действовавшим там довольно путанно генералом Горбатовским и штабом Ю. З. фронта, Палицын предложил лекарство: в течение трех дней оставить Горбатовского в покое и не досаждать ему указаниями!

То обстоятельство, что во главе Киевского военного округа стоял кавалерист и бывший начальник Офицерской кавалерийской школы, отразилось на офицерах Генерального штаба киевского гарнизона в одном приятном отношении. Сухомлинов завел конные выезды по « искусственному следу », или так называемые « лисички ».

Собственных лошадей, как правило, офицеры Генерального штаба не держали, сидеть им приходилось большую часть времени не в седле, а на штабном стуле. В случае же полевых поездок верховые лошади наряжались от ближайшей кавалерийской части. В Киеве — от жандармского полуэскадрона, полагавшегося при штабе округа.

Раза два в лето Сухомлинов ,сопровождаемый большой верховой группой офицеров Генерального штаба, выезжал на эту воображаемую охоту по пушному зверю. Полковник Ганжа, тоже кавалерист, знавший технику « лисички », заранее разведывал кусок пересеченной местности и затем, в день выездов, изображал из себя зверя, обозначая свой след мелко нарезанной бумагой. Мы гнались за ним разными аллюрами, виляя по оврагам и холмам, продираясь через кусты или рощи, прыгая через канавы и изгороди. Это было весело и здорово.

Офицер, который, наконец, срывал с плеча Ганжи, шедшего увилистым галопом на своем собственном гунтере, белую развевавшуюся ленту, получал приз : золотой жетон в виде лисы.

Я любил эти конные развлечения, и все другие офицеры, вероятно, были тоже рады провести полдня в поле и в движении вместо сидения в душной канцелярии.

Как-то раз, вместо лисички, Сухомлинов устроил нам поездку в поле под предлогом решения тактической задачи. Выехали мы с картами, планшетами и полевыми книжками. На этой летучей проверке наших знаний и уменья распоряжаться сообразно с обстановкой обнаружилось, до какой степени в нас сильны были шаблоны, застывшие со времени задач, которые мы решали еще в Академии. Особенно стремились « занять позицию », расписать ее по участкам и ждать противника.

Выехав на место, я обратил внимание на то, что в

данном случае все выгоды были на стороне маневра (плохой обстрел, но удобные подступы для скрытого движения). Соответственно с этим, я удержал в своем решении главные силы в кулаке для удара во фланг наступающему воображаемому противнику, разведывая и охраняя остальными силами. Такое активное решение оказалось единственным. Оно заслужило одобрение нашего судьи, Сухомлинова, и косые взгляды остальных товарищей по мундиру.

Когда я уезжал на службу в Петербург офицеры Генерального штаба киевского гарнизона поднесли мне подарок. Выбор его поручили Н. Н. Духонину, и тот спросил меня, что бы я хотел сам. Я ответил : вещь, которая всегда находилась бы перед моими глазами. Духонин обнаружил хороший вкус, найдя стильные часы ранней николаевской эпохи на письменный стол. Часы эти действительно всегда смотрели на меня своим большим циферблатом, когда я занимался за своим столом и когда писал профессорскую диссертацию.

Военное училище тоже почтило меня подарком, — нарядным бюваром с тяжелой серебряной доской, на которой был выпуклый орнамент oxydé. Эта чернота спасла бювар, когда воры ограбили мою квартиру в Измайловских казармах после революции в 1917 г. Они взяли все, что казалось им явным серебром или золотом (пропали все мои ордена), но доску на бюваре они сочли, должно быть, за железо! Тоже и массивную статуэтку затемненного серебра — подарок лейб-гвардии Егерского полка.

Кроме всех этих воспоминаний, — мелких, средних и больших, — я уносил из Киева одно главное : здесь родились мои дети.

Дочь Елена — 6/19 июня 1906 года и сын Владимир — 8/21 декабря 1908 года. Оба ночью — дочь под утро, сын — в начале ночи. Принимала говорунья Петровская, так как акушер Яхонтов оба раза опоздал. Произошло это еще в квартире на Кругло-Университетской. В 1909 г., весной, мы переехали на другую, тоже в Липках.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА

В ПЕТЕРБУРГЕ

Вернуться в Петербург, где прошла большая часть жизни, было приятно. Но я никогда не жалел о четырех годах, проведенных в Киеве. Мы не только познакомились с « матерью городов русских » и первой по времени столицей русского народа, но я побывал еще на Волыни, в Подолии, в Полтаве и в местечке Шостке, Черниговской губернии.

В Полтаву меня командировал Киевский отдел Императорского военно-исторического Общества, действительным членом которого я состоял. В конце июня 1909 года предстояло празднование 200-летнего юбилея Полтавского сражения. Наш Киевский отдел решил выпустить к этому времени « Путеводитель » по местам, где так ярко блеснул военный гений Петра Великого.

Мне пришлось пешком обойти и поле сражения, делая схематическую съемку местности, — в сравнении с картой боя, и все памятники в Полтаве и вокруг, связанные с этим событием.

Результатом моей работы явилась брошюра, изданная Киевским историческим отделом и моя статья в « Русском Инвалиде » о Полтавском поле — 200 лет тому назад и теперь *). Существенные черты его уце-

*) Этим не ограничилось мое участие в Полтавском юбилее. Лето 1909 года, обычные училищные каникулы, я проводил с семьей под Петербургом, в Ораниенбауме, у родителей жены, чем воспользовался профессор А. К. Байов; он занимался устройством юбилейных популярных лекций в Петербурге, тоже от имени военно-исторического Общества, деятельным

лели, и, стоя в известных точках, можно было вообразить себе, как шведы протискивались через подставленную им Петром ловушку, — дефиле и редуты, — чтобы затем, в состоянии расстройства, быть атакованными свежей русской армией из укрепленного лагеря.

В Главном Управлении Генерального штаба я получил назначение в отдел 2-го обер-квартирмейстера, ведавшего нашей разведкой заграницей и изучавшего армии и возможные театры военных действий как наших возможных противников, так и союзников. Параллельный отдел 1-го обер-квартирмейстера представлял собою главную лабораторию по вопросам стратегическим и оперативным, — подготовки к войне в широком смысле. Деятельность обоих отделов объединял генерал-квартирмейстер, непосредственно подчиненный начальнику Генерального штаба. В распоряжении генерал-квартирмейстера состояло, кроме того, так называемое « особое отделение », носившее печать таинственной важности и занимавшееся наиболее секретными делами тайной разведки и контрразведки.

Моим обер-квартирмейстером оказался генерал-майор Е. К. Миллер, назначивший меня в отделение, ведавшее всеми Балканскими государствами. В этом отношении мне повезло, так как я получил своим прямым начальником полковника Сергея Ефимовича Гущина, — человека исключительных душевных качеств, у которого ум и способности охотно уживались со скромностью. Он был казак и начал свою службу в Донском войске. Холостой, превосходный служака, выдержанный как со старшими, так и с младшими, Гущин представлял собою образцовый тип офицера Генерального штаба. Работать с ним было и приятно и полезно.

Спокойной и приятной была также общая атмосфера во всем нашем отделе, благодаря Е. К. Миллеру. Образованный и светски — воспитанный, бывший лейб-

---

членом которого состоял. Байов предложил мне сделать сообщение для рабочих одного из крупнейших казенных заводов. Лекция, в каком-то общественном зале Петербурга, собрала огромную аудиторию в несколько сот человек.

гусар, перед своим назначением на должность обер-квартирмейстера наш военный агент в Риме, Миллер принес с собою обычаи и привычки человека общества, офицера хорошего гвардейского полка и европейца, плюс свое природное доброжелательство. Он завел в помещении отдела общие завтраки, на которых председательствовал сам и которыми пользовался, чтобы короче узнавать своих офицеров и сближать их между собою *).

Tel maître tel valet, — вся наша группа в своих взаимных отношениях приобрела характер дружной полковой семьи. Всего нас было около 15 человек. Среди них я встретил кое-кого из старых знакомых, начиная с А. Г. Винекена; сослуживцами оказались еще мой товарищ по Пажескому корпусу С. Н. Потоцкий **), по академии — С. Л. Марков ***) и В. Г. Скалон.

Увидел я также здесь А. А. Самойло, специалиста по Австро-Венгрии в штабе Киевского округа и автора бисерных иероглифов, портивших глаза участникам военной игры 1907 года, описанной раньше ****).

Знал я и генерал-квартирмейстера — Юрия Никифоровича Данилова, тоже по Киеву, где он два года перед тем командовал 166 пехотным Ровенским полком *).
ред тем командовал 166 пехотным Ровенским полком *****).

---

*) Во время войны Евгений Карлович был начальником штаба 5-й армии и командиром корпуса. Во время гражданской войны командовал белыми войсками в Архангельске. В эмиграции, после похищения А. П. Кутепова, возглавил Обще-Воинский Союз русских офицеров — эмигрантов и в 1937 г. подвергся участи своего предшественника : был похищен большевиками среди бела дня в Париже.

**) Во время войны военный агент в Дании.

***) Достиг на войне должности начальника штаба Юго-Западного фронта у Деникина. Бежал с ним и Корниловым из Быховской тюрьмы на юг России, играл выдающуюся роль в Добровольческой армии и был убит в бою с красноармейцами.

****) Самойло, рисовавшийся своими крайними правыми убеждениями, при большевиках поступил к ним на службу и, вообще, остался в Советской России.

*****) Генерал-квартирмейстер Ставки в 1914-15 гг. Автор изданного в эмиграции труда о стратегической подготовке и стратегии России в последнюю войну. « Россия в мировой войне 1914-15 гг. » Берлин, 1924.

В сентябре 1915 г. командовал 25-м армейским корпусом. Был потом начальником штаба Северного фронта и затем-ко-

В отличие от профессора Н. А. Данилова, — рыжего, — наш получил прозвище « черного », которое удержалось за ним и тогда, когда эта чернота заменилась сединой и одним воспоминанием оставались черные густые брови, придававшие лицу выражение свирепости. Под кличкой « черного Данилова » он был известен не на одних верхах и в штабах, но и в строевой армии.

Это был несомненно умный, добросовестный, строгий к себе и к другим работник и честный человек. С 1909 года он представлял собою в Главном Управлении Генерального штаба единственную постоянную величину вплоть до начала войны 1914 года. За эти 6 лет над ним сменилось 4 начальника Генерального штаба. Невозможно было ожидать, чтобы они оставили по себе какой-либо след даже при наличии желания и подготовленности, чего не было. Таким образом, вся стратегическая работа по выработке плана войны лежала на плечах Ю. Н. Данилова.

Так как затем Данилов остался в роли генерал-квартирмейстера в течение первого года войны при начальнике штаба — нуле, то он и сделался легкой мишенью для критиков русской стратегии, теоретической и практической, на протяжении этих шести лет. Ю. Н. Данилов сам помог нападкам на себя, напечатав в эмиграции свои воспоминания, в которых прямо и честно изложил ход соображений, легших при его участии в основу нашей стратегии.

Я не пишу историю войны 1914-17 гг. и заношу на эти страницы своей записной книжки лишь воспоминания о лицах, с которыми меня сводила судьба и о событиях, которых я был свидетелем; поэтому я не вникаю здесь в суть предъявляемых Данилову « черному » обвинений, подчас в резкой и грубой форме. Скажу только, что не трудно казаться мудрым критиком после того, как все карты открыты и ошибки стали очевидными.

Данилов мог ошибаться, но едва ли не хуже его ошибался прославленный и « победоносный » Людендорф, его германский коллега.

мандующим 5-ой армией. За свою работу в Ставке имел орден св. Георгия 4-й степени.

В моей памяти Юрий Никифорович стоит как один из лучших офицеров нашего Генерального штаба, серьезный, скромный, трудоспособный и внимательный к деталям. Если Ф. Ф. Палицына некоторые считали подходившим на роль русского Мольтке, то невольно приходит в голову, что Данилов в методах своей работы походил на Палицына. И так же как Палицын, он был медлителен и осторожен; так же стремился к совершенству, глубине и законченности. Каждый мало-мальски ответственный доклад Данилов примеривал и взвешивал, проверял и изучал, пока все оказывалось, наконец, на месте, ясно, убедительно и отделанно. Вошла в поговорку любимая отметка Юрия Никифоровича на полях меморандума: « Прошу уточнить ». С. Е. Гущин возвращался с очередного доклада генерал-квартирмейстеру, клал передо мной бумаги, которые уже не раз путешествовали туда и обратно, и с выразительным жестом говорил: « Ну, Борис Владимирович, подумайте, что мы тут можем уточнить! ». Это означало изыскание дополнительных данных — и можно вообразить наш триумф, когда документ, после этого, получал долгожданную подпись Данилова.

То же самое испытывали и другие отделения, но больше всего доставалось переделок и уточнений оперативным нашим собратьям во главе с Н. Н. Стоговым *). Тут было столько подвижных и условных вопросов!

« Особое » отделение со всеми своими архисекретами держалось особняком. Начальствовал им полковник Николай Августович Монкевиц, высокий, с плывущей походкой, подтянутый и всегда хорошо одетый, с очень заметной косиной в глазу. Он был умен, ловок, имел гладкие дипломатические манеры и любил хорошо пожить; впоследствии Монкевиц оказался на месте также и в строю, хорошо командуя на войне пехотной дивизией и, кажется, корпусом **).

---

*) Во время войны начальник штаба 8-й армии у Каледина (1916), Георгиевский кавалер. В 1917 г., ко времени большевистского переворота, начальник Главного Штаба. В эмиграции — ближайший помощник Кутепова и потом Миллера по управлению Офицерским Союзом.

**) В эмиграции состоял при генерале Кутепове и в 1926 го-

Из секретных достижений особого отделения вспоминаю рассказ, на ухо, о том, как были сняты копии важных документов, хранившихся в письменном столе военного агента одной из великих держав, полковника Н. Было известно, что в квартире этого полковника полагался истопник, обязанность которого заключалась в « заправке » всех печей в 5-6 ч. утра, когда все еще спали. Наше особое отделение устроило болезнь всегдашнего истопника и подослало на его место своего человека. Неслышно ступая по квартире в традиционных валенках профессионального истопника, этот наш агент мог попробовать все хранилища, где рассчитывали найти нужные бумаги. Но предполагалось, и это оказалось верным, что они лежали в ящике письменного стола в кабинете. Псевдоистопник успешно сделал сначала слепки с замков, а затем, заказав и получив по ним ключи, произвел разведку ящиков этого стола. Документ был почти немедленно найден и скопирован в крупных чертах. Понятно, что эти выборки мог сделать толково лишь офицер Генерального штаба.

Другой случай того времени из области тайной разведки получил огласку вследствие шумного и драматического его окончания.

Нашему военному агенту в Вене полковнику Марченко удалось купить услуги одного из старших офицеров австрийского Генерального штаба, стоявшего во главе важного отделения военного министерства. Через этого человека мы начали получать регулярные донесения о последних « новостях », имевших отношение к вариантам стратегического развертывания австро-венгерской армии против России. Но мелочные сведения приносили сравнительно мелкие суммы, а l'appétit vient en mangeant. Очертя голову, жадный до светских удовольствий авантюрист продал, наконец, исправленное

ду исчез в таинственных условиях, сообщив в полицию Парижа, чтобы не беспокоились искать его тело. Интересно, что осенью этого года, за месяц до этого исчезновения, я снимал у него комнату в Фонтенбло, где писал этюды, и его дочь, а иногда и сам Монкевиц сопровождали меня по местам, которые хорошо знали и рекомендовали. Были основания считать, что он не кончил жизнь самоубийством, а бежал, куда — неизвестно. В небольших суммах Офицерского Союза обнаружилась растрата.

мобилизационное расписание своей армии. Оно прогостило одну ночь у Марченко и было успешно, страница за страницей, сфотографировано. На утро расписание вернулось, казалось, благополучно, в бронированный шкаф министерства, а австрийский полковник мог поздравить себя с крупным кушем.

Но куш этот был и последним! Образ жизни этого офицера, постепенно расширявшийся в сторону wein, weib und spiel, обратил на себя внимание. Все знали, что он не имел своих средств. Начали следить; подставили ловушку и поймали с поличным.

Потушить скандал было трудно. Как поступить с русским военным агентом, который пользовался дипломатической неприкосновенностью? К Марченко прибыл, под покровом ночи, придворный чин и от имени самого Императора передал ему « совет » покинуть пределы Австрии в 24 часа. Марченко ничего не оставалось как лихорадочно уложиться и уехать.

Утром венцы прочли в газетах о том, что хорошо им знакомый блестящий и веселый офицер военного министерства покончил с собой по неизвестной причине.

На самом деле заряженный револьвер был вручен этому предателю, после его ареста, одним из его сослуживцев по приказанию начальника Генерального штаба.

Марченко, по приезде в Петербург, был милостиво принят Государем и вскоре награжден, вне очереди, орденом св. Владимира 4 ст. *).

Если мы покупали в Австрии полковников, то наши противники покупали у нас под носом писарей. Спустя некоторое время после описанного попался в шпионаже старший писарь нашего 2-го обер-квартирмейстера Ершов. Он прекрасно и долго симулировал свою бед-

---

*) М. К. Марченко в чине капитана был в Академии руководителем по тактическим занятиям в той партии, в которой состоял и я. В конце года он оценил мою работу полным баллом. Марченко — конногвардеец, хорошо образованный человек, историк (по эпохе Петра I). Начальник Николаевского кавалерийского училища к началу войны. Был женат на дочери Горемыкина (министра), свойственнице моей жены. Умер во Франции около 1935 г.

ность и забитость, именно по этой причине был оставлен на сверхсрочную службу и автоматически стал старшим писарем и « журналистом ». Никаких умственных способностей это существо не обнаруживало, но, видимо, усердно старалось, и начальство продолжало держать его « из жалости ». Мы все знали, сколько у него детей и чем больна жена, и даже делали сборы в пользу его семьи. Усердие Ершова выражалось, между прочим, в том, что он добровольно оставался в канцелярии после окончания служебных часов, как он объяснял, для приведения в порядок и подшивки дел.

Поведение это, наконец, начало внушать подозрения. И кончилась эта печальная история уличением, арестом и судом « бедного и жалкого » Ершова, под этой личиной торговавшего нашими секретами. Улики были слишком сильны, его осудили за измену и повесили.

В Балканском отделении, где я служил, нам приходилось постоянно иметь дело с нашими военными агентами, в шести государствах.

Старшим и самым положительным из этих представителей был Иван Алексеевич Хольмсен. Выдержка и степенность его говорили о шведском происхождении, а четыре языка не считая русского, которыми он владел свободно, — об его образовании.

Донесения Хольмсена из Константинополя отличались регулярностью, аккуратностью и полнотой. В нем всегда чувствовались искусный организатор и удачное соединение военного с дипломатом, с нажимом на военную специальность *).

Неудачное соединение представлял собою Максим

---

*) Перед войной И. А. Хольмсен был произведен в генерал-маиоры и назначен командиром бригады 1-ой гренадерской дивизии в Москве. Выступил на войну начальником второочередной пехотной дивизии и в несчастном бою в Восточной Пруссии в начале 1915 г. был взят в плен. Тем не менее впоследствии награжден Георгием 4 ст. В эмиграции мы встретились в Лондоне и Иван Алексеевич одно время состоял моим помощником, когда я был начальником специальной военной миссии для связи Англии с нашими добровольческими армиями. Мы подружились. В дополнение к его приятным качествам светского и просвещенного человека Иван Алексеевич обладал юмором, оживлявшим его природную деловитость. В эмиграции он напечатал интересную работу о той операции, в которой погибла его дивизия.

Николаевич Леонтьев, сидевший в Болгарии. Ему нравилась дипломатическая роль, что, по всей вероятности, действовало подчас на нервы нашего представителя министерства иностранных дел. Еще больше эта политическая складка действовала на наши нервы, так как вместо донесений о военных делах и составления нужных нам работ по изучению болгарской армии и болгарского театра мы получали толстые пакеты, заключавшие — по терминологии Леонтьева — « разговоры » его с разными политическими деятелями Болгарии, включая и самого Царя Фердинанда. Но пока Леонтьев « разговаривал », болгары строили новую железную дорогу через Шипкинский перевал, о чем наш военный агент « забыл » донести. Запрошенный, почему, Леонтьев храбро ответил, что эта железная дорога не имеет никакого стратегического значения!

Как кажется, Максим Николаевич, или « Максимка », по заглазному прозвищу, был избалован в своих политических вторжениях в область нашей дипломатии Палицыным, в бытность его начальником Генерального штаба. Палицына самого клонило к этой области, и его подкупала литературная и гладкая форма леонтьевских рапортов. Не замечая за этой маской отсутствия содержания, Палицын искренно писал на полях : « Прочел с интересом ». Резолюция, конечно, сообщалась в Софию и служила поощрением автору.

С уходом Палицына « разговоры » начали молчаливо подшивать к делу, и в мое время они составили объемистый, но бесполезный фолиант.

Как раз в те годы (1910-12) делались с нашей стороны попытки заключить с Болгарией прочный военный союз на случай войны с Германией, Австро-Венгрией и Турцией. К сожалению, переговоры не привели к желаемому результату, главным образом потому, что Царь Фердинанд всегда держался австрийской ориентации. В разгар переговоров в 1911 г. в Россию приезжал на Красносельские маневры тогдашний начальник Генерального штаба генерал Фичев. Я был назначен при нем состоять. Одновременно с поездкой Фичева в Петербург Царь Фердинанд отправился с визитом к Францу Иосифу в Вену! Это двуличие послужило причиной подчеркнуто холодного приема Фичева Государем. Как нарочно, в то время присутствовала на манев-

рах большая французская депутация, которую Государь, Двор и военные власти столь же подчеркнуто обласкали. Контраст в приеме был совершенно очевиден каждому.

Более удачный военный договор был заключен в мое время с маленькой Черногорией, которая вообще пользовалась нашей поддержкой, не только нравственной, но и материальной. Особое покровительственное отношение к Черногории было подчеркнуто известным тостом Императора Александра III во время визита князя Черногорского Николая I. Он выпил за здоровье « единственного искреннего друга России ». Тост этот сочли в дипломатических кругах Европы бестактным, но смолчали. Слишком внушительна была фигура и политика Александра III.

По заключении с Черногорией примерно в 1911 году конвенции Россия обязывалась, помимо увеличения обычных субсидий, реорганизовать черногорскую армию, превратив ее из примитивной милиции в регулярную армию, способную в случае войны с Австрией или Турцией оказать сопротивление и полезное содействие России.

Военным агентом нашим в Цетинье состоял Николай Михайлович Потапов, способный и деятельный офицер, научившийся ладить с капризным и двуличным королем и со страстными и жадными до денег и почестей его помощниками. Но на роль реорганизатора армии нужно было назначить особое полномочное лицо. Выбрали некоего полковника Генерального штаба Егорьева. Высокий и худой, как жердь, узкоплечий, с крошечным вздернутым носом, оседланным пенснэ, с бородой и волосами цвета мочалы, он, вероятно, бросался в глаза на « брюнетном » фоне черногорцев, смуглых, коренастых, с их орлиными носами и зоркими глазами.

Егорьеву был пожалован чин черногорского генерала и присвоен театральный национальный костюм свирепого балканского воина : короткая куртка вроде болеро, щедро расшитая золотом, широкий шелковый пояс красного цвета с заткнутым в него древним пистолетом, живописные шаровары и высокие сапоги. Геройский костюм этот очень нравился Егорьеву, который вообще считал свою наружность видной и воинственной. В бытность в Петербурге, в скромной форме русского

полковника, он громко здоровался с встречаемыми им на улицах воинскими командами, и те отвечали ему, недоумевая, что это за начальство *). Когда офицерам Генерального штаба дали сабли, в дополнение к шашке **) (кажется в 1912 г.), Егорьев носил ее « по-гусарски » так, чтобы она волочилась по земле, и ему доставляло удовольствие назойливое дребезжанье металических ножен по плитам петербургского тротуара.

Мы подтрунивали над этим мелким тщеславием человека, которому никак нельзя было отказать в уме, способностях и даже таланте. Но именно эти черты и его желание господствовать годились в черногорском войске, которое нельзя было взять скромностью, понятливостью и одной деловитостью.

Высокомерность и оперная форма черногорского генерала импонировали тамошним воякам всех степеней, имевшим психологию горных разбойников. Они ожидали « атамана » и получили его!...

В результате выработки конвенции и переговоров, в которых наше отделение принимало ведущее участие, Гущин и я густо украсились черногорскими орденами. Я получил черный крестик на белокрасной ленте в свою грудную колодку, красивый голубой крест на шею (носил по борту ниже русских орденов) и большую золотую медаль — по случаю какого-то юбилея короля.

Получил я в 1912 году награду и от болгар в память моего состояния при Фичеве в предыдущем году. Это был огромный и тяжелый крест на шею темно-красного цвета на желтой ленте (чем меньше страна, тем крупнее ордена, заметил кто-то ***).

И оба эти славянские государства изменили делу славян во время войны 1914-18 гг.! Наши контракты, на

---

*) В русской армии можно было вести короткий разговор с сомкнутым строем, здороваться, прощаться, благодарить. Но для этого нужны были служебные отношения с данною воинскою частью.

**) Шашка в кожаных черных ножнах носилась на плечевой портупее. Сабля — на поясной портупее.

***) Орден этот вручил мне лично генерал Радко-Дмитриев, победитель турок в 1912 году, в бытность свою в Петербурге. Мимолетная с ним встреча оказалась полезной впоследствии, — во время войны, в 1914 году. Скажу об этом в своем месте.

которые было потрачено столько усилий, оказались ничего не стоящими « клочками бумаги ».

Черногория, в наказание, потеряла по Версальскому миру свое место на карте как самостоятельное государство. И династия Негошей ушла в небытие и забвение.

Я не знаю, где и как кончилась карьера нашего инструктора и « черногорского » генерала Егорьева *).

Но были загублены даром как его труды, так и большие русские деньги.

Что сказал бы Александр III о своем « единственном друге » Николае I Черногорском, старавшемся сосать двух маток и взвешивавшем, к постоянному огорчению Потапова, не выгоднее ли опереться на Австрию?... **).

Из рутинных балканских дел мне пришлось составить очередной справочный сборник о географии, статистике и вооруженных силах Болгарии. Он был напечатан в 1910 г. и выдержка из сведений об армии помещена в 2 томе сытинской « Военной Энциклопедии ».

В 1911 г. Главное Управление Генерального штаба приступило к изданию ежемесячного журнала, освещавшего разные злободневные вопросы; среди них видное место занимали данные об иностранных государствах. Моей долей сотрудничества была поставка статей о балканских делах. Помню, я поместил, между прочим, отчет о маневрах в Турции по обстоятельным донесениям солидного И. А. Хольмсена.

Издание этого сборника было обязано чистому случаю и легкомыслию военного министра Сухомлинова. Как-то, едучи с очередным докладом к Государю, он увидел у себя на столе среди приготовленных бумаг книжку : № 1 « Сборника Морского Генерального шта-

*) Н. М. Потапов остался в России после большевистского переворота и одно время, в 1918 г., был начальником Генерального штаба Красной армии, когда большевики еще пользовались услугами и знаниями кадровых офицеров старой армии.

**) В начале 1916 г. король Черногорский Николай, под впечатлением неудачного для России 1915 года, вступил с Австрией в переговоры о сепаратном мире и, когда они не привели к желаемому им результату, бежал в Италию. Это был азиатски хитрый и жадный человек, который в людях, имевших с ним близкое дело, вызывал чувства обратные уважению.

ба». Скользнув по заглавию, министр решил, что это новое издание нашего сухопутного Генерального штаба, и с этой мыслью вложил в свой докладной портфель и эту книжку.

Кончив в Царском Селе свой доклад, Сухомлинов показал сборник Государю, отрекомендовав его как начало полезного литературного предприятия Генерального штаба.

Однако, внимательный Государь, прочтя заглавие, заметил: «Да, но ведь это сборник Морского Генерального штаба!»

Сухомлинов не потерялся. Он извинился и объяснил, что в совершенно такой же обложке и в таком же формате только что вышел № 1 подчиненного ему Генерального штаба, что он нечаянно захватил чужую книжку и обещал привезти настоящую через неделю, — в свой следующий доклад.

Вернувшись в Петербург находчивый министр немедленно приказал составить, напечатать и сброшюровать в этот недельный срок № 1 нашего сборника, по внешности точную копию № 1 Морского журнала!

Мы — внезапные сотрудники — не понимали, почему такая спешка, почему другие дела померкли на эти 5-6 дней и почему было необходимо воспроизвести шрифт, цвет и вид обложки по Морскому сборнику.

Задачу мы исполнили успешно, но наше недоумение и история возникновения журнала разъяснились позже.

Будучи в курсе балканских дел, я поместил также несколько статей в «Русском Инвалиде»: о ходе восстания в Албании и об Адриатической железной дороге, о постройке которой препирались тогда Турция, Греция и Сербия, каждая преследуя свои интересы и ставя палки в колеса основному проэкту, в проведении которого была стратегически заинтересована и Россия.

Для изучения этого последнего вопроса я был, между прочим, командирован через Дворцовую площадь, где в здании Главного Штаба помещалось стильным полуциркулем наше Управление, на другой конец полукруга, в министерство иностранных дел (у Певческого моста). Там в мое распоряжение предоставили нужные нам дела, и я провел среди них немало интересных рабочих часов.

Наконец, был еще один балканский вопрос, к которому привлекли меня. Со времени нашей войны с Турцией в 1877-78 гг. и освобождения славян, кандидаты в офицеры болгарской, сербской и черногорской армий получили льготный доступ в наши военно-учебные заведения, включая и академии. Но общих правил не существовало, и руководствовались « явочным » порядком. Для выработки общего положения образовали особое совещание под председательством генерала Якубовского, члена Военного Совета, прежде — помощника начальника военно-учебных заведений. Я был назначен делопроизводителем этой комиссии. В конце концов мы издали требуемое « Положение » о льготах и т. п., но в моей памяти сохранились не наши довольно многолюдные заседания, а мои визиты к Якубовскому. Я приносил к нему на дом составленные мною журналы заседаний на утверждение и редакцию, если нужны были поправки.

Выражение « на дом » не подходило к образу жизни Якубовского, который по непонятной мне причине помещался в гостинице третьего разряда, переезжая из одной в другую. При этом гостиницы не только были дешевые и непредставительные, но и имели не особенно приличную репутацию. По крайней мере, я, входя в них с деловым портфелем под мышкой и выходя, с осторожностью оглядывался, не видит ли меня кто-нибудь из знакомых.

Старик Якубовский умер в скорости после окончания работ нашей комиссии и я, будучи на похоронах, убедился в том, что он был женат. Таким образом, он проживал вне своего настоящего дома в странных студенческих условиях. Иметь с ним дело было приятно : он быстро схватывал суть дела, давал ясные указания и толково боролся в заседаниях с обычным явлением, желанием членов говорить не на тему и попусту растрачивать слова.

. . . .

Читатель мог заметить, что, говоря о делах и лицах Управления Генерального штаба, я обошел молчанием его начальника. Но это потому, что его присутствие и руководство вовсе не чувствовалось в нашем

отделе 2-го обер-квартирмейстера, и я даже должен напрячь память, чтобы сказать без ошибки, кто именно был в то время начальником Генерального штаба. В 1909 году, до моего перевода, промелькнули на этой должности, как метеор, Сухомлинов и Мышлаевский. Последнего заменил генерал Гернгросс, тоже не надолго. Это был человек из петербургского « света », — бывший конногвардеец, мягкий и, как говорили люди, имевшие с ним служебные встречи, приятный. Службы Генерального штаба он совершенно не знал по той простой причине, что никогда не служил в штабах, держась строевой карьеры. Отбывал он возложенную на него « повинность » формально, не претендуя внести в подчиненный ему Генеральный штаб и работу Главного Управления свежую струю. Я не помню, чтобы Гернгросс когда-либо появился в тех комнатах, где мы занимались. Не пробовал он собирать офицеров Генерального штаба и в своем просторном кабинете, чтобы познакомиться с ними и преподать те или другие руководящие начала. В нашем Управлении не делалось никаких публичных докладов, на которых можно было бы подвергать обсуждению военные вопросы. Начальник Генерального штаба не знал нас; не знали и мы его, хотя ежедневно работали под одной крышей. Не изменилось это положение и при преемнике тяжко заболевшего Гернгросса, — Жилинском, тоже из петербургского « общества », бывшем кавалергарде, правда прошедшем различные штабные этапы *).

В назначении этих лиц, гладких светски, но невежественных и безучастных, была видна рука Сухомлинова. Он настоял на снижении роли начальника Генерального штаба вообще и на уничтожении той самостоятельности, которая была дана этой должности при ее основании в 1905 году. Сухомлинов не желал также иметь в этой роли второго Палицына, задавшегося целью реформировать Генеральный штаб и самому стать не только основным ответственным стратегом, но и воспитателем. Не желал и второго Мышлаевского, им-

---

*) В начале войны — Главнокомандующий Северо-Западным нашим фронтом, в значительной мере ответственный за Танненбергскую катастрофу. Пребывание Жилинского на посту начальника Генерального штаба не научило его стратегии.

понировавшего своею самостоятельностью, умом и настоящей ученостью.

Намеренное обезличение должности начальника Генерального штаба привело, естественно, к тому, что оперативная, разведывательная и всякая другая деятельность почти всецело зависела от лиц, руководивших соответствующими отделами, и от объединявшего их генерал-квартирмейстера. Сказать, что работа шла дурно и не отличалась качеством, было бы несправедливо. Но она велась как бы через голову начальника Генерального штаба, который сделался при Сухомлинове канцелярской единицей, докладчиком и передатчиком чужих мыслей и соображений.

Что касается до стратегического руководства Сухомлинова, смело взвалившего на свои плечи огромную тяжесть ответственности по всем военным вопросам, то она выражалась в спазмодических, непродуманных и импульсивных мерах, о которых потом пришлось сожалеть (упразднение резервных войск и отнесение дислокации вглубь России) или от которых должны были отказаться (срытие крепостей в Привислинском крае).

Легковесность и мальчишеская беззаботность военного министра постоянно прорывалась в наших с ним сношениях. Выше был рассказан характерный эпизод с изданием « Сборника Управления Генерального штаба ». Вспоминаю другой случай, вызвавший не одни только улыбки, а большое смущение. Шла речь о постройке линии железной дороги (кажется, на Кавказе). Заключения давали — наше Управление Генерального штаба и, независимо, министерство путей сообщения. К военному министру эти докладные записки поступили в разное время, на расстоянии недели, двух. Мнения ведомств были диаметрально противоположны, но Сухомлинов на обоих докладах положил резолюцию : « Согласен ».

Едва ли и Государь считал Сухомлинова серьезным и глубоким, так как было известно, что он называл его за глаза, добродушно, но с иронией : « наш гусар ». Сухомлинову был сохранен гусарский мундир Офицерской кавалерийской школы, которой он одно время командовал, и военный министр носил эту форму учебного заведения предпочтительно перед мундиром Гене-

рального штаба. Ему нравились малиновые чакчиры и гусарские шнуры!...

. . . .

В конце 1909 года я вернулся из Киева на службу в Петербург, в Главное Управление Генерального штаба, а в январе 1910 г. меня вызвал в Академию А. К. Байов. Он предложил мне, во-первых, ведение в будущем тактических занятий с офицерами, а, во-вторых, — взяться за писание диссертации на профессуру. Работа моя перед тем в Киевском военном училище в качестве штатного преподавателя военных наук расположила меня к последним, и я с готовностью согласился на оба предложения. За выбором темы для испытательного сочинения Байов направил меня к Б. М. Колюбакину. Было очевидно, что оба эти мои оппонента на третьей теме сговорились между собою о желательности привлечь меня к научной работе в Академии, как скоро узнали о моем переводе в Петербург.

Поехал я на Никольскую площадь к Борису Михайловичу.

Кабинет-библиотеку он устроил себе в большой комнате в три окна, которая всяким другим жильцом была бы использована как гостиная. Посредине стоял простой деревянный стол, своей голой доской и размерами напоминавший помост. На нем в величайшем беспорядке, как это вскоре было доказано, лежали груды бумаг, тетрадей, книг. А на них лежала толстым слоем пыль. Было видно, что прислуге запрещалось дотрагиваться до этого стола. С другой стороны, и хозяин, видимо, не прикасался к нему и его содержимому в течение долгого времени. Когда он захотел показать мне одну книгу и начал рыться в ухабах бумажно-книжного склада на столе, нужная книга так и не отыскалась.

В углу комнаты стоял стильный круглый стол хорошего вкуса и удобные кресла, на полу азиатские ковры, — воспоминание о Кавказе. На стенах до потолка — картины, масло и акварель, гравюры, рисунки. У одной стены — книжные полки и шкафы. В другой комнате, рядом, продолжение картинной галлереи и холостяцкая спальня походного типа.

Деловой наш разговор кончился быстро. Колюбакин

предложил мне взять тему, до того никем не затронутую, — о роли маневра в решительном сражении. Придуманное им заглавие носило типичный для Колюбакина отпечаток чрезмерной законченности военно-научной фразы, что делало название тяжелым. Однако возражать мне не приходилось. Название это было: « Маневр, как средство достижения цели боя ». Таково и заглавие моей книги, напечатанной после защиты диссертации.

Покончив с этим вопросом и дав мне несколько намеков, как развивать заданное и где черпать вдохновение, Колюбакин повел меня вдоль стен, с любовью показывая и объясняя экспонаты его собрания. Оно было пестрым, но интересным, и обнаруживало, что Колюбакин был сам художником. Действительно, он, как и его друг Н. П. Михневич, « баловался красками », но своих вещей скромно не показывал. То, что он собрал, было обязано его художественному пониманию и регулярным поискам у старьевщиков-антикваров Александровского рынка и других мест. Антиквары эти хорошо знали высокого бакенбардиста-офицера и приберегали для него товар. Но, как настоящий коллекционер, Борис Михайлович не только хотел купить интересующую его вещь, но и купить ее дешево. Колюбакин с удовольствием приводил ряд примеров из этой области его случайных находок и непонимания торговцем их цен.

В числе редких изданий у Бориса Михайловича был интересный альбом зарисовок Лилье-де Лиль Адама, художника, сопровождавшего Наполеона в русском его походе в 1812 году. Перед Бородинским сражением он нанес на своем планшете расположение русских войск, как оно представлялось с французских позиций. Панорамный рисунок этот изумительно точно передавал места русских полков, и Колюбакин сделал кальку, где надписал их названия. Между прочим, в эмиграции, в Лондоне, мне удалось приобрести за гроши 2-3 листа этого альбома литографий, но листы не столь интересны.

Колюбакин был интересен, когда говорил на военные темы, но он не замыкался в этой области и представлял собою тип широко образованного человека. Помогало ему свободное владение языками, французским и немецким.

Устная защита мною диссертации в феврале 1911 года прошла благополучно. Кроме Колюбакина моими оппонентами были Н. Н. Головин (старше меня годом по Пажескому корпусу), уже профессор Академии, и полковник Добророльский, назначенный, по положению, от Главного Управления Генерального штаба.

Этот оппонент со стороны сделал несколько замечаний, обнаруживших его собственное невежество в научных определениях и терминах. Академические оппоненты не столько возражали, сколько говорили на ту же тему, а Борис Михайлович назвал мою работу « художественной » и снова, как семь лет перед тем, приветствовал меня почти в тех же выражениях — « как молодого ученого ».

Когда настал мой черед отвечать на замечания оппонентов, я не благодарил их, как это сделал медоточиво и заискивающе М., защищавший диссертацию в тот же вечер, а яростно возражал, отстаивая свои положения. Схватив, в заключение, мел, я набросал на доске, в порядке импровизации, дополнительный исторический пример в подкрепление моих идей.

Брат, который присутствовал на этом публичном вечернем собрании в большой аудитории имени Г. А. Леера, нашел эту часть моей защиты наиболее удачной, эффектной и произведшей благоприятное впечатление на слушателей. Среди них было много « больших » генералов, в том числе, насколько помню, и Куропаткин, Шахейскую операцию 1904 года которого я привел и разобрал в своем этюде как отрицательный образец. Присутствовал и мой тесть, Э. В. Гильхен. Откровенный нелюбитель офицеров Генерального штаба, но сдержанный и скрытный ,он не высказал мне своего мнения. Однако то, что Колюбакин назвал меня « ученым » показалось ему по меньшей мере преждевременным...

В общем, все три или четыре диссертанта, выступавшие в тот вечер, были признаны в последовавшем немедленно после защиты заседании конференции достойными ученых степеней. Но каждый из нас получил по одному черному шару. Не было сомнений, что положил их Бонч-Бруевич. Почему, и кто был Бонч-Бруевич, речь будет дальше.

Как бы то ни было, все кончилось для нас хорошо. И произошло это в пятницу и 13-го!

Но назначение мое теперь зависело от участи профессорской диссертации, которая должна была решиться в начале февраля 1912 года. Одновременно начальник Военной Академии генерал Щербачев предложил мне перейти в Академию, не ожидая защиты моей ученой работы, на вновь образованную должность « преподавателя ». Я отказался, заявив, что в случае неудачи моей диссертации я предназначаюсь на службу военным агентом и что воспользуюсь этим предложением.

Но диссертация прошла; мое назначение экстраординарным профессором состоялось 1 февраля 1912 г. Кончилась моя двухгодичная с лишним служба в Управлении Генерального штаба и началась военно-научная, в Академии.

Я уносил с собой хорошие воспоминания об интересной и живой работе в красивом здании на Дворцовой площади, и о симпатичной среде моих сослуживцев.

Когда в Петербург наезжали наши балканские военные агенты, мы обыкновенно приветствовали друг друга не только в канцелярии, но и за рюмкой водки в традиционном Hôtel de France на Большой Морской, в нескольких минутах ходьбы от нас.

Германское же отделение (Скалон, Водарь и Рябиков) завели обычай праздновать день рождения кайзера по немецкому ритуалу. Все чины разведывательного отдела приглашались на завтрак в ресторан Лейнера на углу Большой Морской и Невского, посещаемый преимущественно немецким купечеством Петербурга. Там, в отдельном кабинете, под управлением Рябикова, проведшего год в прикомандировании к германскому пехотному полку для изучения языка, мы воспроизводили церемониал немецких офицерских собраний : деревянно вскакивали по сигналу, кричали « hoch », « prosit », « die erste rackette commt », стучали огромными пивными кружками по столу и пили тост за здоровье Вильгельма!...

Получил я на прощанье с Главным Управлением Генерального штаба и вещественное доказательство наших товарищеских отношений : милый подарок. Мой письменный стол украсился еще полезной и нарядной лампой и серебряным пресспапье.

НИКОЛАЕВСКАЯ ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССУРА

Прошло шесть лет, и я, после маньчжурской войны и службы в Киеве, вошел снова в стены Академии, сначала руководителем занятий по тактике и лектором, а еще через год — профессором по кафедре военного искусства.

Я уже писал, что обо мне вспомнили А. К. Байов и Б. М. Колюбакин. Но, кроме того, в моем приобщении к академической работе оказался, как я скажу в своем месте, заинтересован молодой профессор — реформатор Н. Н. Головин *).

Наступило бурное время « переоценки ценностей » после неудачной русско-японской войны. Оно захватило и Академию. За умом-разумом командировали заграницу сначала одного профессора, потом другого, — Головина. Проведя год во Франции при тамошней военной академии (Ecole supérieure de guerre), Головин проникся убеждением, что принятые в ней методы являются как раз тем, что было нужно нам для обновления учебной системы, застывшей на приемах и принципах 60-х годов прошлого века и связанных с именем Милютина.

Французская школа ставила изучение теории и даже военной истории на второе, вспомогательное, место, выдвигая вперед практические упражнения по стратегии и тактике. Это потребовало тщательной и мелочной разработки так называемого « прикладного ме-

---

*) Старше меня годом по Пажескому корпусу. Потом офицер гвардейской конной артиллерии.

тода», состоявшего в решении офицерами задач как на планах, так и в поле. Горячим сторонником и проводником этой системы был талантливый Фош — тогда начальник академии. Выдающаяся личность Фоша несомненно способствовала тому, что Н. Н. Головин всецело подпал под его влияние и под влияние учебно-воспитательного метода французской высшей военной школы.

По сравнению с петербургской системой это было, как говорится, небо и земля. Решали задачи и у нас, но мало по числу, неглубоко по качеству и слишком широко, с уклоном в сторону общих мест и шаблонов. Из офицеров старались выработать сразу начальников дивизий и командиров корпусов, обходя технику действий малых частей, начиная с самых низов. В результате получались будущие начальники-верхогляды, неспособные при отдаче приказания мысленно объять всю область предполагаемого исполнения. Между тем только при этой способности общая идея приказа могла получить жизненную форму.

Русские офицеры Генерального штаба и славились среди строевых офицеров, особенно боевых, как не понимавшие жизни и витавшие «в облаках». Они пребывали в теоретическом «небе».

Наоборот, французские кандидаты в будущие полководцы с самого начала их тренировки спускались с «небес» принципов и основ на твердую землю трудностей при их осуществлении. Офицер, умевший толково и ясно распорядиться батальоном, батареей, заставой, разъездом, мог столь же толково и жизненно поставить задачи нескольким батальонам и т. д.

Для изучения мелкой техники действий тактика была разделена по родам войск (пехота, артиллерия, кавалерия и т. д.). Когда эта сторона дела была усвоена, приступали к решению задач на действия крупных соединений из всех родов войск. Это входило в отдел «высшей тактики».

В русской Академии руководитель выдавал задачи своей партии, каждому офицеру отдельную, для решения на дому. Во французской — вся партия, человек 10-12, получали одно и то же задание и работали над ним в стенах академии под непрерывным и близким наблюдением руководителея. Он, конечно, должен был предварительно сам продумать задачу во всех подроб-

ностях и прорешить ее, чтобы иметь возможность направлять работу своих офицеров с наибольшею для них пользою. По мере хода задачи она развивалась посредством вводных данных обстановки; руководитель играл роль противника, погоды, тех или иных случайностей.

Упражнения эти должны были вырабатывать в офицерах способность быстро применяться к условиям обстановки, принимать решения и не теряться в словах и редакции приказаний. Пресловутая справочная книга по тактике, полная шаблонов в духе письмовника, таблиц и размеров — эта опора среднего русского офицера, даже офицера Генерального штаба, при решении задач — теряла при этом методе свою притягательную силу. Решавший соображал свободно, не искал для приказаний казенных, «Высочайше утвержденных» выражений; обыкновенный здравый смысл шел наряду со знанием.

Общность задачи для всей партии делала ее одинаково всем интересной, давала случай взаимной критики и обмена мнений.

Время от времени профессор по данному отделу тактики решал «показную» задачу в аудитории для всего курса, подчеркивая ту или иную сторону, на которую следовало обратить внимание.

В общем, цель всех занятий этого рода была оторвать их, насколько возможно от кабинета и приблизить к жизни.

Педагогическая мысль эта не была открытием французов, Раньше их в Пруссии, как раз в годы успешных ее войн с Данией, Австрией и Францией, пользу прикладного метода при изучении тактики возвестил преподаватель берлинской военной академии Верди — дю-Вернуа, немец с французской кровью (1832-1910). Начиная с него, метод этот прочно утвердился в рассадниках германских офицеров Генерального штаба и старших начальников.

С таким же успехом русская Академия могла обратиться за вдохновением и в Берлин. Но наши союзные отношения с Францией, направленные против Германии, были причиной того, что мы посылали своих «ходоков» в Париж. Там им были раскрыты все двери и предоставлены все возможности изучить предмет постановки наук в высшей военной школе.

Н. Н. Головин, вернувшись из Франции после годичной командировки, горячо взялся за проведение вывезенных им идей. Разбудить консервативную нашу Академию было нелегко. Произвести перемены в преподавании курса тактики было нельзя, не затронув общего учебного плана. Новый метод требовал большого числа учебных часов для тактики. Необходимо было урезать время по другим предметам и сделать перекройку программ, что сейчас же встретило сопротивление, активное или пассивное, профессоров и преподавателей, читавших другие курсы *).

Настойчивый и умный, хотя и неоригинальный, Головин, однако, не отступил перед выраставшими препятствиями и трудностями. С верой и энергией борца-фанатика он вступил в открытую войну с противниками предложенных им решительных перемен. Образовалось два лагеря. К лагерю Головина примкнул и я. Еще сидя в Киеве и ничего не зная об академических делах, я напечатал в 1909 г. в « Русском Инвалиде » две статьи, — одну о необходимости ввести прикладной метод преподавания тактики в военных училищах, другую — о тактике артиллерии и необходимости перейти от 6-орудийных батарей к 4-орудийным. Головин обратил внимание на эти статьи. Когда я приехал в Петербург, он имел со мной беседу, показавшую ему, что в моем лице он найдет искреннего единомышленника и сотрудника. Я и был всецело на стороне прикладного метода, который старался привить в Киевском военном училище, где преподавал в 1909 году.

Когда в лагере защитников старого режима не хватило логических доводов, они пустили едкий слух, что реформы имеют политическую, революционную подкладку и окрестили их сторонников насмешливым, но и пугающим прозвищем « младотурок ».

К счастью для Головина начальником Академии в 1909-10 гг., когда завязалась эта война, был генерал Д. Г. Щербачев, человек свежий, непричастный до того к академической жизни, не считая, быть может, веде-

---

*) Между прочим был введен курс службы Генерального штаба, отсутствие которого в Академии, носившей с 1855 по 1900 г. название Академии Генерального штаба, было необъяснимым. Чтение нового курса взял на себя Головин.

ния некоторых практических занятий. Непосредственно перед своим назначением он командовал двумя полками в Петербурге — Новочеркасским и лейб-гвардии Павловским и был зачислен в Свиту Его Величества. Вообще, он производил впечатление скорее строевого, чем штабного офицера и, тем менее, ученого. Высокий, стройный, подтянутый, с кавалерийскими усами под горбатым носом, с острым взглядом темных глаз, густой шевелюрой седеющих волос, со своей бодрой походкой Щербачев напоминал картинный тип французского генерала вроде Буадефра.

Решительность перестройки академической системы не могла пугать нового начальника с его строевым складом и быстрыми ухватками. К тому же он когда-то, в молодые годы своей службы в Генеральном штабе, составил и напечатал практическое, довольно элементарное, руководство для решения задач по тактике. Теперь перед ним открывалась возможность двинуть это дело в масштабе, ширина которого подкупала.

Головину не стоило особого труда склонить Щербачева на свою сторону. После этого число голосов в конференции Академии за реформу выросло, и скоро « старотурки » остались в беспомощном меньшинстве.

Во главе его оказались А. К. Байов, правитель дел Академии, профессор по курсу русского военного искусства, и М. Д. Бонч-Бруевич, академическая « классная дама » и дважды провалившийся кандидат на профессуру.

Первый был честен, неподкупен и искренен в своем убеждении, что прикладной метод развалит научно-воспитательную ценность нашей Академии, направя ее на путь, как он говаривал, унтер-офицерских школ и полковых учебных команд.

Второй был бесчестен, бездарен, завистлив, сгорал скрытым властолюбием, а также ненавистью ко всем тем, кто мешал, по его мнению, блеску его карьеры *). Завязавшаяся в Академии борьба давала ему случай

---

*) В Киеве он бросил жену с пятью малыми ребятами, цинично объявив, что она была слишком проста для супруги будущего командира полка. Бонч-Бруевич женился после этого на декоративной даме, бездетной вдове сослуживца по штабу в Киеве.

не только насолить кое-кому из тех, кто забаллотировал его диссертации *), но и выдвинуться в качестве вождя оппозиции; предположения перемен грозили крушением основ, научных и политических! Это Бонч-Бруевич пустил в оборот кличку « младотурок » в качестве отправной точки дальнейшей интриги.

Если Головин заручился поддержкой начальника Академии и большинства конференции, то Бонч-Бруевич искал ее во влиятельных кругах вне Академии. Начальником Генерального штаба был безличный Жилинский. Военным министром — беспечный Сухомлинов. Почва благодатная.

Сухомлинов знал Бонч-Бруевича по службе в Киеве, где он сначала состоял для поручений при Сухомлинове — командующем войсками, а затем преподавателем в Киевском военном училище. Сухомлинов получил верноподанного Бонч-Бруевича по наследству от М. И. Драгомирова. Последний любил компанию за стаканом вина, и, молодой тогда офицер Генерального штаба Бонч-Бруевич показал свою способность « засиживаться за столом далеко за полночь ». Сухомлинов не поддерживал этой традиции после ухода маститого Драгомирова, но Бонч-Бруевич сумел снискать доверие и его преемника. Между прочим, он предпринял обновление классического учебника тактики Драгомирова, издания 1883 г. и во многом устаревшего к началу 20-го века. Сухомлинов этому сочувствовал, а Драгомиров, сам теперь устаревший и доживавший в деревне Конотопского уезда свои дни, согласился редактировать дубовую переделку Бонч-Бруевича и сохранить свое авторское имя. Драгомировский учебник был испорчен. Но вся эта комедия поставила имя Бонч-Бруевича рядом с почтенным мировым именем Драгомирова.

Как бы то ни было, когда в 1909-10 г. бывший начальник штаба, а потом преемник Драгомирова Сухомлинов оказался в Петербурге на должности военного министра, появление у него в кабинете киевского сослуживца Бонч-Бруевича было естественным и нормальным. Их связывала память о Михаиле Ивановиче. Оста-

---

*) Обе представляли жалкую, чахлую и беспомощную попытку научных этюдов.

валось пустить в этом кабинете корни что и удалось без усилий. Переиздавался полевой устав (опять-таки на замену драгомировского), один проект, на основании новых влияний в тактике и недавно пережитого опыта русско-японской войны, составила академическая группа Головина. Противники этой группы во главе с Бонч-Бруевичем довели до сведения военного министра и начальника штаба о зловредном будто бы направлении этого проекта. В результате была образована новая комиссия, вне Академии. Главной пружиной в ней и главным писателем оказался, в качестве ложного эха Драгомирова, Бонч-Бруевич.

Устав, как и учебник тактики, получился несвязный и плохой, но во время регулярных своих визитов к Сухомлинову по вопросам устава Бонч-Бруевич сумел сделаться постоянным неофициальным докладчиком по делам Академии. Докладчиком — термин неверный. Скорее — доносчиком.

Пока, таким образом, Головин с приверженцами прикладного метода насаждали новую постановку занятий в Академии, как казалось, с официального благословения, под это молодое здание велся подкоп, — с благословения тех же официальных кругов!

Интрига победила.

Через три года опыта, только что ставшего на ноги, « крамольное гнездо » проводников прикладного метода было разгромлено Сухомлиновым. Щербачев получил корпус в Киеве. Головин — драгунский полк (правда — вне очереди) в Финляндии, Н. Л. Юнаков — другой чемпион — пехотную бригаду в Москве.

Над остальными чувствовалась еще гроза. Было неизвестно, в кого ударит следующая молния.

Начальником Академии 1 января 1914 г. был назначен к собственному его изумлению полуштатский Н. Н. Янушкевич. Этот малозаметный профессор военной администрации представлял собою тип скромного подчиненного, всегда готового сказать : « чего изволите ». На первом же заседании конференции он так и очертил свою программу : « Мы будем делать то, что нам прикажут военный министр и начальник Генерального штаба ». С военным министром Янушкевич был знаком не менее Бонч-Бруевича по своей службе, одновременно с профессурой, в канцелярии военного министерства.

Не стоит останавливаться на том, как сразу же было приступлено к искажению идей, проведенных Головиным, в тщетной попытке удержать из них кое-что, а в остальном вернуться к старой системе; не стоит потому, что через полгода вообще вся академическая работа была остановлена войной.

Перед этим успел уйти покорный Янушкевич, шагнув, опять-таки неожиданно для всех и, вероятно, для себя, на ответственную должность начальника Генерального штаба. Она автоматически привела его на еще более ответственную должность начальника штаба Верховного Главнокомандующего в июле 1914 г. Карьера Янушкевича была головокружительная. Ей мог позавидовать любой победоносный полководец. Но к обеим высоким должностям этот « счастливчик » не был подготовлен и оказался на них не в своей тарелке.

Янушкевича в Академии сменил раннею весною 1914 г. князь Енгалычев, человек Академии посторонний, бывший командир лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка, находившийся перед новым своим назначением в отставке.

Упоминаю об этом главным образом потому, что имел с ним беседу, в которой снова всплыл на свет Божий Бонч-Бруевич и которая показывает, какие планы строил этот интриган на будущее Академии и свое собственное.

Шли весенние экзамены. Накануне дня, когда я должен был экзаменовать по своему предмету — тактике пехоты — я получил записку князя Енгалычева, приглашавшего меня, едучи утром в Академию, заехать к нему на квартиру. Жил он в собственном доме на Васильевском острове, в дальнем его конце, где-то у Тучкова моста. Академия находилась на « Песках ». « Заезд » был такого радиуса, что мне пришлось встать очень рано, чтобы попасть вовремя в оба места. Енгалычев, однако, не задержал меня, а пригласил почти сейчас же ехать вместе в Академию. Ему подали парную коляску, и мы поехали. Тут начальник Академии завел со мной разговор, сначала издалека и осторожно: что я думаю по поводу издания руководства по тактике, которое отвечало бы современности и примирило бы разные противоречивые течения.

Я ответил, что такое издание было бы, конечно, желательным.

Не возьмусь ли я, спросил далее Енгалычев, за составление такого руководства?

Задача эта очень трудная, сказал я, но, состоя профессором по кафедре тактики, я не имел бы права отказаться от этого поручения и приложил бы, конечно, все свои силы, чтобы выполнить его с честью.

Енгалычев помолчал, как бы собираясь с духом, и затем задал мне вопрос : « Но вы ничего не имели бы против, если бы вам предложили показывать для проверки, критики и одобрения вашу работу, время от времени, авторитетным лицам на стороне? Например, полковнику Бонч-Бруевичу? ».

Надо сказать, что этот вредитель с псевдодрагомировской репутацией к этому времени уже сделался « авторитетом на стороне », так как получил полк в Киевском военном округе.

— Вы подумайте, — закончил свою беседу Енгалычев.

Мы подъезжали к Академии.

— Я могу ответить вам сию же минуту, не прося срока на размышление, — сказал я, — профессор Академии есть лицо независимое, облеченное доверием конференции, ответственное только перед ней и начальником Академии. Ходить к кому бы то ни было на сторону за указаниями и утверждением значило бы подорвать не только свой личный престиж, но и авторитет Академии.

— Пусть этот разговор останется между нами, — заключил Енгалычев.

Мы приехали. В этот день начальник Академии провел больше часа на моем экзамене и выразил мне свое удовлетворение принятой мною системой спрашивания. Она была всецело построена на прикладном методе. Я проверял теоретические сведения офицера, задавая летучие задачи.

На чьей стороне были вообще симпатии Енгалычева — неизвестно. Но, оглядываясь назад, мне приходило потом в голову, что высшее начальство, порешив в принципе пойти по подсказам Бонч-Бруевича и устранить, как говорили наши враги, Головина и Ко, пригля-

дывалось, кого можно пощадить и на кого, быть может, в свое время опереться.

В разгаре борьбы в Академию нагрянули внезапно однажды — Сухомлинов, в другой раз — начальник Генерального штаба Жилинский. И тот и другой посетили мою лекцию и просидели на ней полный час.

В самой Академии, во враждебном лагере, у меня был покровитель — А. К. Байов, считавший. вероятно, что мое увлечение непрочно и что с уходом главного виновника академического переворота меня можно было бы направить по другому пути. Дружеское отношение Байова ко мне лично я всегда чувствовал, несмотря на мою принадлежность к ненавистным «младотуркам», хотя он никогда и не высказывал мне этих чувств. Впоследствии, на войне, в 1915 г. Байов, в должности начальника штаба III армии, пожелал взять меня к себе в штаб на должность генерал-квартирмейстера. Я предпочел предложенную мне одновременно младшую должность командующего лейб-гвардии Измайловским полком.

Что бы ни замышлял на 1914 год Бонч-Бруевич и вдохновляемый им Сухомлинов, — война положила всему конец. И к лучшему! Ибо Сухомлинов оставался бы у дел, а не был бы предан суду, как это случилось с ним во время войны, и Академия могла получить в недалеком будущем еще один горький сюрприз: Бонч-Бруевича своим начальником.

Интересна его карьера во время и после войны. На войне он бесцветно занимал высшие штабные должности. А в первые же дни прихода к власти большевиков Бонч-Бруевич, этот оплот консерватизма и исторических основ русской монархии, пристал к новым господам. Все равно, какие господа. Кто палку взял, тот и капрал! С привычной услужливой ужимкой он сразу предложил им свои услуги, открыв собой линию «военспецов».

Из всей моей службы — строевой, штабной и педагогической — эта последняя область была наиболее мне по душе. Тут я чувствовал себя свободнее, легче и счастливее. Научная работа мне давалась и, как лектор,

я не испытывал смущения перед аудиторией, какова бы она ни была. Читал я юнкерам, офицерам, рабочим (в Петербурге, летом 1909 г., по случаю Полтавского юбилея), докладывал торжественным и критическим аудиториям. Я видел, что слушали меня с искренним вниманием и интересом. Думаю, что это не было самообольщением, так как до меня доходили отзывы правдивых слушателей. Уже в эмиграции мой ученик по Киевскому училищу написал мне : « Знаете ли вы, что на ваши лекции приходили юнкера из других отделений? ». Самый процесс лекторства меня занимал. Я стремился усовершенствовать свою речь, ее построение, свободу выражений, запас слов; была вера в свои силы и в то, что при знании предмета я всегда смогу, в случае надобности, импровизировать, — не только читать по заранее обдуманному твердому тексту. Эта способность позволяет лектору увлекаться и увлечь за собой и слушателей.

Я никогда не читал, в буквальном смысле слова, по рукописи, как делали некоторые осторожные профессора, а говорил, держась только лежавшего перед мною схематического конспекта.

Но зато я знал точно, когда я был в ударе и говорил хорошо, захватывал слушателей, и когда нет. В первом случае они неотступно следят за лектором; если он сделает несколько шагов в сторону от кафедры, их глаза дружно, как по команде, его провожают. Во втором случае — они постепенно от него « отпадают ». Слышится шелест развертываемой газеты; видны головы, склонившиеся над книгой. В передних рядах еще соблюдается приличие : на вас смотрят, хотя и без искры интереса. Чем дальше вглубь аудитории — тем хуже. Там что-то пишут, читают, просто спят!

Лекторам, которые жалуются на невнимание, рассеянность и невежливость слушателей, следует говорить : « Врачу, исцелися сам! ». И подсказать им дватри правила : 1) не ходить взад и вперед, с размеренностью метронома, читая лекцию самому себе под нос (проф. военной географии и статистики А. М. Золотарев); 2) не говорить заведенным на один тон голосом, тем менее, если этот тон похоронный или хриплый (Баскаков); 3) не быть рабом своих записок и листков (Гейсман) — разве только лектор выработает тонкую

технику чтения по рукописи, искусно его маскируя (Н. Л. Юнаков).

Нарушение первых двух правил есть верное средство убаюкать самую благодарную аудиторию, каковы бы ни были содержание и построение доклада.

Опыт у меня был пятилетний. Два года в Киевском военном училище, где первый год я совмещал лекторство со своей штабной должностью, а второй — принадлежал училищу всецело, то есть читал каждый день и весь день. Мои предметы были тактика и военная история. И три года в Академии. В эти академические годы я имел еще лекции по военной истории — раз в неделю — в родном Пажеском корпусе.

Работа в Академии была особенно приятна. Зависимость профессора от начальника и конференции Академии была формальная и почти номинальная. В пределах порученного ему предмета он являлся полным господином. От него ожидали создания курса наново, не повторения того, что читал его предшественник по кафедре. Поэтому труд был творческий или, по крайней мере, должен был быть таковым. Это развязывало профессору руки.

Кроме лекций, нужно было вести еще практические занятия, зимние — в Академии и летние — в поле, в приятных окрестностях Гатчины или Царского Села. По введении прикладного метода преподавания тактики этих занятий стало больше, они потребовали длительной и тщательной подготовки руководителя, но все же, за вычетом этих обязательных часов, у профессора оставалось достаточно времени, которым он мог распорядиться по своему усмотрению. Были дни, когда не только вечер, но и утро или вторая половина дня оказывались свободными. Это давало широкую возможность спокойных занятий дома в своем рабочем кабинете.

Мне кажется, что таких независимых должностей существовало в военном ведомстве немного. И для человека вроде Б. М. Колюбакина, который был счастлив в области абстрактных идей и чистой науки, такое служебное положение не оставляло желать ничего лучшего и могло быть конечным.

При этом оно и оплачивалось очень хорошо. Кроме довольно высокого оклада, профессор получал дополни-

тельное вознаграждение за практические занятия, за статьи, помещаемые им в академическом журнале, за оппонирование по темам и т. п. Некоторые профессора доводили общую сумму своего годичного заработка до 10.000 руб. и больше. В России это было очень много и почти равнялось содержанию корпусного командира. Я в 1914 году, на третьем году профессуры, мог считать себя еще начинающим и тем не менее получал до 8.000 р. в год.

Первый порученный мне курс был тактика инженерных войск, по которой в Академии до того было сделано очень мало, и это малое заключалось в жидких и устаревших литографированных записках. Между тем этого рода войска получали все большее и большее значение. К ним причислялись вновь рожденные воздушные и автомобильные части. Я начал с переименования предмета в « тактику технических войск »; термин этот легче обнимал разросшиеся разнообразные механические части. За мной немедленно последовал — по совпадению мысли или буквально — закон : военно-инженерная академия была переименована в военно-техническую. После этого термин привился вообще.

В первый же год разработки нового курса я успел его оформить для печати. Эта книга дала мне звание ординарного профессора (младшая степень носила не менее странное название « экстраординарного »). Я поднес ее Государю весной 1913 года при представлении ему по случаю этого назначения. Оно давало права командира полка, из которых в ученой нашей деятельности только одно имело практическое значение : возможность путешествовать по железной дороге в вагонах I-го класса с билетом II-го...

С получением « ординарного » я получил и другой курс для чтения : тактику пехоты.

Здесь тоже надо было начинать сызнова. Опыт русско-японской войны принес много свежих идей, сильно были выдвинуты огневые вопросы. В Германии и во Франции появился ряд трудов, устанавливавших новую доктрину пехотного боя. Весь этот материал, практический и теоретический, надо было переварить и привести в законченную форму. Работа эта меня захватила, я подходил к вопросам под своим, до меня неиспользованным углом зрения и, шаг за шагом, устанавливал на

своих лекциях этапы нового курса. Офицеры лихорадочно записывали: печатных и литографированных пособий не было. Посадили даже на мои лекции с разрешения начальства стенографиста. Лично я надеялся сам отделать, написать и напечатать курс для следующего выпуска, то есть 1915 года. Виднелись уже подразделения труда: маневр, огонь, удар... Группировались никем еще не тронутые исторические примеры... Вообще, казалось, — идеи, факты, бежали навстречу, по пословице « на ловца и зверь бежит »...

Война опрокинула мои мечты и расчеты. Профессору пришлось от теории тактики пехоты перейти осенью 1914 года к ее применению и проверке на боевой практике.

Последнее мое выступление перед войной был публичный доклад в большой Лееровской аудитории, в которой я обычно читал свои лекции младшему курсу. Кн. Енгалычев выбрал меня, чтобы сделать этот доклад перед закрытием Академии и нашим общим разъездом на фронт. Цель лекции была — дать общее понятие о наших противниках.

Сравнивая их, я сделал вывод, что с австрийцами нам будет легко, но что придется повозиться с германской армией. Оригинальности в этом заключении не было, так же чувствовали все, но я указал, что и германская армия и ее доктрина несут в себе в конце концов зародыш поражения. Он скрыт в чрезвычайной самоуверенности и в тяготении к шаблону. Этим последним являлось учение о глубоких двойных охватах, ведущих к кольцевому окружению; на военной игре в Берлине в 1905 году война на русском фронте была победоносно закончена « в три счета » пленением одной за другой всех русских армий.

Действительность показала, что немцы обожглись на безусловности этой доктрины (первая Марна) и должны были перейти на технику прорыва. Трудность осуществления прорыва привела, в свою очередь, к тому, что немцы начали искать легких решений на второстепенных театрах, побеждать, так сказать, по линиям наименьшего сопротивления (кампания против России

1915 г. и Балканская 1916 г.). А эта стратегическая ошибка привела к окончательному поражению Германии в 1918 году.

Три года, проведенные перед войной в Академии, вспоминаются с удовольствием. Работа интересовала, начальство не докучало, а участие в насаждении прикладного метода придавало этой работе живость и темп, которые отсутствовали бы при старой системе; она прикурнула в выбитом, удобном для руководителя русле. Офицеры решали, а руководитель проверял задачи на дому. В Академии производился разбор, причем из 6 офицеров партии пятеро, незнакомые с содержанием разбираемой индивидуальной задачи, выносили из этого разбора мало; чужие ошибки их не трогали, они ждали своей очереди. Руководители руководили каждый по своему, вразброд. Хотя над группой партий и полагался старший руководитель, профессор, для объединения взглядов и приемов, но его видели редко, да и трудно ему было постоянно присутствовать на занятиях. Часто у него была еще служба и вне Академии. Число партий было велико, и на все не хватало личного учебного состава Академии, состоявшего из профессоров, игравших роль курсовых офицеров военных училищ. Это вынуждало приглашать значительное число руководителей со стороны. Контроль над этой категорией был еще труднее.

Перенятая нами французская система все это отметала. Задачи, решавшиеся сообща, при непосредственном участии руководителя, позволили иметь большее число офицеров в каждой группе и сократить численность групп. Посторонние руководители исчезли, а для усиления академического учебного персонала ввели новую должность — преподавателя, что отвечало упраздненным в 1890 году адъюнкт-профессорам *).

Как уже упоминалось выше, задачи прорешались группой руководителей прежде чем предложить их

*) Их полагалось всего 3 и они являлись помощниками профессора по определенной кафедре.

слушателям; это сближало тактические понятия первых и уничтожало возможность их разноголосицы и противоречий, столь естественных при прежнем методе, где каждый руководитель был « сам себе голова ».

В этот период борьбы двух « роз » по вопросу изучения тактики много было пролито чернил и желчи в военной печати на тему о единой « доктрине ». Одни доказывали ее необходимость, другие уверяли, что установление твердого учения убьет творчество и лишит военное искусство гибкости.

Сторонники тактической раздроби упускали из виду разницу между доктриной (что означает дух школы) и доктринерством, в котором одолевает форма и метафизика.

Кроме сказанного выше о новом порядке практических занятий, следует подчеркнуть, что постоянное общение учебного персонала превращало его в монолит, основанный не на одних формальных связях, но и на дружеских, — взаимного понимания и уважения. Это имело существенное педагогическое значение. Но несомненно, что все это требовало от нас большого напряжения, — как перед лицом своих аудиторий и партий, так и за кулисами Академии. Энергичный Головин поддерживал в нас возжженный им огонь и, собирая старших руководителей время от времени на частных квартирах, вне Академии, заставлял их самих учиться на задачах и набираться нужных навыков.

С другой стороны, тесная работа их с офицерами позволяла узнавать не одни их умовые качества, но и характер.

Плюсы этой системы очевидны. Но у нее были и минусы. Они еще не могли сказаться в наше пионерное время, когда все были полны энтузиазма и своего рода жертвенности; однако в будущем можно было предвидеть, что напряжение уступит место усталости. Что руководители, утомленные непрерывным составлением разнообразных заданий, начнут повторяться. Что слушатели поэтому будут заранее знакомы с типом этих заданий и их решением. Появилась бы ядовитая стереотипность, которая подтачивала бы здоровье прикладного метода.

Не допустить этого можно было одним средством: периодически обновлять учебный персонал, постоянно

имея в его среде молодые, свежие силы. Но это легко было сказать, трудно исполнить. Люди, попавшие на завидные, в общем, места в Академии, естественно их держались.

Французская военная школа, руководимая выдающимся Фошем, хорошо прошла через испытание и показала это во время войны 1914-18 гг. Но после него, вероятно, с нею случилось нечто подобное тому, о чем я говорю. Напряжение ослабло, дух Фоша отлетел, и к войне 1940 года Франция получила линию Мажино, как рецепт победы, и последовавший за ним небывалый разгром в поле. Автор капитального труда « Маневр в бою » должен был перевернуться в гробу!

Признаки изнашивания в некоторых жрецах прикладного метода в нашей Академии были заметны уже на третьем году опыта, то есть очень рано. Один из них, добившись звания экстраординарного профессора и, следовательно, более прочного положения в конференции Академии, говорил мне : « Все это прекрасно, но не можем же мы бесконечно бегать на поводу у Головина? И не пересаливаем ли мы предварительными занятиями руководителей? »

Такое настроение, хотя бы единичное, было, конечно, на руку коренным врагам новой системы, и они его использовали.

А Б. М. Колюбакин, между тем, вышучивал нас, не стесняясь присутствия наиболее умеренных и наименее фанатичных адептов нового (увы, на деле очень старого) учения, и когда Головин *), Юнаков **), Келчевский ***) были далеко. Изображая в лицах группу

---

*) После профессуры — командир Финляндского драгунского полка и затем лейб-гвардии Гродненского гусарского полка (1914 г.). Кончил войну начальником штаба Румынского фронта у Щербачева. В эмиграции основал Высшие военно-научные курсы. В 1939 г. напечатал в « Русском Инвалиде », издававшемся в Париже, историю академической реформы, которую он проводил. Георгиевский кавалер.

**) Лейб-гвардии Семеновского полка. Профессор, потом командир 1-й бригады 1-й гренадерской дивизии. На войне — начальник штаба армии. Остался в России.

***) Артиллерист. После профессуры по тактике артиллерии занимал во время войны ряд высших должностей, кончая постом командующего армией (уже во время революции). Георгиевский кавалер. В эмиграции (примерно в 1925 г.) застрелился в Берлине.

новаторов, отправляющихся на лекцию своего собрата, — это слушание чужих лекций тоже было введено в порядок вещей, — Колюбакин поднимал плечи, выпячивал грудь, раздвигал баки, делал несколько шагов и торжественно провозглашал : « Смирно! Господа офицеры! Тактика кавалерии идет! ».

Борис Михайлович не хотел бы, конечно, чтобы коллеги приходили на его сокращенную им до получаса и импровизируемую лекцию о военном искусстве древних!...

За стенами Академии союзниками академических « старообрядцев » являлись те многочисленные полковники, которые прежде приглашались руководить практическими занятиями по тактике, а теперь их лишились.

Враждебная сплетня и молва в Петербурге ширилась к удовлетворению Бонч-Бруевича. А из Петербурга она ползла и дальше.

Но на войне можно было без натяжек заметить, что офицеры двух выпусков « по-новому » оказались на высоте. Тоже, по-видимому, и их бывшие руководители, так как все они без исключения достигли старших должностей по управлению войсками и, в большинстве, удостоились еще и статутных Георгиевских наград.

. . . .

КОМАНДОВАНИЕ БАТАЛЬОНОМ Л.-ГВ. В ЕГЕРСКОМ ПОЛКУ

Я носил форму лейб-гвардии Егерского полка десять лет и переменил ее на мундир Генерального штаба летом 1905 года, когда я был на театре войны в Маньчжурии. Я мог вскоре вернуться в строй полка для годичного командования ротой, но по домашним обстоятельствам предпочел выполнить требуемый ценз в Киеве, где служил после русско-японской войны.

Летом 1913 года я, однако, опять состоял в рядах родного полка, командуя, в чине полковника, первым — то есть тоже родным — батальоном. За протекшие восемь лет в полку произошли заметные перемены к лучшему по сравнению с сонным чекмаревским временем. Улучшился подбор офицерской молодежи благодаря внимательному участию в этом важном вопросе общества офицеров. Прежде он решался всецело командиром полка и зависел от его личного вкуса или безвкусия.

Ряд удачных командиров (Сирелиус, Зайончковский, оба Генерального штаба, и Яблочкин — способный и ловкий, Георгиевский кавалер за японскую войну и природный оратор) сильно подбодрили и подтянули полк в строевом отношении. По стрельбе он сделался едва ли не первым в гвардии, без былого нащелкивания процентов, и имел призовой кубок за лучшую стрельбу в округе.

Видимым признаком Высочайшей милости к полку за эти годы было назначение в 1909 году командира роты Его Величества капитана Б. И. Квицинского флигель-адъютантом, а в 1911 году командира полка генерал-маиора Яблочкина в Свиту Его Величества.

Было приятно снова принимать участие в Красносельской лагерной жизни; видеть ежедневно великана Тита Гостилова, теперь возмужавшего и потолстевшего, окунуться в знакомую « егерскую » атмосферу... Водить 1-й батальон к маленьким лагерным победам на смотрах и на маневрах!

Интересно и, казалось мне, продуктивно наладились полевые занятия с унтер-офицерами батальона, которых я старался посвятить в нехитрые тайны мелкой тактики и подготовить быть заместителями офицеров.

В последний день больших маневров, заключавших собой лагерный сбор, я временно командовал Егерским полком. Яблочкин уехал незадолго перед тем в отпуск, а старший полковник вывихнул ногу и не мог сесть на лошадь. Следующим по старшинству оказался я и должен был вступить в командование полком накануне « решительного » боя.

Разыгрался он на подступах к Царскому Селу. Лейб-егеря с батареей составляли отдельную колонну и имели назначение совершить переход в определенный район. Колонна была атакована во фланг на походе. Вместо возможного решения по букве — заслониться и идти дальше по своему назначению — я развернул все силы и перешел в контратаку. Маневр этот очень понравился Великому Князю Николаю Николаевичу, который как раз к этому времени подъехал к нам в автомобиле, желая видеть, как будет решена задача.

Оставшись « отменно доволен », Великий Князь на этом ходе поставил точку и дал общий отбой.

Забавное совпадение : атаковал меня мой брат Саша со своим 7-м Финляндским стрелковым полком. Но у меня было 4 батальона против его двух, и победу признали за мной. В полку назвали этот эпизод « братоубийственной войной ».

17 августа праздновалось, уже в Петербурге, столетие Кульма. Парад принимал на дворе Рузовских казарм Великий Князь Николай Николаевич, одетый, как всегда для лейб-егерей, в форму лейб-гвардии Гусарского полка, — Телишского собрата.

Я последний раз маршировал перед фронтом полка во главе своего первого батальона, стараясь, будучи пешком, « печатать ногу » и лихо салютовать Великому Князю. Не могло придти в голову, что примерно через

два года лейб-егеря окажутся под моей командой в настоящем бою, далеко, под Вильной, и тоже только на 24 часа.

Благодарное воспоминание сохранил я об офицерском составе 1-го батальона в мое короткое командование. Смело могу сказать, что никогда во время моей службы я не имел под своим начальством лучших офицеров. Все были однородного барского воспитания, выдержаны, дружны между собою и люди долга, — отличные работники.

Из старых моих знакомых было три ротных командира — Н. В. Ротштейн, будущий автор прелестных очерков из полковой жизни *), Веселаго и князь И. И. Кугушев — жизнерадостный, солидный, с добродушием сен-бернара. Из остальных упомяну бойкого, падкого на веселую компанию, но безукоризненного служаку Кузнецова; способного, вечно молодого и энергичного В. В. Каменского, который в 1917 году сделался моим адъютантом в штабе XI армии, а в эмиграции выдвинулся как один из « столпов » Егерского объединения; А. А. Воронова, красивого брюнета, типичного строевика, украшавшего роту Его Величества; кн. Друцкого 1-го и маленького князя Бориса Оболенского, будущего Георгиевского кавалера, милейшего юношу с выдающейся военной складкой.

Удивительно одинаковая и трагическая судьба постигла трех князей 1-го батальона : все они были убиты в течение первого года войны.

---

*) « Синие дали ». Ревель, 1938.

ОПЯТЬ В АКАДЕМИИ

Я не ожидал, что мне еще придется вернуться в Академию. На фронте передо мною открылась широкая дорога, штабная и строевая. Осенью 1916 года спохватились, что надо продолжать готовить офицеров Генерального штаба, и открыли Академию. Начальником был назначен генерал Петерс, о прежней службе которого ничего не было известно. Он обратился к старым профессорам, — не захотят ли они вернуться в Академию. Получил в том числе и я такое предложение. В это время я занимал должность генерал-квартирмейстера Особой Армии у генерала Гурко. Шла боевая операция под Луцком, против Владимиро-Волынского участка. Я отказался.

Но примерно через год, когда революция развалила армию и после Корниловского выступления, я сам вспомнил об Академии как возможном убежище в то смутное время.

В связи с делом Корнилова, Деникина и Маркова я и мой генерал-квартирмейстер полковник Н. В. Соллогуб были вызваны из штаба XI-ой армии из Каменец-Подольска в Бердичев, где это дело разбиралось. Там меня допрашивали, но, в конце концов, отпустили, несмотря на то, что я, будучи начальником штаба XI-ой армии, состоял фактически в заговоре с Деникиным и Марковым и готовился к задуманному военному перевороту. Чтобы обвинить меня не хватило документальных доказательств. Отпустив, предложили принять корпус.

Видя, как фронт шел под уклон, и невероятную неразбериху управления, захваченного солдатскими комитетами и митингами, я от принятия корпуса уклонился,

а решил предложить себя Академии. Начальником ее был тогда — в сентябре 1917 г. — А. И. Андогский, по выбору Керенского *). Этот молодой оппортунист состоял перед войной в числе насадителей прикладного метода и, между прочим, был под моим крылом в порученном ему отделе тактики пехоты. Это был круглый, аккуратный, отчетливый человек, совсем как его изумительный почерк. Никакая спешка или настроение духа не влияли на печатную красоту и закругленность этих крупных стоячих букв. Такою же медлительною уравновешенностью отличались его характер и его идеи. Как профессор он никогда бы не блистал, но все у него было бы в образцовом порядке и в приличном согласии с модным течением.

Как администратор, призванный к этому по должности начальника Академии в такое исключительно неустойчивое время, Андогский был на месте : никто не был способен лучше него держаться равнодействующей линии и лавировать между революционной властью и старой консервативной инерцией Академии.

Я соединился со своим бывшим « адъюнктом » по прямому проводу Бердичев-Петербург и предложил свои услуги. Андогский немедленно и даже с видимою радостью сказал мне, что я могу считать это дело решенным и что соответствующая телеграмма будет послана в штаб Юго-Западного фронта.

Путешествовал я в Петербург с большим и неожиданным в революционных условиях комфортом. Одновременно со мной и Соллогубом « отъезжали » в тыл бывший командующий 7-ой армией генерал Селивачев и его начальник штаба граф Каменский. Они тоже благополучно прошли через горнило Бердичевского судьбища и, под флагом оправдания, выхлопотали отдельный прямой вагон до Петербурга. Мы соединились в нем

*) Летом 1917 г. офицерам Генерального штаба на фронте было предложено выбрать нового начальника Академии. Были предложены Н. Н. Головин, М. В. Алексеев и я. Последнее — по инициативе Маркова, моего друга и сослуживца по Академии и штабу Юго-Западного фронта, теперь ставшего начальником штаба этого фронта. Голосование было письменным и революционно-вздорным. Керенский взял того, кто подвернулся под руку в Петербурге.

со всеми своими походными пожитками и денщиками. Запаслись провизией. На станциях денщики бегали сноровисто за кипятком, и чай не сходил с нашего вагонного стола. На одной из маленьких остановок где-то на полпути (везли нас медленно, с развальцем, перецепляя от одного поезда к другому) мы согласились принять к себе молодую даму; она оказалась знакомой измайловского офицера Волсобурна. Таким образом, под конец мы были в развлекающем женском обществе, сошлись и сожалели, что путешествие не могло быть еще продолжено.

В Академии я встретил нескольких прежних сослуживцев, и в их числе неизбежного Б. М. Колюбакина. Мне был снова поручен курс тактики пехоты.

Состав слушателей был особенный и редкий : все сплошь боевые офицеры, командированные от своих частей не за одни умственные качества, но и за заслуги. Среди аудитории, украшенной орденами, белели многочисленные Георгиевские крестики. Народ этот был закаленный, требовательный и критический.

Но чтение курсов и ведение практических занятий шли через пень в колоду. Стоявшая у дверей и заглядывавшая в окна революция мешала сосредоточиться и спокойно отдаться науке. Как профессора, так и слушатели, чувствовали себя точно на куске, оторвавшемся от земли и блуждающем в пространстве вне связи с остальным миром. Знали, что этот метеор рано или поздно шлепнется о твердую поверхность и расплющится в порошок.

Случилось это почти через полгода, в феврале 1918 года. Севастопольские матросы-убийцы разнесли Академию. Но этот погром не застал хитроумного Александра Ивановича Андогского врасплох.

Он уже вел успешные переговоры об эвакуации Академии со всем ее сложным имуществом в Екатеринбург, на Урале. Предлог : наступление немцев на Псков и Петербург.

« Спасаю Академию и офицеров », говорил он.

И метеор полетел на восток, дальше, чем предполагалось.

Мои мысли были направлены на запад, моя семья в качестве авангарда уже перебралась из Финляндии в Стокгольм, и потому я остался в Петербурге. Но мои ве-

щи, для временного сокрытия моего дезертирства, поехали в Екатеринбург и потом в Сибирь. Надо отдать должное тогдашней Академии : несмотря на стремительный вокруг большевизм « товарищей » — рабочих, она уложилась в дальнюю дорогу не спеша, основательно и даже нарядно. Подумать только, что нужно было поднять всю огромную библиотеку Академии!

С таким же тщанием было заколочено в ящики и личное имущество служащих.

Потом длинные транспорты всех этих бесчисленнных ящиков потянулись на станцию Вологодской железной дороги, а с нее поползли по рельсам на восток. Одиссея эта привела Академию в 1919 году на противоположный конец России, к самым дверям страны Восходящего Солнца — во Владивосток.

Сибирской одиссеей Академии закончился петербургский период ее истории. И последним сошедшим с тонувшего корабля русской военной науки был старик Б. М. Колюбакин.

Большевики перевезли впоследствии библиотеку Академии, составившую основу ее имущества, обратно на запад, но уже не в Петербург, а в Москву.

. . . .

КОНЕЦ I ТОМА

ОГЛАВЛЕНИЕ



Imprimerie P.I.U.F. - 3, rue du Sabot - Paris (6e)


LUX
LIBERTAS